

Ксения Атарова

ЛОРЕНС
СТЕРН
LAURENCE
STERNE

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО



York Minster

Ксения Атарова

ЛОРЕНС СТЕРН

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО



Б.С.Г.-ПРЕСС

УДК 929
ББК 83.3
А92

Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России (2012–2018 годы)»

Макет и оформление *Андрея Рыбакова*

Атарова К. Н.

А92 Лоренс Стерн. Жизнь и творчество / Ксения Атарова. – М.: Б.С.Г.-Пресс, 2014. – 416 с.

ISBN 978-5-93381-322-4

Книга англиста Ксении Атаровой посвящена жизни и творчеству всемирно известного английского писателя Лоренса Стерна (1713–1768), отца европейского сентиментализма, оказавшего заметное влияние на всю европейскую литературу XVIII–XX вв., в том числе и на русскую (Н. М. Карамзин, Л. Н. Толстой, Андрей Белый и др.). Несмотря на популярность произведений Стерна в нашей стране, его жизни и творчеству до сих пор не посвящено ни одной работы. Книга К. Атаровой восполняет этот пробел. Жизнь Стерна рассматривается в ней в широком контексте – на фоне Англии и Франции его времени.

УДК 929
ББК 83.3

ISBN 978-5-93381-322-4

© К. Н. Атарова, 2014
© Б.С.Г.-Пресс, 2014

ТРИСТРАМ, ЙОРИК, СТЕРН

Вместо предисловия

«Половина Лондона настолько же резко поносит мою книгу, насколько другая его половина превозносит ее до небес»¹, — признался Стерн в одном из частных писем.

Действительно, ни один из английских романистов восемнадцатого столетия не подвергался таким ожесточенным нападкам и не получал столь восторженных отзывов:

Йорик-Стерн обладал самым блестящим умом, который когда-либо функционировал. Кто читает его, чувствует себя тотчас же свободным и возвышенным, его юмор неподражаем, а ведь не всякий юмор освобождает душу.

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ

Стерн был слишком чувствителен, чтобы испытывать истинные чувства.

ХОРЕЙС УОЛПОЛ

Я отдал бы десять лет собственной жизни, если б мог этим продлить жизнь Стерна на год.

ГОТХОЛЬД ЭФРАИМ ЛЕССИНГ

Изо всех книг, написанных англичанами за последние тридцать лет, «Тристрам Шенди», как он ни плох, является наилучшей.

ДЭВИД ЮМ

О дружелюбный Стерн! Как мил ты мне стал изо всех писателей, так как ты не пытаешься возмутить нас против слабости и глупости, не взмахиваешь сатирическим бичом, но самого себя и остальных людей одинаковым образом высмеиваешь и жалеешь.

ЛЮДВИГ ТИК

Стерн был вредоносным основателем сентиментальной школы... Сотни писателей переносили заразу... Сотни тысяч читателей заразились... Чувствительность была болезнью, которую следовало изжить. Теперь царство Стерна уже позади.

ХАННА МОР

Стерн несравненный! В каком ученом университете научился ты столь нежно чувствовать? Какая риторика открыла тебе тайну двумя словами потрясать тончайшие фибры сердец наших? Какой музыкант так искусно звуками струн повелевает, как ты повелеваешь нашими чувствами?

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРАМЗИН

Ах, я не лучше негодея Стерна, который предпочитал хныкать над мертвым ослом вместо того, чтобы по-

мочь живой матери, — негодяй — лицемер — низкопоклонник — но и я тоже хорош.

ДЖОРДЖ НОЭЛ ГОРДОН БАЙРОН

Автор «Тристрама Шенди» изображает сокровеннейшие глубины души: он открывает в душе просвет, дает заглянуть в ее бездны, в ее рай и грязные уголки и вновь опускает завесу.

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

Стерн говорит, что живейшее из наших наслаждений кончится содроганием, почти болезненным. Несносный наблюдатель! Знал бы про себя; многие того не заметили б.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

XVIII век создал свой роман, в котором выразил себя в особенной, только одному ему свойственной форме: философские повести Вольтера и юмористические рассказы Свифта и Стерна — вот истинный роман XVIII века.

ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛИНСКИЙ

Это великий шут, а не великий юморист. Он действует последовательно и хладнокровно; раскрашивает свое лицо, надевает шутовской колпак, стелет коврик и куврыкается на нем.

УИЛЬЯМ МЕЙКПИС ТЕККЕРЕЙ

Читал Стерна. Восхитительно.

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

* * *

Но споры о Стерне не прекращались и в позднейшие литературные эпохи. Не единодушны оценки критиков даже в XX веке. Маститый английский критик Ф. Р. Ливис, не колеблясь, исключил Стерна из «великой традиции» английской литературы, так как увидел в его произведениях лишь «безответственное (и непристойное) пустомельство»². А не меньший авторитет К. И. Воуэн столь же категорично утверждал в «Кембриджской истории английской литературы», что именно Стерн «расширил сферу романа и раскрепостил его структуру»³.

И, пожалуй, сам факт этих споров убедительно показывает, что книги Стерна живут и поныне: их можно заново осмыслять, о них стоит дискутировать, их хочется читать и перечитывать.

* * *

Все созданное Стерном написано от первого лица. А мемуарная форма обладает коварной убедительностью: дистанция между героем-рассказчиком и реальным автором книги подчас почти неразличима. Недаром в Древнем Риме Апулея хотели судить за проступки его персонажа. Нечто похожее произошло и со Стерном. Личность его героев-рассказчиков — Тристрама и Йорика — прочно срослась в восприятии не одного поколения читателей с личностью их создателя. Не случайно один из ранних переводов «Сентиментального путешествия» на русский язык был озаглавлен «Стерново путешествие во Франции и Италии под именем Йорика» (1783).

Во многом такому отождествлению способствовал сам писатель.

Понятие «жизнетворчество» историки литературы связывают с эпохой романтизма и, позднее, символизма. Но, быть может, одним из первых именно Лоренс Стерн сознательно и последовательно размывал грань между творчеством и жизнью. В романе «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» он стремится сблизить время романное и время реальное, а в повседневной жизни словно вживается в созданный им литературный образ.

Письма, проповеди и художественные тексты Стерна близки по стилистике, часто отдельные выражения, а то и целые пассажи из писем и проповедей используются потом почти без изменений в художественных текстах; и наоборот — письма пестрят незакавыченными цитатами из его произведений. К тому же, говоря о себе или подписываясь, он пользуется именами своих героев-рассказчиков.

При этом у него два амплуа: весельчак Арлекин и меланхоличный Пьеро, — Тристрам и Йорик. Соответственно и письма в зависимости от адресата разительно отличаются по тону. Они то фривольно-чудаческие (университетскому приятелю Холлу-Стивенсону, знаменитому актеру Гаррику, блистательной миссис Вези или таинственной Ханне, о которой биографам так и не удалось ничего разузнать), то (реже) томно-чувствительные (когда он пишет своей невесте Элизабет Ламли, своей поздней любви Элайзе Дрейпер и ее друзьям Джеймсам, дочери Лидии).

Однако у Стерна, многое предвосхитившего в романтизме, не было трагического мировосприятия, свойственного почти всем представителям этого направления. Великолепный портрет писателя, нарисованный Генрихом Гейне в «Романтической школе», красив, но имеет мало сходства с оригиналом. Суди-

те сами — «Он равен Вильяму Шекспиру, и его, Лоренса Стерна, также воспитали музы на Парнасе. Но, по женскому обычаю, они своими ласками рано испортили его. Он был баловнем бледной богини трагедии, однажды, в припадке жестокой нежности, она стала целовать его юное сердце так сильно, так страстно, так любовно, что оно начало истекать кровью и вдруг постигло все страдание этого мира и исполнилось бесконечной жалостью. Бедное юное сердце поэта! Но младшая дочь Мнемозины, розовая богиня шуток, быстро подбежала к ним и, схватив опечаленного мальчика на руки, постаралась развеселить его смехом и пением, и дала ему вместо игрушки комическую маску и шутковские бубенцы, и ласково поцеловала его в губы, и запечатлела на них все свое легкомыслие, всю свою озорную веселость, все свое шаловливое остроумие. И с тех пор сердце и губы Стерна впали в странное противоречие: когда сердце его бывает трагически взволновано и он хочет выразить свои самые глубокие, истекающие кровью задушевные чувства, с его губ, к его собственному изумлению, со смехом слетают самые забавные слова»⁴.

Этот прекрасный портрет характеризует скорее истерзанную ироническую натуру самого Гейне. Личность Стерна в чем-то самом главном не совместима с понятием «романтический гений». Стерн жадно стремился к гармонии, а смех почитал одним из важнейших средств ее достижения. Открывая свой первый роман посвящением Уильяму Питту, Стерн признается: «Твердо убежден, что каждый раз, когда мы улыбаемся, а тем более когда смеемся, — улыбка наша и смех кое-что прибавляют к недолгой нашей жизни»⁵.

ЛОРЕНС СТЕРН

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

СЕМЬЯ И ДЕТСТВО

1713—1722

Крайне унылым и скучным было для нас
это мартовское путешествие...

Л. Стерн. Воспоминания

Предки Стерна по мужской линии легко прослеживаются до елизаветинских времен. Далее нить становится прерывистой. Однако, возможно, в жилах Стерна текла и датская кровь, что дало ему повод числить себя потомком шута, подвизавшегося при дворе датского короля.

Фамилия рода, происходящая от древнеанглийского *stearn* (диалектное *starn*), означает «скворец». Эта птица, увековеченная в «Сентиментальном путешествии», издавна красовалась на семейном гербе Стернов.



Самым прославленным предком писателя был Ричард Стерн (1596? — 1683), человек волевой, энергичный, один из лучших ректоров кембриджского колледжа Иисуса, проведший многие годы в застенках Тауэра и в изгнании за свою приверженность Карлу I, а после Реставрации за ту же приверженность посвященный в епископский, а позднее архиепископский сан.

У архиепископа Йоркского от среднего сына Саймона было четверо внуков. Старший, Ричард, получил родовое поместье, да еще приумножил свое состояние двумя выгодными браками. Второй внук умер ребенком. Младший, Джекс, пошел по стопам деда: окончил Кембридж и принял сан. А третий по старшинству, Роджер, отец будущего писателя, избрал военное поприще. Однако денег на покупку офицерского патента не было, и пришлось ему почти всю жизнь протрубить в чине прапорщика. Лишь незадолго до смерти дослужился он до лейтенанта.

Брак, как и служба, не принес Роджеру ни богатства, ни связей. Агнесс Херберт была, как пишет Лоренс Стерн в своих мемуарах, «вдовой капитана из хорошей семьи. Девичья ее фамилия была (я так думаю) Наттл, хотя, помнится, это была фамилия ее отчима, известного маркиганта эпохи войн королевы Анны во Фландрии, где отец мой женился на дочери его жены (он ему задолжал). Это произошло 25 сентября 1711 года по старому стилю»⁶.

Современные биографы уточняют эти сведения. Отец Агнесс Херберт ко времени женитьбы на ней Роджера давно умер, а отчим, капи-

тан Наттл, находился в Лондоне в течение всего периода военной службы Роджера, так что тот едва ли мог ему задолжать. Более вероятно, что Стерн сознательно добавил эту вымышленную деталь, чтобы хоть как-то оправдать опрометчивый выбор своего родителя. Брак был неудачным. И бабка Стерна, мать Роджера (отца к этому времени уже не было в живых), урожденная Мери Джекс, была явно огорчена мезальянсом, хотя и не решилась полностью отказать молодым от дома.

Лоренс был вторым ребенком Роджера и Агнесс. Он появился на свет 24 ноября 1713 года в городе Клонмеле на юге Ирландии. Рождение будущего писателя, как и рождение его героя Тристрама, не обошлось без злоключений: «День моего рождения был зловещим для моего отца, который на другой день после нашего приезда был вместе со многими другими храбрыми офицерами уволен в отставку и пущен скитаться по белу свету с женой и двумя детьми»⁷. Полк Роджера был расформирован и переведен на половинное жалование в связи с заключением Утрехтского мира. Быть может, отвращение, которое испытывает к нему один из персонажей «Тристрама Шенди» старый вояка дядя Тоби, — отголосок этого злополучного для семейства Стернов события, рассказы о котором Лоренс мог слышать с детства.

Роджеру пришлось прибегнуть к помощи матери и старшего брата. Ненадолго зимой 1714 года он с женой и детьми поселяется в Элвингтоне, материнском поместье, правда, не в господском особняке, а всего лишь во флиге-

ле. Здесь, неподалеку от Йорка, Стерн и провел первые десять месяцев своей жизни.

К осени 1714 года полк Роджера был вновь сформирован, и начались скитания несчастного прапорщика, а вскоре вслед за ним и его семейства. Стерн вспоминает: «Через месяц после нашего приезда отец покинул нас, получив назначение в Эксетер, куда в одну мрачную зиму за ним последовала мать со своими детьми, совершив переезд из Ливерпуля в Плимут сухим путем (здесь ни к чему помещать описание того грустного путешествия). Через двенадцать месяцев все мы были отосланы обратно в Дублин <...> Моя мать с нами тремя (в Плимуте она родила мальчика Джорамы) села в Бристол на корабль, отправлявшийся в Ирландию, и едва не потерпела крушение, потому что в корабле показалась течь»⁸.

Во время этих бесконечных переездов рождались и умирали маленькие братья и сестры Стерна. Большая горечь сквозит за внешне спокойными лаконичными строками мемуаров: «Во время этого путешествия из Бристоля в Гемпшир мы потеряли бедного Джорамы — хорошенького мальчика трех лет, погибшего от оспы», «Крайне унылым и скучным для всех нас было это мартовское путешествие в Каррик-фергус, куда мы приехали через шесть или семь дней — маленький Девишер там умер, ему было три года... для заполнения опустевшего места дарован был другой ребенок — Сусанна; малютка эта тоже нас покинула во время нашего утомительного путешествия»⁹.

Как видим, среди всех бед и бурь судьба хранила ребенка, которому уготована была при-

жизненная и посмертная слава. Об этом свидетельствует и почти невероятный эпизод из жизни семилетнего Лорри. Около года семейство Роджера гостило у священника в Энаймо, неподалеку от Уиклоу. «В этом именно приходе, когда мы там жили, — пишет Стерн, — я удивительным образом спасся, упав в водовод работавшей мельницы и будучи вытасчен из воды невредимым, — происшествие невероятное, но считается истинным во всей Ирландии, — куда стекались сотни простых людей, чтобы взглянуть на меня»¹⁰.

ШКОЛА И УНИВЕРСИТЕТ

1723—1737

...я даровитый мальчик и пойду далеко.

Л. Стерн. Воспоминания

«Мы вместе с полком перебрались в Дублин, где год прожили в казармах. — В тот год, тысяча семьсот двадцать первый, я научился читать и т. д.»¹¹, — вспоминал впоследствии Лоренс Стерн.

Литератор Ричард Гриффит утверждал, якобы со слов Стерна, с которым был лично знаком, будто первым его учителем был некто Лефевр, и именно он научил будущего писателя не только грамоте, но и «милосердию, человеколюбию, состраданию». Биографы Стерна сначала не принимали на веру это утверждение Гриффита, автора «Корана» — одной из знаменитых подделок, которую долгое время считали произведением Стерна. (Тут проявил доверчивость даже Гёте!) Однако новейшие разыскания показали, что в полку Роджера действительно числился лейтенант Лефевр. Так что, возможно, патетическая история лейтенанта Лефевра и его сына — предполагаемого

тьютора Тристрама Шенди – имеет биографическую основу.

Среди мытарств и тягот военной жизни Роджер Стерн все же нашел время определить десятилетнего Лорри в школу «вблизи Галифакса, с хорошим учителем» (так сказано в мемуарах)¹². Стерн не указал точно, в какой именно школе близ Галифакса, то есть неподалеку от имения Вудхаус, принадлежавшего его дяде Ричарду, он учился. Тем самым он дал пищу позднейшим биографам для споров и кропотливых изысканий. Дело в том, что в те времена неподалеку от Галифакса было две школы, причем обе пользовались хорошей репутацией. Одна в Хите – деревушке, расположенной на полпути между Галифаксом и Вудхаусом. По близости к имению Ричарда и некоторым другим приметам ее-то и считали долгое время школой, где Лоренс получил начальное образование. Однако Артур Кэш убедительно доказывает, что Стерн учился в Хипперхольме, значительно дальше от Вудхауса, так что мальчик большую часть времени жил при школе у учителя Натана Шарпа, родственника и друга Ричарда Стерна¹³.

Дорога из Хипперхольма в Галифакс приводила прямо на рыночную площадь городка, где высилась старая готическая церковь. Мальчиком Лоренс, верно, не раз заходил в нее – здесь был похоронен его дедушка Саймон Стерн. В церкви неподалеку от главного входа стояла тогда и стоит по сю пору деревянная крашеная скульптура в человеческий рост – жалкий бродяга с копилкой для сбора подаяний в руках. На копилке надпись «Не забывайте о бедных», а вни-

зу табличка «СТАРЫЙ ТРИСТРАМ». Так что с детства злополучное имя Тристрам, увековеченное Стерном в романе, могло ассоциироваться в сознании писателя с нищетой и убожеством.

Если судить о преподавании в Хипперхольме по дошедшей до нас программе обучения школы в Хите, то Стерн должен был изучать латынь и греческий, читать Вергилия, Горация, Цицерона, Гомера, Гесиода... Преподавали также начатки древнееврейского и формальной логики, а за отдельную плату — математику.

За обучение мальчика платила школа (не отец и не дядя), и, когда много лет спустя Стерн получил свой первый приход, ему пришлось оплатить расходы на собственное обучение¹⁴.

Один из первых биографов Стерна Перси Фицджералд держал в руках сохранившийся до конца XIX века учебник латинского языка (*Synopsis Communium Locorum ex Poetis Collecti*), принадлежавший Стерну. Местонахождение учебника в настоящее время неизвестно, но Фицджералд оставил достаточно точное его описание: «Это была запачканная потертая книжка, каждая страница которой была испещрена надписями, рисунками, бесконечными повторениями имени ее владельца, а также именами его друзей. То тут, то там виднелось “Л. С., 1728”, иногда буквы были переплетены в виде монограммы. На титульном листе выцветшими коричневатыми буквами была неряшливая надпись: “Ло: Стерн, 6 сентября 1725 года”. Мы также нашли несколько имен его однокашников: “Кристофер Уэлбери”, “Джон Тёр-

нер” (йоркширская фамилия), “Ричард Карр”, “Джон Уокер”, с “*Nicridus Nunkebus*”, “*rogum garum*” и т. д. Там был и нотный стан с “соль, фа” и т. д., надписанными под нотами и подписанный “Л. С.” Потом мы наткнулись на такую запись: “Я должен Сэмюэлу Торпу полпенса, но я отдам это сегодня”. На другой странице: “Труд тяжел”, “Джон Дейви”, “Билл Медяк”, последнее, несомненно, школьная кличка. Но почти на каждой странице с загнутыми замусоленными углами был грубоватый рисунок или набросок, сделанный по школьным правилам рисования. Под одним забавным лицом с длинным носом и внушительным подбородком было написано: “Это Лоренс”, и что-то слегка напоминало нос и подбородок повзрослевшего юмориста. Там были и женские лица, совы, петухи, куры и т. д.; рисунок джентльмена — так гласила надпись под ним; несколько солдат, как и следовало ожидать, один из них в забавном колпаке, как на картине “Марш в Финчли”, и в парике, с пистолетом за поясом. Нашли мы там и женские головки — раннее свидетельство вкусов нашего героя; потом слова “барабанщик”, “трубач”, “Джон Гиллингтон”. Иногда имя, которое встречалось везде, писалось “Ло: Стерн — его книга”»¹⁵.

Любопытный эпизод из своей жизни в Хипперхольме приводит писатель в «Воспоминаниях»: «...не могу обойти молчанием следующего анекдота обо мне и моем школьном учителе. — В классной комнате у него только что побелили потолок — лестница еще оставалась там — и в один несчастный день я взобрался на нее

и большими прописными буквами написал кистью на потолке ЛО. СТЕРН, за что помощник учителя меня больно высек. Мой наставник был этим очень задет и распорядился в моем присутствии, чтобы имя мое не стирали, потому что я даровитый мальчик и пойду далеко — выражение это заставило меня забыть о полученных розгах»¹⁶.

В то время, как Лоренс безмятежно жил в Хипперхольме, его отца поджидали новые невзгоды. Полк Роджера был послан на защиту осажденного Гибралтара, там незадачливый прапорщик «был на дуэли проткнут насквозь капитаном Филипсом»¹⁷. Причина ссоры была смехотворной — «из-за гуся» (невольно вспомнишь Гоголя!). Однако такие нелепые ссоры, нередко заканчивающиеся поединком, частенько случались в гарнизонах, где люди изнывали от скуки. Утверждают, что Стерн рассказывал одному из друзей подробности дуэли: «Капитан проткнул его рапирой с такой силой, что буквально пригвоздил его к стене. Тогда с удивительным присутствием духа “маленький живой человечек” крайне вежливо попросил капитана Филипса не отказать в любезности и прежде, чем вытаскивать острое, очистить его от прилипшей к нему штукатурки». «Это, — пишет Фицджералд, — я слышал от мистера Уотертона, известного натуралиста, отец которого был близко знаком со Стерном»¹⁸.

Выражение «маленький живой человечек» принадлежит Стерну, который оставил любовную запись об отце в своих мемуарах: «Отец мой был маленький живой человечек, на ред-

кость неутомимый во всякого рода физических упражнениях — терпеливо переносивший тяжести и невзгоды, которые Богу было угодно отпустить ему полную меру. — Он был немного вспыльчив и поспешен в действиях, но сердцем добрый и кроткий, чуждый всяких дурных намерений и настолько невинный в своих помыслах, что никого и ни в чем не подозревал. Таким образом, вы могли обмануть его десять раз на день, если девяти раз вам было недостаточно для ваших целей»¹⁹. Не напоминает ли этот портрет дядю Тоби?

Роджер Стерн еле оправился от раны, но лишь для того, чтобы вскоре умереть на Ямайке от лихорадки. Дата его смерти приведена Стерном в мемуарах неточно. Роджер скончался в Порт-Антонио 31 июля 1731 года, за месяц-два до смерти он получил долгожданный чин лейтенанта.

После смерти отца Лоренс пробыл в Хипперхольме еще около года. Мать, которую он не видел в течение последних пяти лет, с двумя оставшимися в живых дочерьми приехала из Ирландии, чтобы выправить после смерти мужа бумаги. Ее мечтой было переселиться в Англию. Но, не встретив со стороны Ричарда и Джекса сочувствия этим планам, Агнесс вынуждена была вернуться в Ирландию, где жила с дочерьми на доходы от школы рукоделия и на пенсию за покойного мужа в 20 фунтов в год.

Судьба старшей дочери Мэри была печальна. Стерн вспоминает: «Девочка эта была потом очень несчастлива — она вышла замуж за некоего Вименса в Дублине, который обращался с ней

крайне бессердечно — промотал свое состояние, обанкротился и предоставил моей бедной сестре изворачиваться собственными силами, — которых ей хватило лишь на несколько месяцев, так как она отправилась в деревню, к одной своей приятельнице, и там с горя умерла»²⁰.

На попечении дяди Ричарда Лоренс находился недолго: 9 октября 1732 года Ричард умер, и Лоренс «остался без единого шиллинга и, можно сказать, без единого друга», как сам он вспоминает об этом периоде своей жизни²¹. Заботу о молодом человеке взял на себя его кузен, старший сын дяди Ричарда. Кузен (его тоже звали Ричард) отправил Лоренса в Кембридж. Выбор колледжа был предreshен — разумеется, колледж Иисуса, где когда-то был ректором прадед Стерна, архиепископ Йоркский, основатель стипендии для уроженцев Йоркшира, которую, однако, легко получали все члены его семьи, если они в ней нуждались. Выпускниками колледжа Иисуса были и дедушка Стерна Саймон, и дядя Джекс, и кузен Ричард, и школьный учитель Стерна Натан Шарп.

Лоренс был зачислен в университет заочно в июле 1733 года, а приехал в Кембридж лишь в ноябре.

Первые шесть месяцев своего пребывания в колледже Стерн числился сайзером, то есть студентом, получавшим бесплатное питание за работу в колледже. Однако в Кембридже такое положение не было унижительным. Здесь, в отличие от Оксфорда, студенты не занимались тяжелым физическим трудом, уборкой, мытьем посуды. Они зарабатывали на пропитание, по-

могая в библиотеке или в часовне колледжа либо выполняя секретарские обязанности при более обеспеченных учащихся.

Вообще Кембридж в те времена выгодно отличался от Оксфорда. Гиббон утверждает, что «Кембриджский университет, кажется, не так заражен пороками монастыря, как его собрат; его лояльность к ганноверскому дому более давняя, и имя и философия бессмертного Ньютона впервые стали почитаться в стенах его родной академии»²².

В июле 1734 года Стерн получил освободившуюся к тому времени стипендию, основанную его прадедом. Кроме того, кузен Ричард выплачивал ему ежегодно 30 фунтов.

Стипендиатам полагалось бесплатное помещение и питание. Так что к услугам Стерна была отдельная комната и двухразовое мясное блюдо (за овощи и пудинги надо было доплачивать из собственного кармана).

Лекции читались в холле, который служил и аудиторией, и столовой. Изучали, прежде всего, древних и математику, а также формальную логику и классическую риторику. Курс философии включал географию, этику и естественные науки. Современные языки не преподавались. Теология изучалась лишь студентами, уже прошедшими курс обучения и готовящимися к принятию сана.

В начале 1736 года Стерн защитил степень бакалавра (официальное присуждение состоялось лишь в январе 1737 года). После защиты стипендию он больше не получал, а обещанные 30 фунтов кузен Ричард, к тому времени женив-

шийся и понаделавший долгов, тоже перестал высылать. Перед Лоренсом встал вопрос выбора профессии. Однако «выбора», по сути дела, не было. Церковная карьера представлялась единственно возможной.

После получения степени бакалавра Стерн был назначен помощником vikария в городке Сент-Айвз, на реке Уз, в пяти милях к востоку от Хантингдона. Документальных свидетельств от этого периода его жизни не осталось — ни записей в приходских книгах, ни воспоминаний современников. Известно только, что это была церковь Всех Святых, и vikарием в ней состоял Уильям Пиготт, тоже выпускник Кембриджа.

Отношения с кузеном Ричардом совсем разладились, и Стерна начал опекать его дядя Джек Стерн. Крупный священник-плюралист (т. е. обладатель нескольких церковных должностей), защитивший в 1725 году докторскую диссертацию, он с увлечением занимался политикой и принадлежал к министерской партии вигов.

В августе 1738 года при содействии дяди Джекса Стерн получил назначение в церковь небольшого прихода Саттон-он-де-Форест.

26 августа жители Саттона столпились у церкви Всех Святых. Ричард Масгрейв, священник из соседнего Стиллингтона, вел церемонию. Следуя традиции, он взял Стерна за руку, подвел к дверям церкви, возложил его руку на массивный дверной ключ и прочел распоряжение архиепископа. Стерн отпер двери, вошел в храм и, ухватившись за веревку, позвонил в колокол.

С этого момента Стерн стал vikарием Саттона.

САТТОН-ОН-ДЕ-ФОРЕСТ

Сентябрь 1738 – февраль 1760

Я оставался в Саттоне свыше двадцати лет...

Л. Стерн. Воспоминания

Саттон-он-де-Форест был небольшой деревушкой милях в восьми-девяти к северу от Йорка. Церковь Всех Святых постройки XIV–XV веков сохранилась до наших дней. За церковью в гуще кустарника стоял обветшалый, крытый соломой пасторат. По обе стороны дороги тянулись ряды домишек.

Дом сквайра прихода (т. е. главного землевладельца прихода, который нередко бывал и мировым судьей) Саттон-Холл, — красивое кирпичное здание, окруженное садом и кирпичной оградой, — тоже уцелел. Именно он (а вовсе не дом Стерна в Коксуолде, который тот любил именовать Шенди-Холлом) и послужил прототипом родового гнезда семейства Шенди.

Из Йорка на север вела дорога, сохранившаяся со времен римского завоевания Британии, но до Саттона она миль восемь не дотягивала — уходила влево.

Первая запись Стерна в церковной книге была сделана во вторник на пасхальной неделе, «anno Domini 1739», в связи с венчанием Джона Ньюстеда из Хьюби и Мэри Уилкинсон из Стиллингтона.

В дальнейшем записи в церковной книге, сделанные его рукой, встречаются редко. Стерн был слишком молод, энергичен, полон жизненных планов, чтобы надолго обосноваться в этой глуши. В течение трех лет после назначения он большую часть времени проводит в Йорке, наезжая в Саттон для воскресных богослужений либо по каким-нибудь неотложным делам прихода. Он даже нанял себе дьячка-заместителя (некоего Уилкинсона) — необычный поступок для священника, у которого только один приход, приносящий всего лишь сорок фунтов годового дохода.

Пребывание в Йорке объяснялось как погоней за развлечениями, так и карьерными соображениями: церковные должности раздавались нередко, так что следовало быть на виду. И действительно, уже в январе 1740 года Стерн защитил магистерскую степень и получил пребенду в Гивендейле и в Йоркском соборе, где стал членом капитула. Это означало, что он был обязан примерно раз в месяц читать в соборе проповеди и посещать собрания капитула, за что получал сорок фунтов в год.

Несколько слов о соборе, — видит Бог, он того стоит.

Необычайно величественный Йоркский собор считается самым большим готическим храмом в Северной Европе. Строительство здания,

которое дошло до нас без принципиальных изменений, было начато в 1100 году и завершено лишь в 1472 году. Несколько пожаров, нанесших частичный урон собору, произошли уже в XIX и XX веках. Особой красотой отличалась грандиозная розетка на фасаде. Ее цветные витражи, чередовавшие алые и белые розы, символизировали воссоединение, после брака Генриха VII и Елизаветы Йоркской в 1486 году, Ланкастеров и Йорков, двух дотоле враждовавших королевских домов.

Однако желчный Тобайас Смоллетт с его мрачным взглядом на мир, за что его и недолюбливал Стерн, описал этот собор в «Путешествии Хамфри Клинкера» совсем в иных тонах: «Что до собора, то я не знаю, чем он отличен, — разве что своей величиной и высотой шпиля, — от других старинных церквей, находящихся в разных частях королевства и именуемых памятниками готической архитектуры; но теперь полагают, что этот стиль скорей сарацинский, чем готический, и мне кажется, что в Англию он перешел из Испании, большая часть которой находилась под владычеством мавров. Британские зодчие, переняв этот стиль, не весьма, кажется, задумывались, стоит ли его перенимать. <...>

Наружный вид древнего собора только оскорбляет глаз каждого, кто имеет понятие о правильности и соразмерности, ежели он ничего и не смыслит в архитектуре как в науке; длинный тонкий шпиль наводит на мысль о посаженном на кол преступнике, между плеч коего торчит острие. Башни или колокольни также

позаимствованы у магометан, которые, не имея колоколов, строили минареты, чтобы созывать народ на молитву. Могут эти башни служить и для сигналов, и для наблюдений, но бьюсь об заклад, что для церкви они неуместны, так как благодаря им собор кажется еще более варварским и сарацинским»²³.

Дом капитула, заседания которого посещал Лоренс Стерн, был построен в XIV веке.

В 1739 году Стерн знакомится в зале для ассамблей в Йорке со своей будущей женой Элизабет Ламли.

Смоллетт оставил описание и йоркского зала для ассамблей: «В архитектуре зала для ассамблей нет ничего арабского, он построен точно по плану Палладия, и его можно было бы превратить в прекрасный храм, но, нимало не задумываясь, его предназначили для того идолопоклонства, которое ныне в нем происходит. Величие капища тем более умаляет маленьких нарисованных божков, коим там поклоняются, так что во время вечернего бала танцующие походят на сборище вечерних фей, предающихся при лунном свете буйному веселью меж колонн готического храма»²⁴. Стерн в молодости, вероятнее всего, не был подписан на балы, проводившиеся в этом зале, и посещал их как гость.

От периода довольно долгого романтического ухаживания осталось несколько писем Стерна, опубликованных посмертно его дочерью в составе трех томов переписки. Если они соответствуют оригиналам (а здесь у исследователей есть определенные сомнения — уж больно похожи они на письма 1768 года к его поздней

возлюбленной Элайзе Дрейпер), то они представляют собой образчик сентиментальной прозы задолго до выхода «Сентиментального путешествия» и «Дневника для Элайзы».

Зимой 1740–1741 годов Элизабет уехала к замужней сестре в Стаффордшир, и Стерну осталось лишь в письмах изливать свои чувства: «Вы мне велите сообщить Вам, дорогая моя Л., как перенес я Ваш отъезд в С<таффордшир> и сохраняет ли еще прежний вид долина, в которой стоит Д'Эстелла, — и пахнут ли розы и жасмин так же упоительно, как в то время, как Вы ее покинули. — Увы, все теперь потеряло свой вид и аромат! В час, когда Вы покинули Д'Эстеллу, я слег в постель. — Я извелся от всяких лихорадок, но больше всего от той лихорадки сердца, что меня изнуряет, как тебе хорошо известно, вот уже два года — и будет изнурять до тех пор, пока ты не уедешь из Стаффордшира <...> Фанни приготовила мне ужин — она — все внимание ко мне, — но я сидел за столом со слезами на глазах; горький это соус, моя Л., но я ничем не мог его заменить, — ибо, когда она стала накрывать на стол, сердце мое упало. — Одинокая тарелка, один нож, одна вилка, один стакан! — тысячу раз останавливал я пристальный взгляд на стуле, который ты так часто украшала на этих мирных и сентиментальных трапезах — потом положил нож и вилку, достал платок, прижал его к лицу и заплакал, как ребенок»²⁵.

Свадьба состоялась на пасхальной неделе, 30 марта 1741 года. Элизабет происходила из небогатой, но родовитой дворянской семьи. Она была дочерью священника, к тому времени

уже покойного, а по материнской линии — близкой родственницей Элизабет Монтэгу, знаменитой королевы «синих чулок» (о ней, а главное, о «синих чулках» еще будет случай сказать подробнее). Жена принесла Стерну в приданое 30—40 фунтов в год.

В декабре 1741 года Стерн получил более выгодную пребенду в Норт-Ньюболде взамен пребенды в Гивендейле. Ньюболд давал 40 фунтов в год, а также дом в Стоунгейте, который можно было сдавать внаем.

Супруги поселились в Саттоне и решили заняться хозяйством. Один из современников Стерна оставил такую запись: «Недолгое время они держали маслодельню и семь молочных коров, но они всегда продавали масло дешевле, чем их соседи, так как не имели ни малейшего представления о коммерции, и потому всегда оставались в убытке»²⁶.

Извлечение дохода из принадлежавшего священнику земельного участка и даже собственная работа на нем была обычна для священничества той поры. В дневнике преподобного Джеймса Вудфорда читаем: «1776 год. 14 сентября. Очень занят весь день на уборке ячменя, не обедал до пяти часов. Мои жнецы обедали здесь. Я дал им мяса, пудинг с изюмом и вдоволь питья. Сегодня вечером моя жатва кончилась, и все с восемью акров убрано в амбар. 3 декабря. Мне весело, так как мои прихожане платят мне сегодня десятину. Я устроил им хороший обед — жареное филе, вареная баранья нога и вволю пудинга с изюмом»²⁷.

О саттонском периоде жизни Стерна сложено немало историй, подчас самых нелепых и фан-

тастических. Вышел даже в 1798 году сборник «Йоркширских анекдотов» (анекдот здесь употребляется в старом значении — короткий, возможно, даже правдивый рассказ), написанный Джоном Крофтом, братом друга Стерна Стивена Крофта. Наряду с ценными сведениями, на которые ссылаются биографы, там немало выдумок, например такая: саттонский викарий направляется в церковь, но, увидев стаю уток и забыв обо всем на свете, бросается за ружьем и увлекается охотой, оставив паству в унылом ожидании проповеди.

Другой апокриф гласит, что на следующее утро после венчания Стерн якобы прочел проповедь на слова из Евангелия от Луки: «Мы трудились целую ночь, но ничего не поймали». Однако это никак не могло быть правдой: ни о какой воскресной проповеди не было и речи, так как венчание, разумеется, состоялось не в Страстную субботу, а в Светлый понедельник.

Все эти анекдоты, связанные со Стерном в бытность его саттонским викарием, рассказывались в ту пору, когда он уже прославился как писатель. В них есть стремление приблизить личность и поступки священника к его чудаковатым героям. Вероятно, и сам Стерн своим эксцентричным поведением провоцировал такие рассказы.

Однако в 1926 году был обнаружен и опубликован документ, подтверждающий, что молодой Стерн был добросовестным и даже ревностным пастором. В мае 1743 года архиепископ Херринг, незадолго до этого принявший сан, в преддверии своего визита в Йорк разо-

слал опросник священникам этой епархии для получения сведений о положении дел в их приходах. И среди сотен ответов был особо отмечен именно доклад Стерна за его полноту. В нем, в частности, сообщалось, что в саттонском приходе сто двадцать семей, в том числе пять семей квакеров, которые ходят по воскресеньям в свой молебельный дом. Наличие этих семей очень огорчало Стерна, и ему удалось почти обратить одну из женщин секты. Каждое воскресенье он служил две службы без помощника, пять раз в год осуществлял таинство евхаристии, из его полутора сотен прихожан больше половины причастились в прошлогоднюю пасху. Во время великого поста он все шесть воскресений катехизировал в утренние часы, а в вечерние проводил конфирмацию или с шести до девяти вечера вел занятия у себя в пасторате для детей и слуг²⁸.

«Я оставался в Саттоне свыше двадцати лет, исполняя обязанности священника в обоих местах — у меня было тогда отличное здоровье, — пишет Стерн в своих кратких «Воспоминаниях», имея в виду приходы Саттон-он-де-Форест и Стиллингтон. — Книги, живопись, игра на скрипке и охота были моими развлечениями»²⁹.

Остановимся подробнее на этих развлечениях будущего писателя.

Юный Джеймс Босуэлл был настолько очарован Стерном в 1760 году, что принялся было писать посвященную ему комическую поэму «Поэтическая эпистола доктору Стерну, пастору Йоррику и Тристраму Шенди», где были такие строки:

Читал, что требует душа:
От богословья, не спеша, —

К сатире, к фарсу наших дней, —
Не доктор Кларк, а Джонни Гей.

А коль наскучит Джонни Гей,
Играл на скрипочке своей...³⁰.

Пожалуй, к разговору о чтении стоит вернуться позднее. Нам еще не раз придется это делать: ведь почти все прочитанное Стерном нашло преломление в его романе. Ну, а о музыке и живописи — тем более что он посвящал им больше времени именно в молодые годы — уместно сказать теперь. Хоть и тут без обращения к роману не обойтись.

В своих воспоминаниях Стерн упомянул скрипку, но, возможно, он играл на нескольких струнных инструментах: среди оставшихся после смерти Стерна вещей была обнаружена виола да гамба, которую продали за шесть гиней. Один из его современников, житель Йорка, утверждал, что викарий был лучшим скрипачом в городе. В библиотеке при Йоркском соборе, которой иногда пользовался Стерн, он брал ноты сонат Альбикастро, Вивальди, Мартини...

Но важнее другое — из его прозы и писем видно, что весь мир для него был музыкально окрашен. Свои проповеди он называл «драматическими» и мог бы делать, подобно Йорику (а возможно, и делал), на них пометки: *lentamente*, *tenute*, *grave*, *adagio*...* И мы знаем из писем,

* медленно, протяжно, торжественно, замедленно (*ит.*).

что даже его кошка мурлыкает *pianissimo*, а из «Тристрама Шенди», — что осел ревет «соль-редо в ключе соль»³¹.

И вот попытка воспроизвести на бумаге живой звук, пусть и слегка фальшивый:

«Птр...р...инг — твинг — твенг — прут — трут — ну и препоганая скрипка. — Вы не скажете, настроена она или нет? Трут — прут. — Это, должно быть, квинты. — Как скверно натянуты струны — тр.а.е.и.о.у. — твенг. — Кобылка высоченная, а душка совсем низенькая, — иначе — трут... прут — послушайте! Ведь совсем не так плохо. — Тили-тили, тили-тили, тили-тили, там. Играть перед хорошими судьями не страшно, — но вот там стоит человек — нет — не тот, что со свертком под мышкой, — а такой важный, в черном. — Нет, нет! Не джентльмен при шпаге. — Сэр, я скорей соглашусь сыграть каприччо самой Каллиопе, чем провести смычком по струнам перед этим господином, — и тем не менее ставлю свою кремонскую скрипку против сопелки, — такое неравное музыкальное пари никогда еще не заключалось, — что сейчас я самым безбожным образом сфальшивлю на своей скрипке, а у него даже ни один нерв не шевельнется. — Дали-тили, дели-тили, — дили-тили, — дали-пили, — дули-пили, — прут-трут — криш-крэш-краш. — Я вас убил, сэр, а ему, вы видите, хоть бы что, — если бы даже сам Аполлон заиграл на скрипке после меня, он бы не доставил ему большего удовольствия.

Тили-тили, тили-тили, тили-тили — там — там — трам»³².

А пунктуация в романе Стерна — эти бесконечные тире и звездочки! Они же воспроизводят

звук, интонацию, паузу... То, в чем современники часто видели шутовство и эпатаж, было стремлением передать тончайшие штрихи жизни.

Слово «штрихи» приводит нас к еще одному увлечению саттонского викария.

«В его времяпрепровождении не было постоянства. Он мог вдруг схватить ружье и заниматься стрельбой, — пока не стал хорошим стрелком. Потом пристрастился к рисованию и писанию картин. По большей части копировал портреты. У него был хороший рисунок, но плохое чувство цвета»³³, — писал Джон Крофт.

Увлечение рисованием проходит через всю жизнь. Мы знаем, что Стерн еще в школе испещрил весь учебник латинского языка рисунками на полях. Возможно, в шутку он пообещал Китти Фурмантель (о которой читатель узнает больше, если дочитает эту книгу всего лишь до 67-й страницы) «написать ее портрет в черном платье». А своей приятельнице миссис Джеймс, — с ней он подружился за год с небольшим до смерти — он дает несколько уроков рисования.

Некоторое представление о способностях Стерна-рисовальщика можно получить по двойному портрету сороковых годов, сделанному Стерном и его йоркширским приятелем Томасом Бриджесом. Друзья изображены в стилизованных костюмах Шарлатана, продающего сомнительные снадобья, и его помощника. Стерн нарисовал Бриджеса, Бриджес — Стерна. Стерн, видимо, ценил эту работу, так как упомянул о ней в «Памятной записке», оставленной на случай «если он умрет за границей». Картина

пропала, однако до нас дошла сделанная с нее гравюра.

Но каким бы рисовальщиком или живописцем ни был Стерн, гораздо важней, что он видел и изображал мир своих романов как практикующий художник. Трудно удержаться и не привести хрестоматийный пример — описание позы капрала Трима, читающего проповедь.

«Он стоял, — я это повторяю для цельности картины, — согнув туловище и немного наклонив его вперед; — правая его нога покоилась прямо под ним, неся на себе семь восьмых всего его веса; ступня же его левой ноги, изъян которой не причинял никакого ущерба его позе, была немного выдвинута, — не вбок и не вперед, а наискосок; — колено было согнуто, — но не круто, — а так, чтобы поместиться в пределах линии красоты — и, прибавлю, линии научной также: — ибо, обратите внимание, что нога должна была поддерживать восьмую часть его туловища; — таким образом, положение ноги было в этом случае строго определенное, — потому что ни ступня не могла быть выдвинута дальше, ни колено согнуто больше, нежели это допустимо по законам механики для того, чтобы поддерживать восьмую часть его веса, — — а также нести ее.

Сказанное рекомендую вниманию художников...»³⁴

А вот для сравнения другая картина в иной тональности из позднего «Сентиментального путешествия», не столь графичная, но зато более живописная:

«Судя по остаткам его тонзуры, — от нее уцелело лишь несколько редких седых волос на ви-

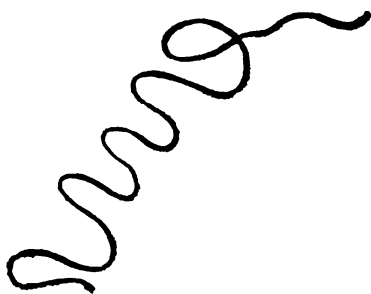
сках, — монаху было лет семьдесят, — но по глазам, по горевшему в них огню, который приглушался скорее учтивостью, чем годами, ему нельзя было дать больше шестидесяти. — Истина, надо думать, лежала посредине. — Ему, вероятно, было шестьдесят пять; с этим согласовывался и общий вид его лица, хотя, по-видимому, что-то положило на него преждевременные морщины.

Передо мной была одна из тех голов, какие часто можно увидеть на картинах Гвидо — нежная, бледная — проникновенная, чуждая плотских мыслей откормленного самодовольного невежества, которое смотрит сверху вниз на землю, — она смотрела вперед, но так, точно взор ее был устремлен на нечто потустороннее. Каким образом досталась она монаху его ордена, ведает только Небо, уронившее ее на монашеские плечи; но она подошла бы какому-нибудь брамину, и, попадись она мне на равнинах Индостана, я бы почтительно ей поклонился.

Прочее в его облике можно передать несколькими штрихами, и работа эта была бы под силу любому рисовальщику, потому что все сколько-нибудь изящное или грубое обязано было здесь исключительно характеру и выражению: то была худощавая, тщедушная фигура, ростом немного повыше среднего, если только особенность эта не скрадывалась легким наклоном вперед — но то была поза просителя; как она стоит теперь в моем воображении, фигура монаха больше выигрывала от этого, чем теряла...»³⁵

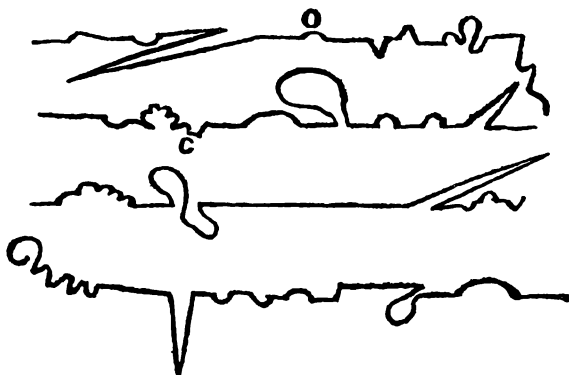
Но иногда слов недостаточно, и Стерн прибегает к рисунку:

«— Когда человек свободен, — с этими словами капрал описал в воздухе концом палки такую линию — —



Тысячи самых замысловатых силлогизмов моего отца не могли бы доказать убедительнее преимущества холостой жизни»³⁶. (Многие ли понимают, откуда взялся этот рисунок в эпиграфе к «Шагреновой коже» Бальзака? А ведь это цитата из «Тристрама Шенди».)

Стерн даже графически изображает прихотливое движение своего повествования (а по сути, своей мысли) на протяжении первых пяти томов романа:



и вовлекает читателя в процесс рисования, оставив для него целую пустую полосу, чтобы тот смог нарисовать на свой вкус портрет вдовы Водмен.

В 1765 году в Саттоне сгорел дом викария вместе с библиотекой. Есть предположения, что в те времена она была не очень большая, точнее сказать — бедная. Из нее уцелели две книги: почему-то переплетенные вместе труды философа Беркли и пьесы старшего современника Стерна драматурга Колли Сиббера (странное соседство!), а также сборник ирландских баллад с пометками Стерна (сейчас эта книга хранится в библиотеке Кембриджского университета).

Разумеется, Стерн мог брать и брал книги в библиотеке при Йоркском соборе. Но не так уж много: с 1741 по 1743 год он взял всего девять названий. А потом несколько лет вообще не брал книг на вынос. С 1751 по 1754 год взял 14 книг. Надо, конечно, учитывать, что многое он читал и в помещении самой библиотеки. Но у Стерна, еще со времен университета, был еще один, и превосходный, способ расширить свой литературный кругозор.

«СВИХНУВШИЙСЯ ЗАМОК»

Кто со скрипкою, кто с флейтой...

Дж. Холл-Стивенсон

Вернемся, подражая Тристраму, слегка вспять.

В своих мемуарах Стерн вспоминает лишь об одном событии, связанном с его пребыванием в Кембридже: «Там завязал я дружбу с мистером Холлом, которая оказалась очень прочна с обеих сторон»³⁷.

Джон Холл (после брака он прибавил вторую фамилию — Стивенсон), четыремя годами моложе Стерна, был блестящим молодым человеком из богатой семьи, беззаботным, остроумным, щедрым, всегда готовым к любым шуткам, розыгрышам и даже не совсем пристойным выходкам.

Доставшийся ему на севере Йоркшира наследственный замок Скелтон, который он по причудливости своего нрава переименовал в Свихнувшийся замок, представлял собой хаотичное нагромождение каменных плит, поднимающихся замшелыми террасами прямо из воды окру-

жающего его рва. Значительная часть замка была необитаема. Одна из двух башен ежечасно грозила обрушением, другая, северная, еще держалась. Мрачная живописность этого места была под стать развившейся с годами ипохондрией его хозяина. Некогда веселый и жизнерадостный, Холл-Стивенсон с возрастом стал нещадно страдать от ревматизма. Возможно, его суставы действительно болезненно реагировали на погоду. Однако боязнь северо-восточного ветра постепенно приняла маниакальный характер. Он обустроил свою спальню так, что из ее окна был виден флюгер на северной башне, и, если ветер был северо-восточным, вообще не покидал постели.

Рассказывали, что однажды Стерн, склонный к розыгрышам, подбил деревенского мальчишку залезть на башню и повернуть флюгер в южном направлении. Холл пребывал в прекрасном расположении духа, но, когда флюгер вернулся на прежнее место, тотчас помрачнел и удалился в спальню.

Иначе как шуткой не объяснишь, почему Стерн обессмертил своего друга в образе рассудительного Евгения, который появляется и в «Тристраме Шенди», и в «Сентиментальном путешествии» и дает Йорику благие советы.

В Свихнувшемся замке была прекрасная библиотека со старинными книгами вплоть до изданий XVI века. Именно благодаря Холлу и его библиотеке пристрастился Стерн к чтению «его дорогого Рабле и не менее дорогого Сервантеса», а также Монтеня, Эразма, Бёртона, Поупа, Свифта и многих других сочинений

светской литературы, которую в Кембридже, разумеется, не изучали.

Сам хозяин замка был не чужд литературным забавам: пописывал стихи в духе басен Лафонтена и Фенелона, а также памфлеты, но все это, по его собственному утверждению, просто чтобы развеять скуку. Хорейс Уолпол, однако, увидел в них «бездну остроумия и оригинального юмора», тогда как Грею они казались «полнейшим бредом». Наиболее значительный литературный опус Холла-Стивенсона был издан в 1762 году под названием «Свихнувшиеся рассказы». Созданные в манере «Кентерберийских рассказов» Чосера, они состояли из историй, написанных, однако, не от лица вымышленных персонажей, как у Чосера, а от лица реальных приятелей Холла, членов кружка «бесноватых», которые нередко гостили в Свихнувшемся замке (разумеется, сочинителем этих историй был хозяин замка). История, приписанная Стерну, называлась «Рассказ моего кузена» и была настолько непристойна, что Стерну пришлось объясняться с епископом Уорбёртоном³⁸.

У каждого из членов кружка было прозвище. Хозяин дома был Антонием, возможно, за свой отшельнический образ жизни (потому что в письмах Стерн обычно обращается к нему «Кузен Энтони»). Остроумный и жизнерадостный Роберт Ласселльс, почти безвыездно живший в Свихнувшемся замке как своего рода придворный шут, именовался Панти — сокращенно от Пантагрюэля. Эндрю Ирвайн, директор расположенной неподалеку Кирклетэмской шко-

лы, звался Пэдди Эндрю. Стерна иногда именовали Черный дрозд, вероятно, за цвет его сутаны.

На ум приходит сравнение с Ньюстэдским аббатством Байрона, когда молодой лорд поселился в нем после окончания Оксфорда и, запретив своей матушке переступать порог родового замка, вел там развеселую жизнь с приятелями по Хэрроу и Оксфорду. О ней узнаем от его университетского приятеля Чарлза Скиннера Мэтьюза. В письме к сестре Мэтьюз шутливо описывает ее воображаемый приезд в Ньюстэдское аббатство:

«Не забудь, что приехать лучше среди дня и все время быть начеку, чтобы не допустить промахов. Ибо, если ты пойдешь направо от холла по ступеням, ты попадешь в лапы медведя, а если пойдешь налево, твое положение еще ухудшится, потому что ты наткнешься на волка. Но если ты все же доберешься до дверей холла, не думай, что опасности миновали: холл обветшал и нуждается в ремонте, а в одном из углов, скорее всего, окажется компания обитателей здешних мест, вооруженных пистолетами. Так что если громогласно не объявить о своем приближении, то можно избежать встречи с волком и медведем для того лишь, чтобы погибнуть от пули веселых монахов Ньюстэдского аббатства... Что же касается нашего житья, то распорядок дня примерно таков: для завтрака нет точно установленного времени, каждый поступает, как ему удобно, еда остается на столе, пока все не насытятся. Но пожелай кто-нибудь получить завтрак в 10 часов, ему весьма повезет, если он найдет

хоть кого-то из слуг на ногах. Обычно мы встаем около часа. Я... всегда вставал первым из всей компании, и меня называли ранней пташкой... Что касается утренних развлечений, то это чтение, фехтование или игра в волан в большой зале, стрельба из пистолета в холле, прогулка, верховая езда, крикет, прогулка под парусом на озере, можно поиграть с медведем или подразнить волка. Между семью и восьмью мы обедаем, и вечер продолжается... до часа, двух или трех часов утра... Нельзя не упомянуть обычай после обеда, когда со стола убрана посуда, пускать по кругу человеческий череп, наполненный бургундским. После пиршеств с изысканными блюдами и лучшими винами Франции... нам подавали монашескую одежду со всеми полагающимися атрибутами — крестами, четками и проч., — что вносило приятное разнообразие в нашу внешность и наши занятия»³⁹.

В Свихнувшемся замке развлечения «бесноватых» были скромнее, хотя и те, и другие несомненно восходят к Телемской обители книги Рабле и к «Клубу адского огня», о котором — потерпите — будет рассказано в свое время. Здесь было гораздо больше философских бесед о «жизни, смерти и бессмертии», диспутов о классической литературе, больше чтения в великолепной библиотеке Холла и прогулок в экипаже вдоль моря, — так близко, что «одно колесо касалось воды».

Согласно стишкам Холла-Стивенсона:

Кто со скрипкою, кто с флейтой,
Кто рыбку удит, кто на охоте,

Кто занят диспутом, кто флиртом,
А кто подсчетами — кому охота⁴⁰.

Не удивительно, что именно сюда, в атмосферу веселья и свободы, вырывался Стерн от своей рутинной пасторской жизни. По Свихнувшемуся замку и шумному Лондону томился его неумный темперамент. Вот он пишет в июне 1761 года из Коксуолда (прихода, полученного им в 1760 году) Джону Холлу, оставшемуся в Лондоне, в то время как сам Стерн вынужден был вернуться в провинцию: «Я рад, что вы в Лондоне — и оставайтесь там с миром; здесь чертовски скверно. Вы были хорошим пророком: хотел бы я вернуться обратно, как вы и предупреждали, — но не потому, что тлетворный, смертоносный северо-восточный ветер прямо с башни Свихнувшегося замка всюду обдувает меня в этом логове рогоносцев (ведь плевать я хотел на северо-восточный ветер со всей его мощью), а потому, что переход от быстрого движения к абсолютному покою был слишком стремительным. — Мне следовало деньков десять погулять по улицам Йорка в качестве надлежащего переходного периода, прежде чем отправляться на покой...»⁴¹

ПРОБА ПЕРА

1741—1759

По мере того, как мы удаляемся от света и видим
его в истинных пропорциях, растет наше
презрение к нему — как громко сказано!

Л. Стерн. Из частного письма

Стерны вели в Саттоне довольно уединенную жизнь. Сквайром прихода был Филип Харланд, отношения с которым сложились довольно холодные: их разделяла разность политических симпатий. Харланд, убежденный тори, принадлежал к так называемой партии «земельного интереса» или «сельской партии». Стерн же, под очевидным влиянием своего дяди Джекса, большого политического интригана, поддерживал в тот период вигское правительство Уолпола, то есть принадлежал к так называемой «придворной» или «министерской» партии.

Зато со Стивеном Крофтом, сквайром Стиллингтона, небольшой деревушки в двух милях к северу от Саттона, и его семейством Стерна связывала тесная дружба, прошедшая через всю жизнь. Стерн стал викарием Стиллингтона в марте 1744 года, после смерти Ричарда Масгрейва, того самого священника, кто участво-

вал в церемонии вступления Стерна в сан саттонского викария. Теперь Стерну приходилось в воскресные дни после утренней службы в Саттоне спешить к церкви Св. Николая на вечернюю в Стиллингтоне. Однако находилось время и для литературной работы.

Деятельность по поддержке «министерской партии», по существу, и вовлекла Стерна в писательство (обязательные учебные вирши на латыни в колледже Иисуса, разумеется, не в счет). Он занялся сочинением хлестких памфлетов для начавшей выходить в Йорке газеты вигов «Йоркский газетчик», конкурировавшей с газетой тори «Йоркский курант». Особенно горячие баталии разыгрались вокруг предвыборной кампании 1741 года. Каждая партия пела дифирамбы своему кандидату и хулила его соперника. Вопросы истины никого не занимали. Главное — как можно убедительней и остроумней высмеять своего оппонента, найти его уязвимые точки. И здесь Стерн оказался незаменим. Увы, номера «Йоркского газетчика» в основном не дошли до нашего времени, так что о ранней публицистике Стерна мы можем судить по очень скудным материалам.

Однако один блестящий образчик его ранних памфлетов все же уцелел, и именно потому, что по странному стечению обстоятельств был опубликован не в «Йоркском газетчике», а во враждебном «Йоркском куранте».

В этом органе оппозиции была помещена анонимная статья, беззастенчиво поливавшая грязью некоего Тёрнера, кандидата от «министерской партии». Редактор «Куранта» Сизар Уорд

заклучил статью опрометчивым призывом к читателям ответить на помещенные в статье обвинения и обещанием обязательно опубликовать этот ответ. Стерн отозвался блестящей полемической статьей «Вопросы на вопросы», которая была опубликована в урезанном виде в «Йоркском куранте» и полностью в лондонской «Дейли газетир».

Помимо Сизара Уорда «Йоркский курант» в значительной мере контролировал доктор Бёртон, которого Стерн позднее обессмертил в образе невежественного самонадеянного акушера доктора Слопа, столь неудачно споспешествовавшего рождению Тристрама.

Дело в том, что Бёртон был не только активным членом торийской партии, но и автором многих научных публикаций по акушерству. Однако и к этой сфере его деятельности Стерн, должно быть, относился весьма критично.

В 1741 году миссис Стерн сообщила кухне о своей беременности, однако выносить ребенка ей не удалось. Неудачи преследовали супругов и позднее: девочка, родившаяся 1 октября 1745 года и крещенная Лидией в честь своей тетки, сестры Элизабет Ламли, не прожила и двух дней. Слуга Стернов Гринвуд утверждал, что у миссис Стерн были и другие беременности и что якобы был рожден мальчик, умерший через три недели после родов. Но так как никаких записей о крестинах этого ребенка нет в церковных книгах, сохранившихся до наших дней, как нет и других упоминаний, современные исследователи ставят под сомнение достоверность этих сведений. Через два года, 1 де-

кабря 1747 года, у Стернов родилась дочь, названная Лидией, как и первый ребенок. О более поздней и тоже неудачной беременности миссис Стерн свидетельствует фраза из письма Стерна дяде Джексу от 5 апреля 1751 года: «Случись мне, сэр, умереть сегодня ночью, я бы оставил не более двадцати фунтов годового дохода <...> на мою жену, на беспомощное дитя, да, пожалуй, еще на третье несчастное существо, которое может появиться на свет через несколько месяцев после смерти своего отца...»⁴². На этот раз миссис Стерн разрешилась мертворожденным ребенком.

Так что становится ясно, почему тема зачатия, родов, крестин и детской смертности затрагивала автора «Тристрама Шенди» за живое.

Справедливости ради надо сказать, что шарж на доктора Бёртона (если не считать пристрастия к хирургическим щипцам) не имел ни малейшего сходства с оригиналом. Высокий красивый мужчина, Джон Бёртон окончил колледж Св. Иоанна в Кембридже, затем изучал медицину в Лейдене, был основателем Йоркского госпиталя и всеми уважаемым жителем города. Он — автор нескольких серьезных брошюр по акушерству, а изобретенные им хирургические щипцы по сей день хранятся в Йоркском медицинском обществе.

Что же касается неудачных беременностей миссис Стерн, то в те времена неудачные роды, часто и со смертельным исходом для матери, были нередки. Причем, как правило, роженице помогала лишь повивальная бабка, хотя в лондонских госпиталях уже в 1740-х годах

появились хирурги-акушеры. Первым такую должность с 1748 года занимал доктор Уильям Хантер в лондонском Миддлсекском госпитале. А в 1757 году в столице была учреждена Королевская благотворительная помощь на дому для бедных замужних женщин. Становится понятно, почему мать Тристрама, миссис Шенди, так настойчиво требовала, чтобы ее отвезли рожать в Лондон.

Отношения супругов, надо признать, были далеки от гармонии. Джон Крофт вспоминает: «Стерн и его жена не ладили между собой, и она не раз говаривала, что самый просторный дом в Англии был бы тесен для них из-за ссор и скандалов»⁴³. Миссис Монтэгю, знаменитая родственница Элизабет Стерн, писала о ней: «Миссис Стерн — натура цельная и весьма добродетельная, но ее достоинства, подобно иглам капризного дикобраза, готовы оцетиниться при малейшем подозрении, будто ее хотят обидеть; она не совершит дурного поступка, но ее хорошие поступки совершаются в весьма неприятной манере, и единственный способ избежать с нею ссоры — держаться от нее как можно дальше»⁴⁴. Однако и сам Стерн, по мнению миссис Монтэгю, не был создан для брачных уз.

Но от житейских дел вернемся к политике. Предвыборная компания закончилась 21 января 1742 года победой «министерской партии», и Стерн за верную службу и острое перо получил от архиепископа Блэкбёрна пребенду в Норт-Ньюболде. Однако торжество сторонников Уолпола было недолгим. 3 февраля правительство Уолпола ушло в отставку. Более то-

го, умер второй член парламента от Йорка Эдвард Томпсон, а его место, уже без борьбы, занял кандидат от «сельской партии» Джордж Фокс. В связи с этим 27 июля в «Йоркском куранте» было опубликовано письмо Стерна Сизару Уорду следующего содержания:

Издателю «Йоркского куранта»

Сэр,

Я нахожу в свете недавних продвижений, что не худо было бы сменить курс; а посему нижайше прошу известить публику, что я искренне сожалею о своих оскорбительных газетных публикациях во время последней предвыборной кампании в графстве Йорк и хочу передать свои сердечные поздравления мистеру Фоксу в связи с его избранием.

*Tempora mutantur, & nos mutamur in illis**.

Остаюсь, сэр, Вашим кающимся другом и покорным слугой

Л. С.⁴⁵

Однако Стерн не «менял курс» — он просто прекратил принимать участие в политической жизни. И во время очередных выборов в Йорке в 1758 году оставался у себя в приходе и писал другу, преподобному Джону Блейку: «...Вся эта предвыборная суматоха, которую я ненавижу не менее, чем мой друг Тейлор, удерживает меня здесь в течение всего периода выборов <...> Если у тебя есть три-четыре последних номера «Йоркского куранта», будь добр, при-

* Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними (лат.).

шли их нам, потому что мы имеем столь же слабое представление о том, что у вас там происходит, как если бы находились в сибирских рудниках»⁴⁶.

Письмо Сизару Уорду, а также нежелание сотрудничать долее в «Йоркском газетчике» привели к ссоре с дядей Джексом: «Он со мной поссорился из-за того, что я не желал писать статей, — хотя он был человеком партии, я таким не был и гнушался этой грязной работой, считая ее ниже себя, — с той поры он стал моим злейшим врагом»⁴⁷, — вспоминает Стерн в мемуарах.

«Злейший враг» — выражение это не было ни случайным, ни преувеличенным. Дядя не просто прекратил общение с племянником, но искал способов навредить ему. Для начала он лишил Стерна лишних 20 фунтов в год, которые тот получал, читая проповеди в Йоркском соборе, когда подменял при необходимости других священников. Потом представился более удобный случай поквитаться с «отступником».

Из Ирландии приехали мать и сестра Лоренса. Агнесс, глупая и эгоистичная женщина, отнюдь не была образцовой родительницей, но и поведение в отношении ее Стерна тоже образцовым не назовешь, чем и воспользовался дядя Джекс, чтобы ослабить племянника. Все перипетии этой домашней истории были, как представляется, довольно объективно изложены Стерном в пространным письме дяде, отрывки из которого приводятся ниже:

«После смерти моего отца, пока я материально не устроился, то есть одиннадцать лет, мать

моя прожила в Ирландии, и так как в течение этого времени я не в состоянии был посылать ей денег, то редко получал от нее вести; а когда получал, они сводились обыкновенно к тому, что с помощью школы вышивания, которую она держала, а также благодаря аккуратной выплате пенсии (20 фунтов в год) она живет хорошо, и так продолжалось бы до сего часа, если бы слух, что я женился на состоятельной женщине, не заставил ее сняться с места и поспешить в Англию. <...> Получив сообщение, что она высадилась в Ливерпуле, я тотчас поскакал ей навстречу, чтобы помешать ей ехать дальше; я провел с ней три дня, всячески убеждая ее вернуться в Ирландию и кончить там дни свои в кругу родных.

Я ей указал, что, если не считать процентов с имущества моей жены, у меня было тогда всего сто фунтов в год, и из этих денег, по плохому своему здоровью, я вынужден был содержать заместителя; кроме того нам с женой надо было содержать самих себя с подобающей пристойностью, что не позволяло много уделить на долю матери; а если бы нам удалось что-нибудь сберечь, она получила бы это в Ирландии так же верно, как здесь; наконец, покинутое ею место — страна дешевая, ее родина, где, как ей известно, двадцать фунтов в год равняются больше чем тридцати фунтам здесь, не считая потерь при уплате пенсии в Англии, где она ей не причитается, и совершенной невозможности для меня восполнить все эти потери.

В заключение я поставил ей на вид бессердечность матери, которая, имея возможность жить

самостоятельно, садится на шею сына, едва способного свести концы с концами, не прибегая к тем средствам, что должны стать в будущем поддержкой для другого лица, которое, как это вполне понятно, мне гораздо дороже матери.

Все эти доводы я заключил преподнесением ей двадцати гиней, не сомневаясь, что вместе с подаренным ей накануне платьем и т. д. они произведут желательное для меня действие. Но я сильно ошибался, так как, хотя она слушала меня со вниманием, однако, положив деньги в карман, самым дерзким образом мне сказала, что о ее возвращении в Ирландию не может быть и речи, такого удовольствия она мне не доставит, что, по ее глубокому убеждению, я женился на женщине с большим приданым, и она решила попользоваться своей долей и прожить в довольстве остаток дней в Йорке или в Честере. <...> ...я принужден был примириться с ее решением; но, несмотря на столь вызывающий его характер, я на прощание ее заверил, что “хотя доходы мои скудные, я все-таки не забуду, что я — сын, хотя она и забыла, что она — мать”.

Из Ливерпуля, как было ею решено, она переехала с моей сестрой на жительство в Честер, и, хотя у нее было мало оснований на это надеяться, она увидела там с моей стороны лучшее отношение, чем то, что я ей обещал, так как мы с женой помогали ей больше, чем позволяли нам наши средства, в ущерб нашим самым насущным потребностям; и хотя мы с большим трудом мирились с мыслью, что предоставляем моей матери и сестре возможность наслаждаться удовольствиями и выгодами городской жиз-

ни, в которых из бережливости мы отказываем самим себе, тем не менее, по слабости характера, продолжали это делать в течение целых пяти лет; правда, должен признаться, это не обходилось без постоянных протестов с моей стороны и вечных шумных требований со стороны матери и сестры, да иначе и быть не могло, если всякое даяние считалось одной стороной настолько же превышающим разумные пределы, насколько оно оказывалось ниже ожиданий другой стороны.

Таково было положение вещей между нами, когда в сорок четвертом году сестра по распоряжению матери была послана из Честера в Йорк с целью представить вам свои жалобы и склонить вас к поддержке их безрассудных требований...»⁴⁸

Далее излагаются попытки устроить сестру на работу, которые та отвергла с негодованием: «она не желает подвергаться бесчестию и будет жить как дворянка». Предложение Стерна до конца его жизни давать матери по восемь фунтов ежегодно тоже было отвергнуто по совету дяди Джекса. Она требовала, чтобы указанная сумма выплачивалась ей из состояния миссис Стерн, с тем чтобы она получала их и в случае смерти сына.

Дальнейшие события не совсем ясны даже для дотошных биографов Стерна. Известно, что позднее сестра писателя вышла замуж и уехала в Лондон, а мать перебралась из Честера в Йорк и жила там на свои сбережения. Когда же деньги кончились, она обратилась за помощью к Джексу Стерну, а тот вместо помощи определил ее

в долговую тюрьму, исключительно чтобы насолить племяннику и испортить ему репутацию. Профессор Кросс предполагает, что Агнесс действительно оказалась в долговой тюрьме из-за махинаций Джекса Стерна.

Стерн, находившийся в Саттоне, узнал о скандале, когда слухи о нем распространились по всему Йорку. На какое-то время он помирился с матерью, поселил ее в Йорке и, похоже, все же давал деньги на содержание, так как, согласно церковным книгам, она не пользовалась церковной благотворительностью.

Агнесс Стерн умерла в мае 1759 года, возможно, в доме Стерна в Йорке на Минстер-ярд, куда семья переехала незадолго до этого. Она была похоронена 5 мая при приходской церкви Св. Михаила.

Дядя Джекс своего добился. У некоторых — и современников и потомков — создалось впечатление, что Стерн оставил мать умирать в долговой тюрьме. Вспоминается хотя бы дневниковая запись Байрона, который, как и многие, отождествляет Йорика и его создателя: «Ах, я не лучше негодяя Стерна, который предпочитал хныкать над мертвым ослом вместо того, чтобы помочь живой матери, — негодяй — лицемер — низкопоклонник — но и я тоже хорош»⁴⁹.

Но торжествовал Джекс Стерн недолго: он пережил матушку Лоренса всего лишь на месяц. Он умер 9 июня 1759 года, завещав все свое немалое состояние домоправительнице, которая была его любовницей, некой Саре Бенсон. Стерн, единственный наследник по мужской линии, был крайне раздосадован, — настолько, что даже отказался надеть траур.

Как мы уже сказали, к лету того же года Стерн с семейством переехал в Йорк.

Причин для переезда было немало. Все семейство тяготилось деревенской жизнью. Лидия подрастала, и Стерн писал одной своей приятельнице: «Если я не могу оставить ей состояние, я могу дать ей хотя бы образование»⁵⁰. К тому же Лидия отличалась слабым здоровьем: по одним свидетельствам, она страдала от астмы, по другим — от эпилепсии. Со здоровьем жены дела обстояли не лучше. Заботы о дочери, финансовые затруднения, разочарования, связанные с надеждами на наследство от Джекса Стерна, легкомысленное поведение мужа, — все это привело к нервному срыву и временному умопомешательству. Миссис Стерн вообразила себя, ни много ни мало, королевой Богемии, и Лоренс ей подыгрывал, проявляя почтительность, сообразно ее монаршему сану.

Но и у самого Стерна со здоровьем были проблемы. С юности он страдал чахоткой: первый приступ кровохарканья приключился еще в Кембридже, когда ночью он измарал кровью всю постель.

Так что перебраться в Йорк, поближе к врачебной помощи, для всего семейства было необходимо.

Существенной подмогой для Стерна, лишившегося милости дяди, стало покровительство Джона Фаунтейна, давнего приятеля Стерна по Кембриджу, назначенного деканом Йоркского собора. С именем Джона Фаунтейна связан эпизод, побудивший Стерна после значительного перерыва вновь взяться за перо.

В январе 1759 года Стерн издал в Йорке первый свой серьезный писательский опус — сатирический памфлет «Политический роман». Созданию его предшествовала долгая, почти десятилетней давности, распря между неким доктором Топамом и деканом Йоркского собора Джоном Фаунтейном из-за некогда обещанных Топаму церковных должностей, одна из которых впоследствии перешла к Стерну. Раздоры, с течением времени улегшиеся и забытые сами собой, в 1758 году вспыхнули с новой силой, так как архиепископом Гилбертом и деканом Фаунтейном было отказано Топаму в новой просьбе: закрепить одну из наиболее доходных его должностей за его малолетним сыном.

Разъяренный церковник, припомнив былые обиды, издал памфлеты, обвиняющие Фаунтейна в непорядочном поведении. Тот ответил. Завязалась полемика в печати, в которую не преминул ввязаться и Стерн.

В Стерновом памфлете жители Йорка могли легко узнать представителей враждующих сторон: приходский священник — архиепископ Йоркский Джон Гилберт, приходский клерк — Джон Фаунтейн, церковный служака Трим — доктор Топам, Лорри Слим — сам автор памфлета, отличавшийся чахоточной худобой («slim» — по-английски «тощий»).

Однако, вполне частный эпизод «провинциальных нравов» под пером Стерна разросся в аллегорическую, в духе свифтовской «Сказки о бочке», картину, рисующую алчность, стяжательство и интриганство определенных кругов англиканского духовенства.

Как видим, Стерн понизил в должности всех участников свары и сделал ничтожными предметы их вожделений: в памфлете борьба идет за обладание теплым зимним плащом и старыми бархатными штанами. Нелепость страстей, разгоревшихся по столь убогому поводу, подчеркнута в «Ключе», приложенном к памфлету. В нем содержится обсуждение памфлета на заседании одного из политических клубов Йорка. Здесь особенно ярко проявился талант Стерна-юмориста. Напыщенный председатель видит здесь борьбу между Францией и Англией. Знаток исторических сочинений утверждает, что это более походит на войны времен Вильгельма и королевы Анны, так как разорванный плащ больше напоминает договор о разделе. Географ отмечает, что штаны содержат намек на Гибралтар. Портной находит, что штаны напоминают Сицилию и Апеннинский полуостров. Адвокат усмотрел здесь намерение унижить нахальных церковников, священник — избличить бесчестность судейских... И чем глобальнее и абсурднее интерпретации, предлагаемые в «Ключе» для расшифровки аллегии, тем комичнее выглядела ничтожность реальной подоплеки истории одного «добротного теплого плаща» и «черных бархатных штанов».

Уже здесь проявился вполне, пусть и несколько схематично, стерновский пресловутый релятивизм, умение видеть вещи в самых разных ракурсах, придающее многогранность изображаемому. Уже здесь начинается Стерн литературную полемику с дидактическим аллегорическим романом и повестью того времени, которой будут пронизаны его позднейшие произведения.

«Политический роман» был отпечатан в Йорке тиражом в 500 экземпляров. Однако и друзья, и недруги убедили Стерна не придавать широкой огласке скандальную историю, послужившую поводом к написанию памфлета. Почти весь тираж был уничтожен; уцелело лишь четыре оттиска. В 1769 году, уже посмертно, памфлет был издан в сильно сокращенном виде, без «Ключа», под названием «История доброго теплого плаща». И только в XX веке был опубликован полный текст произведения.

УСПЕХ

Май — февраль 1759 года

Книга наверняка будет продаваться...

Л. Стерн. Из частного письма

Нет сомнений, Стерн был огорчен уничтожением тиража «Политического романа». С тем большим рвением принялся он за осуществление новых творческих планов.

Первоначальный вариант первого тома романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» уже 23 мая 1759 года был отправлен известному лондонскому издателю Роберту Додсли (йоркский издатель Сизар Уорд незадолго до этого скончался). К рукописи прилагалось письмо:

Сэр,

Посылаю с этим письмом «Жизнь и мнения Тристрама Шенди», каковые предлагаю Вам первому и вручаю без малейшего сомнения — как ввиду Вашего доброго нрава, так и самых лучших рекомендаций со стороны мистера Хинксмена. Задачи я себе поставил, как Вы вскоре убедитесь, весьма значи-

тельные, и касаются они не только слабостей наук наших, в чем и состоит главная мишень для насмешки, но и всего прочего, представляющегося мне достойным осмеяния.

Если первый том будет иметь успех (в чем критики в здешних широтах ни секунды не сомневаются), то выиграем от этого мы оба. Книга наверняка будет продаваться; что же касается других ее достоинств, то мне о них не пристало ни думать, ни говорить; судить о них не мне, а Вам — свет же установит истинную цену нам обоим.

Издай Вы ее сейчас, второй том будет готов к Рождеству, или даже к ноябрю. Чем вызван такой перерыв, Вы поймете, когда прочтете книгу. Полагаю, что формат должен быть таким же, как «Эссе об искусстве изобретательного мучительства» у Миллера, те же шрифт и поля.

Окажите мне любезность — отпишите, когда придет рукопись. Какую, по-Вашему, следовало бы поставить цену? А впрочем, проще будет сказать, во что оцениваю ее я сам, — в 50 фунтов, будем надеяться.

Остаюсь, сэр, с величайшим уважением к Вашим добродетелям, Ваш покорнейший и нижайший слуга

Лоренс Стерн.

PS. Пишите мне на имя йоркского пребендаря в книжную лавку мистера Хинксмена, Йорк.

Некоторые из лучших здешних ценителей уговаривали меня выпустить рукопись в свет *potis variegum** — в них, слава Богу, недостатка нет, однако я счел за лучшее отдать ее в мир в чем мать родила, — если, конечно, Вы захотите ее приобрести... Это мы обсудим в дальнейшем⁵¹.

* *Здесь: с разнообразными примечаниями (лат.).*

Рукопись, судя по всему, Додсли понравилась. Однако он решил не рисковать кошельком, издавая дебютанта. И благовидный предлог нашелся — уход от дел и передача их брату Джеймсу, которого он не хотел втравливать в сомнительную сделку.

Издавать дебютантов во все времена рискованно. Издатель Нун, опубликовавший за собственный счет знаменитую впоследствии работу Дэвида Юма «Трактат о человеческой природе» и заплативший автору 50 фунтов за права, потерял на этом проекте не менее 500 фунтов. Три допечатки «Векфильдского священника» Оливера Голдсмита не оправдали, как ни странно, типографских расходов. Не удивительно, что Стерн получил отказ.

Однако благоприятное отношение Роберта Додсли к его книге знаменательно: ведь Додсли обладал тонким вкусом, сам писал стихи и пьесы и издавал таких светил, как Поуп, Сэмюэл Джонсон, Юнг и Грей.

Семейная обстановка в доме Стернов в этот период была угнетающей. Жена, как писал один из его йоркских знакомых, «потеряла рассудок в результате приступа паралича, у дочери, видевшей такое состояние матери, началась лихорадка». «Я желаю Лорри Стерну, чтобы у него было поменьше огорчений в связи с болезнью жены, но у него, к счастью, такой жизнерадостный нрав и сила духа», — пишет Джон Дилтэри, позднее епископ Бристольский. Джон Крофт утверждает, будто Стерн признавался ему, что каждая фраза его курьезной книги была задумана и написана с самым тяжелым сердцем⁵². Воз-

можно, именно работа над романом и помогала справиться с угнетенным состоянием.

Стерн многое изменил. Первый вариант был написан в едких, сатирических тонах, под большим влиянием ««Мартина Скриблеруса» и «Сказки о бочке» Свифта, со множеством намеков на провинциальные нравы и реальные события, памятные и занимательные лишь для жителей Йорка. От ранней версии романа до нас дошел всего лишь небольшой фрагмент, опубликованный посмертно вместе с письмами дочерью Стерна в значительно смягченном, отредактированном виде под названием «Фрагмент в манере Рабле». В окончательном тексте романа о «Фрагменте» напоминает лишь рассказ о состязании Гимнаста и Трипе в 29-й главе пятого тома.

По совету Додсли Стерн изгнал все частное. Осенью 1759 года он сообщает лондонскому издателю: «Местный колорит из книги полностью изъят — сатира носит всеобщий характер. Там, где это необходимо, даются примечания; чтобы книга лучше продавалась, добавлено около ста пятидесяти страниц»⁵³.

Кое-кого, однако, жители Йорка могли легко распознать в сатирических персонажах и новой редакции «Тристрама Шенди». Адвокат Дидий безошибочно соотносился с доктором Фрэнсисом Топамом; прототипом Футатория, возненавидевшего Йорика за обжегший его каштан, был дядя Джекс; прообразом доктора Слопа, злополучного акушера, сочувствующего папистам, как уже говорилось, был доктор Бёртон. В Кунастрокии по некоторым намекам могли уз-

нать к тому времени покойного известного лондонского доктора Ричарда Мида (последний шарж некоторых йоркских читателей особенно возмутил, и Стерну пришлось объясняться).

Но кто эта «милая, милая Дженни», о которой столь двусмысленно говорит Тристрам?

(«Я вовсе не настолько тщеславен и безрассуден, мадам, чтобы пытаться внушить вам мысль, будто моя милая, милая Дженни является моей возлюбленной; — нет, — это было бы искажением моего истинного характера за счет другой крайности и создало бы впечатление, будто я пользуюсь свободой, на которую я, может быть, не могу претендовать. Я лишь утверждаю, что на протяжении нескольких томов ни вам, ни самому пронизательному уму на свете ни за что не догадаться, как дело обстоит в действительности»⁵⁴.)

А в действительности зимой 1759 года в Йорке появилась новая «примадонна», «лучший голос в городе» певица Катрин Фурмантель, а если на английский манер, — Кэтрин Формэнтл. В 1758 году она пела в лондонской «Рэниле» — весьма популярном увеселительном заведении, построенном в 1740 году в садах лорда Рэнила и просуществовавшем до 1802 года, — и вернулась туда же в 1780-м. Происходила из семьи переселенцев-гугенотов. Ее отцом, а возможно, просто близким родственником был Жан Беренжер де Фурмантель.

Стерн, кичившийся своей влюбчивостью («что до меня, то в моей голове всегда должна быть какая-нибудь Дульсинея — это гармонизирует душу»⁵⁵, — читаем в одном из писем 1765 го-

да, а позднее, почти дословно, и в «Сентиментальном путешествии»), не остался равнодушен к ее чарам. Сохранились игривые записки, которые он посылал ей еще в Йорке вместе с другими знаками внимания. Их стилистика вполне в духе Тристрама, над которым в это время вовсю идет работа. Характерно, что и записки Стерн подписывает именем своего героя.

Воскресенье [1759]

Мисс,

Я с Вами рассорюсь, да к тому же не стану писать Ваш портрет в черном платье, которое так Вам к лицу, ежели Вы не примете несколько бутылок «Калькавийю», которые мой слуга оставит у Ваших дверей ввиду моего отсутствия. Причину этого пустячного подарка Вы узнаете во вторник вечером. — И я почти настаиваю на том, чтобы Вы придумали какой-нибудь благовидный предлог оказаться дома к семи часам.

Ваш Йорик⁵⁶.

[Йорк, воскресенье, 1759]

Моя милая Китти,

Если эта записочка застанет тебя в постели, ты ленивая, маленькая, сонная дрянь, а я пустой безмозглый болван, который не догадался тебя пораньше поднять. Но сегодня суббота — день отдохновения, и одновременно день Скорби — ибо сегодня я не увижу мою дорогую девочку, ежели только ты не встретишься со мною у Тейлора в половине первого — но это как тебе угодно — я приказал Мэтью заняться воровством и стащить для тебя кварту меду —

Но что сладость меда рядом с тобою, которая слаще любых цветов, из коих он добывается? Я люблю

тебя до безумия, Китти, — и буду любить тебя вечно — прощай и верь в то, что, как время покажет,
я твой⁵⁷.

Четверг [1759]

Дорогая моя Китти,

Я послал тебе горшочек с цукатами и горшочек с медом, но они и вполонину не столь сладки, как ты. — Но не тщеславься и не вздумай кисло воспринимать мои сладостные сравнения. А не то я пошлю тебе (по контрасту) горшочек маринованных огурцов, дабы тебя подсластить и вернуть в прежнее состояние. — Но какие бы перемены ни приключились с тобою, верь, что я неизменно твой и, согласно твоему девизу, дорогая моя Китти, я тот,

*Qui ne changera pas, que en mourant**.

Л. С.⁵⁸.

В октябре того же года Стерн предлагает Додсли принять участие уже не в издании, а в распространении книги: «...Предлагаю, исключительно чтобы послушать читательский пульс, напечатать книгу за мой собственный счет скромным тиражом в двух небольших томах размером с “Расселаса”, на такой же бумаге и таким же шрифтом, с тем, чтобы я знал, какую цену устанавливать на остальные тома. Если моя книга будет продаваться тем тиражом, какой сулят ей критики, я освобожу себя ото всех дальнейших хлопот и заранее договорюсь с Вами, если это возможно, обо всех последующих томах, каковые будут передаваться Вам каждые

* Который не изменится, пока жив (*фр.*).

шесть месяцев. Если же мою книгу ожидает неудача, то убытки понесет тот, кто и должен их нести. По той же причине, по которой я предложил вам первому эту безделицу, я бы хотел теперь предоставить вам всю выгоду от продажи (за вычетом того весьма значительного числа экземпляров, которые мистер Хинксмен будет продавать здесь) и распространять книгу только через ваш магазин на обычных условиях. Печататься “Тристрам Шенди” будет здесь, а тираж пересылаться Вам; поскольку я живу в Йорке, все корректуры будут прочитаны мною, и в свет книга выйдет в безупречном виде; что же до печати, то бишь бумаги, шрифта и пр., все будет в полном порядке — мы Вашу репутацию не запятнаем. Готовы ли Вы на этих условиях заняться “Тристрамом”, опекать его столь же бережно, как если б Вы купили на него права?»⁵⁹

Додсли согласился. И в последних числах декабря 1759 года два первых тома «Тристрама Шенди» были напечатаны в Йорке типографией покойного Сизара Уорда (теперь ее содержала его вдова Энн Уорд) без указания места издания, так как провинциальная продукция плохо распродавалась в столице. Половина тиража была отослана в лавку Додсли в Лондон, другая — продавалась в книжной лавке Хинксмена.

Расходы на издание (деньги на него одолжил некий Уильям Филип Ли, друг Джона Фаунтейна и Стивена Крофта, холостяк либеральных взглядов и книголюб) вскоре окупилась. В Йорке было только и разговоров, что о новом романе. Лидию Стерн в школе дразнили мисс Тристрам или мисс Шенди. Джон Крофт воспомина-

ет, что в отместку она писала любовные письма своим одноклассницам от имени актеров, гастролировавших в Йорке, провоцируя скандалы, если письма попадались на глаза родителям учениц.

Чтобы привлечь внимание читающего Лондона к своему роману, Стерн просит Китти обратиться с письмом к Дэвиду Гаррику, с которым та шапочно знакома.

Это был правильный шаг: трудно было бы найти более подходящую фигуру для, как теперь говорят, «раскрутки» книги.

Дэвид Гаррик был одним из величайших актеров не только того периода, но и всей истории национального театра Великобритании. Владелец не очень мощного голоса и небольшого роста, он внес простоту и естественность в исполнение даже классических трагических ролей. Один из его современников писал: «Гаррика трудно назвать актером, и это лучшая похвала, какую ему можно сделать. В его исполнении нет ничего специфически актерского; когда он играет на сцене, зрители видят перед собой не актера, а изображаемого актером человека»⁶⁰. «Правило, которое Гаррик сделал для себя обязательным, заключалось в предположении, что ни один зритель не присутствует в зале. Он заставлял себя поверить, что действительно является персонажем, которого изображал на сцене, и внушал себе, что все то, что по пьесе он видел, слышал или чувствовал, было подлинным»⁶¹. Это полностью противоречило убеждениям знаменитого лексикографа Сэмюэла Джонсона (о нем еще будет случай рассказать

подробнее), который хотел, чтобы зрители ни на секунду не забывали, что это лишь представление; перевоплощение в персонажа он считал безнравственным: «Исполняя роль Ричарда III Шекспира, Гаррик должен был бы превращаться в этого преступника, тогда после спектакля его следовало бы повесить»⁶².

Гаррику с одинаковым блеском удавались «царственное достоинство и придурковатая простота»⁶³. Стерн позднее написал о нем: «Это величайшая загадка природы на нашем меридиане, что один и тот же человек может обладать такими замечательными трагическими и комическими дарованиями и в таком счастливом равновесии, что публика разделилась на два лагеря в споре о том, для каких же именно ролей его предназначила природа»⁶⁴.

Кроме того, он писал фарсы, одноактные пьесы, перерабатывал пьесы других авторов, в том числе и Шекспира, для постановки в театре «Друри-Лейн», руководителем которого он стал в 1747 году. Так что и по роду занятий, и по своим литературным пристрастиям он был способен по достоинству оценить дебют Стерна.

Письмо Китти было написано под диктовку Лоренса:

Сэр,

Смею сказать, Вы удивитесь, получив от меня письмо, а тема его еще больше Вас удивит, так как речь пойдет о книгах.

Здесь только что вышли в свет два томика, которые наделали много шума и прекрасно раскупаются; ведь за два дня после выхода книготорговец продал

двести экземпляров, и продажа бойко продолжается. Это «Жизнь и мнения Тристрама Шенди»; вчера на концерте автор сказал мне, что он послал книги в Лондон, так что, возможно, Вы уже видели их. А если нет, умоляю, достаньте и прочтите их, ведь это прекрасная остроумная книга. И если Вы найдете ее таковой, замолвите за нее доброе словечко в городе, и Вы очень обяжете этим автора. Поймите, он мой добрый и щедрый друг, которого послало мне Провидение в этом мире, где я так одинока, и, я полагаю, лучший способ отплатить ему — подружить Вас с ним и с его произведением. И только это объясняет смелость моего обращения к Вам, которую, надеюсь, Вы простите. Его зовут Стерн, он пребендарий Йоркского собора, человек талантливый, пользующийся в наших краях репутацией большого ученого и остролиста. Однако люди степенные утверждают, что юным леди не подобает читать его книгу, так что, быть может, и Вы подумаете, что мне не пристало рекомендовать ее. Тем не менее здешняя знать стоит за нее горой и утверждает, что это хорошая книга, хотя местами, быть может, и чрезмерно цветистая.

Остаюсь, дорогой сэр, вашей низжайшей слугой...⁶⁵

Это письмо сыграло решающую роль в судьбе книги, а тем самым и ее автора. Роман Стерна Гаррику понравился (ему все же послан был экземпляр). Обнадеженный автор откликнулся «шендианским» письмом:

Сэр,

У меня было сильнейшее желание сопроводить письмом те два тома, которые я имел удовольствие вам послать. — Я дважды хватался за перо, — тьфу

ты пропасть! — напишу гнусное подхалимское письмо, смысл которого просить вас замолвить словечко за мою книгу, не важно — заслуживает она того или нет, — но нет, — пусть эта книга катится к черту! Но когда вчера вечером мистер Годдард сказал мне, что вы действительно хорошо отзывались о книге, я отбросил свою щепетильность и почувствовал, что вправе отдаться переполняющему меня чувству благодарности (а может быть, и тщеславия) и выразить вам свою признательность, сэр, что я и делаю от всей души за ту великую услугу и честь, какую ваши добрые слова мне оказали. Не знаю, почему (но я беспардонно лгу, потому что прекрасно знаю) мне более всего хотелось получить именно Ваше одобрение, чем чье бы то ни было еще, и моим первым порывом было послать вам рукопись и услышать ваши критические замечания, прежде чем она уйдет в печать, — но получилось по-иному, и потому книга вышла в свет прямехонько из моей головы без единого исправления, — но так как это мой портрет, то, быть может, оно и к лучшему из-за большего сходства с оригиналом...⁶⁶

Путь в лондонское великосветское общество был открыт.

В начале марта Стивен Крофт отправлялся по делам в Лондон и любезно предложил Стерну место в своей карете: у саттонского vicar денег на поездку, разумеется, не было. Поколебавшись с минуту — как оставить больную жену? — Стерн все же согласился. И эта поездка положила начало новому этапу в его жизни.

ЛОНДОН

Март — июнь 1760

Who had not *Tristram Shandy* read?

Is any mortal so ill-bread?

J. Boswell

Эти строки молодого и восторженного Джеймса Босуэлла мы умышленно оставляем без перевода, чтобы соблазнить читателя добраться хотя бы до начала следующей главы.

В январе 1760 года в литературной жизни Лондона произошло знаменательное событие. На Пэлл-Мэлл в книжной лавке Роберта и Джеймса Додсли появились первые два томика романа с неприятным названием — «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Место издания указано не было. Да и имя автора, как тогда нередко случалось, на титульном листе не значилось.

Книга раскупалась бойко. И когда в начале марта в книжную лавку Додсли зашел высокий худощавый незнакомец средних лет в строгой черной одежде и поинтересовался, нельзя ли купить «Тристрама Шенди», ему сообщили, что книгу эту ни за какие деньги не купишь.

Реальность превзошла самые радужные ожидания на поездку в столицу. Теперь уже Джеймс Додсли поспешил заключить с начинающим писателем договор на весьма выгодных условиях:

**Предварительное соглашение
с книгопродавцем-издателем Джеймсом Додсли**

Настоящим мистер Додсли и мистер Стерн согласились, что мистер Стерн продает авторское право на первый и второй томы «Тристрама Шенди» за сумму двести пятьдесят фунтов — пятьдесят фунтов должно быть заплачено немедленно, а остальные по истечении шести месяцев. — Примечание: весь доход с уже напечатанных книг находится в распоряжении мистера Стерна. — Получение означенных пятидесяти фунтов настоящим подтверждаю. И далее они согласились, что третий и четвертый томы должны быть проданы и куплены за сумму [*зачеркнуто*: четыреста гиней] триста восемьдесят фунтов. —

Л. Стерн. Дж. Додсли.

8 марта 1760 г.

Свидетель: Ричард Беренджер⁶⁷.

Документ требует некоторых пояснений.

Во-первых, переводчик А. Франковский неслучайно добавил в заголовок неуклюжее «книгопродавец-издатель», вместо простого «книготорговца», стоящего в оригинале: оставить только его значило бы запутать читателя. Дело в том, что книготорговец был в те времена чаще всего и издателем, и распространителем собственной продукции. Слово «издатель»

(publisher) применялось либо к самому автору, либо к редактору или составителю книги.

Далее, в соглашении речь идет о повторном издании — ведь часть тиража, поступившая из Йорка, к марту месяцу уже разошлась. Новый тираж Додсли делает уже за свой счет и выплачивает автору за уступку прав соответствующий гонорар. И гонорар этот по тем временам немалый. Сэмюэлу Джонсону за его «Расселаса» Додсли предложил на выбор — либо 60 фунтов за право лишь один раз издать книгу, после чего права возвращались к автору, либо, так как он почувствовал, что книга будет иметь успех, 100 фунтов за первый тираж и по 25 за последующие, если таковые будут. При таком соглашении издатель сам решал, сколько экземпляров допечатывать.

Теперь гонорар Стерна оказался в пять раз больше суммы, первоначально им самим предложенной. Договорился Стерн и об издании своих проповедей, которые он предусмотрительно захватил, отправляясь в поездку.

Стерн почувствовал себя счастливейшим и богатейшим из смертных. Он снял прекрасные апартаменты на Пэлл-Мэлл и вел жизнь столичной знаменитости, чему немало способствовало покровительство Гаррика. «Здесь великие мира сего оказывают мне величайшие почести... Я получил приглашение пообедать с добрым десятком аристократов и знаменитостей. Мистер Гаррик оказывает мне куда больше внимания, чем то, на какое я мог надеяться; сегодняшний вечер я провел с ним, и он пообещал, что в самом скором времени множе-

ство великих людей будут слезно просить меня с ними отобедать; он дал мне право пользоваться его ложами и весь год жить у него в доме и делает все необходимое, чтобы либо оказать мне услугу, либо повисить мою репутацию. Он полностью взял на себя книготорговцев и обеспечит моей книге высокую цену...»⁶⁸, — пишет Стерн своей «милой, милой Китти». В другом письме тому же адресату упомянуто много важных событий, так что его не грех привести полностью:

Дорогая Китти,

Хотя в моем распоряжении лишь несколько секунд, мне непременно хочется написать вам о моих удачах; лорд Фоконберг преподнес мне сегодня сто шестьдесят фунтов годового дохода, которые я буду получать с сохранением всех моих должностей, так что все или большая часть моих горестей кончится, и слезы мои будут осушены. Теперь у меня осталось только одно препятствие для счастья, а в чем оно заключается, вы знаете так же хорошо, как и я.

С крайним нетерпением жду увидеть мою милую Китти. Сообщите же мне, сообщите, в какой день или на какой неделе это случится. Вчера один епископ преподнес мне кошелек с гинеями; дайте срок, все устроится.

С утра до ночи моя квартира, — а она, кстати сказать, одна из самых элегантных в столице, — наполнена самыми высокопоставленными людьми. Последние два дня я обедал у двух фрейлин; предстоят обеды у лорда Рокингема, лорда Эджкома, лорда Винчелси, лорда Литльтона, одного епископа, и т. д., и т. п.

Уверяю вас, милая Китти, что Тристрам в моде. Дал бы Бог поскорее увидеть мою дражайшую девочку в добром здравии. — До свидания!

Ваш любящий друг

Л. Стерн⁶⁹.

В письме речь идет о должности викария в Коксуолде, который станет основным местом жительства семейства Стерн. Что касается подарка епископа, то дарителем был епископ Уорбёртон, и в свое время мы обязательно расскажем подробнее о его преосвященстве, так как, в отличие от Тристрама, намереваемся выполнять свои обещания.

Пребывание в Лондоне растянулось на три с лишним месяца, в течение которых одни развлечения сменялись другими — балы, приемы, посещения театров, светские визиты. В июне Грей, поэт, известный в России по элегии «Сельское кладбище» в переводе Жуковского, пишет в частном письме: «Тристрамом Шенди» по-прежнему восхищаются, так же как и его автором; когда он где-нибудь обедает, список гостей составляют за две недели. Что касается уже напечатанных частей, в них много смешного, и юмор иногда попадает в цель, а иногда нет»⁷⁰.

В этом круговороте удовольствий не хватало даже времени (а может быть, и желания?) повидаться с Китти, которая, по его же настоянию, в середине апреля поспешила в Лондон, узнав про его столичный триумф. Однако, судя по запискам Стерна, в Лондоне они почти не встречались:

Дорогая Китти,

Если бы даже дело шло о спасении моей жизни, в моем распоряжении не было бы ни одного часа и даже получаса с тех пор, как я навестил вас в воскресенье; иначе моя дорогая Китти может быть уверена, что я бы не пропадал так долго. Каждая минута сегодняшнего и завтрашнего дня уже мною обещана, так что я лишен свободы не меньше, чем человек, посаженный в тюрьму. Поверьте, моя милая, что я ни одного часа не провожу там, где я желал бы, — ибо я желаю всегда быть с вами; но судьба сейчас направляет мои шаги неведомо куда. — До свидания! До свидания!⁷¹

Стерну неудобно было появляться с мисс Фурмантель в обществе, а свободных вечеров для частных визитов почти не было. В Йорк Китти не вернулась. Стерн убедил Джона Бэрда, руководителя театра «Ковент-Гарден», который по совместительству выступал и в «Рэниле», взять ее в труппу. И с возвращением Стерна в Йорк «милая, милая Китти» исчезла из его жизни.

А вот для позирования знаменитому Рейнолдсу время нашлось. Художник изобразил Стерна в одежде священника, но постарался подчеркнуть эксцентричность своей модели — парик небрежно сдвинут набок, серьезный пронзительный взгляд контрастирует с саркастической улыбкой.

В дальнейшем Стерн будет еще дважды позировать Рейнолдсу, но этот, первый портрет (как и сделанные с него многочисленные гравюры) так и останется каноническим изображением писателя.

Познакомился Стерн и с другим великим художником той эпохи — Уильямом Хогартом, — и даже заручился его согласием сделать две гравюры ко второму изданию первых двух томов «Тристрама Шенди». Правда, здесь пришлось прибегнуть не только к помощи друзей, но, быть может, и кошелька, если судить по письму Ричарду Беренджеру, близкому другу Гаррика, написанному в марте 1760 года: «...Клянусь отцом знаний (имя его вам известно), я бы пошел на любую жертву (которая бы не подрывала моей репутации) ради десятка штрихов острого резца Хогарта на заглавном листе следующего издания Шенди. — Тщеславие хорошенькой девушки в расцвете ее роз и лилий — пустяки по сравнению с тщеславием писателя моего разбора. Свифт не раз со вздохом обращался к Поупу со словами — “*Orna te**. Соедини что-нибудь твое с моим, чтобы мы переправились таким образом рука об руку в будущее”. Наспех сделанный набросок Трима, читающего проповедь моему отцу, и т. д., устроил бы меня — он бы взаимно осветил систему Хогарта и мою. — Я бы протянул мой тощий кошелек — я бы закрыл глаза, — и вы бы засунули туда руку и взяли для этого сколько вам угодно — *Ignoramus!*** Дурак! Болван! Святокупец! — благодать эту нельзя купить за деньги — пропади ты вместе с твоим золотом!

Как же нам быть? У меня самая неподходящая физиономия для того, чтобы просить о каких-либо одолжениях, — и кроме того, я бы ни

* Укрась меня (*лат.*).

** Мы не знаем! (*Лат.*)

за что на свете не предложил неприятной вещи человеку, перед которым я так преклоняюсь, — но вы найдете, что сказать, — вы человек прямой и бесцеремонный, вы не растеряетесь ни в какой обстановке, — пожалуйста, поезжайте как-нибудь на Лестерфилдс, постучитесь в двери (ведь сначала вам надо будет постучаться), войдите и начните так: “Мистер Хогарт, сегодня утром я был у моего друга Шенди”, — но дальше идите своим путем, — как я буду идти своим, — уважающий вас и шендиански вам преданный, дорогой Ментор, Л. Стерн»⁷².

Хитрый ход увенчался успехом. На фронтисписе первого тома второго издания «Тристрама Шенди» красовалась гравюра Хогарта на предложенную Стерном тему.

Теперь, один из самых модных писателей, Стерн с достойной непринужденностью предваряет это издание посвящением «великому человеку» — Уильяму Питту Старшему, в то время министру иностранных дел и организатору английских сил во время Семилетней войны.

К концу своего пребывания в Лондоне Стерн даже удостоился чести быть представленным ко двору.

Итак, обласканный судьбой, в самом радужном состоянии духа и в собственном щегольском экипаже возвращается он от столичного шума и суеты к неспешному ритму провинциальной жизни.

КОЕ-ЧТО О РОМАНЕ

— Друг мой, — сказал я, — если истинно,
что я — это я — а вы — это вы...

— А кто вы? — спросил он.

— Не сбивайте меня с толку, — сказал я.

Л. Стери. Тристрам Шенди

Предыдущая глава — и только она, ибо мы даем слово переводить в дальнейшем иноязычные вкрапления — была снабжена эпиграфом, смысл которого, если изложить его смиренной прозой, таков: «Кто не прочел “Тристрама Шенди”? Неужто существует столь невежественный (а то и дурно воспитанный!) смертный?»⁷³

Но мы не в Лондоне восемнадцатого столетия. А в наше время и в нашей стране все возможно. Поэтому в угоду этим «невежественным смертным» поговорим немного о самом романе, отвлекшись на время от жизни его создателя.

Ни один роман после «Памелы» Ричардсона и «Тома Джонса» Филдинга не имел столь ошеломляющего успеха у столичных читателей. До конца года первые два тома выдержали четыре официальных издания, а были еще и пиратские. Джон Крофт рассказывает (правда, как

мы уже говорили, не всем его анекдотам можно верить), что несколько остряков в Лондоне поспорили на деньги о том, дойдет или не дойдет до адресата письмо, на котором будет написано: «Тристраму Шенди, Европа». Письмо достигло Йорка, и мальчишка-почтальон, встретив Стерна в окрестностях Сагтона, почтительно вручил его.

«О несравненный Тристрам Шенди! — писал в феврале 1760 года “Лондон мэгэзин”. — Самый чувствительный — остроумный — патетичный — человечный — неопикуемый! — как назвать тебя? — Рабле, Сервантес, как?.. Твой дядя Тоби — твой Йорик — твой отец — доктор Слоп — капрал Трим; все характеры твои изумительны, все твои мнения восхитительны! Если ты опубликуешь еще 50 томов столь же полезных и приятных, как эти, — мы не побоямся сказать, что тебя будут читать и тобою восхищаться. — Восхищаться! Но кто? Лучшая, если и не самая многочисленная, часть человечества»⁷⁴.

Стоит заметить, что англичане в то время были, пожалуй, самой читающей нацией в Европе, что подтверждает и широчайшая сеть фирм по книгоизданию, которые занимались и книготорговлей. Только в Лондоне было около полутора сотен таких фирм. Там же, а также в модных курортах, вроде Бата, возникли и первые публичные библиотеки, — самая первая появилась в 1740 году. Любопытное наблюдение было сделано немцем Морицем, посетившим Англию в 1782 году: «Английские национальные авторы широко распространены и читаются всем наро-

дом, достаточным доказательством чего служат бесчисленные переиздания их произведений. Моя квартирная хозяйка, которая является всего лишь вдовой портного, часто читает Мильтона; она говорила мне, что ее покойный муж влюбился в нее именно по этой причине — так как она читает Мильтона с особенным выражением. Этот единственный пример доказывает немного, но я беседовал с некоторыми людьми из низшего класса, и все они знали своих национальных авторов и читали многих из них, если не всех»⁷⁵.

Однако популярность Стерна была поначалу несколько скандального свойства. В «Тристраме Шенди» прежде всего увидели шутовство и буффонаду, смесь остроумия с непристойностью, желание эпатировать читателя.

«Все странное — недолговечно. “Тристрам Шенди” долго не продержался»⁷⁶, — опрометчиво заметил законодатель тогдашних литературных вкусов Сэмюэл Джонсон. Мало кто угадал в авторе модной книги гениального писателя, которому суждено было оказать влияние на судьбы всего европейского романа.

Художественная манера Стерна была обескураживающе неожиданна. Казалось бы, само название его романа должно было обещать традиционное жизнеописание героя. Но обстоятельность такого биографического романа Стерн доводит до абсурда — роман начинается не с рождения, а с зачатия героя: «— Послушайте, дорогой, — произнесла моя мать, — вы не забыли завести часы? — Господи Боже! — воскликнул отец в сердцах, стараясь в то же время при-

глушить свой голос, — бывало ли когда-нибудь с сотворения мира, чтобы женщина прерывала мужчину таким дурацким вопросом?»⁷⁷

Изложим вкратце события, связанные непосредственно с героем, чье жизнеописание обещано в названии романа.

Том I. *Ночь с первого воскресенья на первый понедельник месяца марта 1718 года.* Зачатие Тристрама.

Том II. *5 ноября 1718 года.* Суматоха в Шенди-Холле в связи с приближающимися родами миссис Шенди.

Том III. *Тот же день.* К концу этого тома отец и дядя Тристрама случайно узнают, что ребенок уже родился и что акушер, извлекавший ребенка из чрева матери, расплющил ему нос своими щипцами.

Том IV. *Ночь с 5 на 6 ноября 1718 года.* Упоминаются крестины, на которых ребенку по ошибке дали имя Тристрам.

6 ноября, утро. Мистер Шенди узнает об ошибке, случившейся при крещении.

7 ноября. Мистер Шенди едет узнать, можно ли исправить имя, данное при крещении по ошибке.

Том V. *Конец декабря 1718 – начало января 1719 года.* Мистер Шенди начинает писать «Тристрапедию» (Тристраму около двух месяцев).

1723 год. На Тристрама упала оконная рама. Мальчику пять лет.

Том VI. *Несколько недель спустя после несчастья с оконной рамой.* Мистер Шенди решает сменить детское платье Тристрама на штанишки.

На этом последовательный рассказ о жизни Тристрама, можно сказать, и не начатый, прерывается навсегда.

В конце тома VI начинается новая сюжетная линия, связанная с ухаживанием дяди Тоби за вдовой Водмен, имевшем место за пять лет до рождения Тристрама (роман пошел вспять).

Том VII повествует о путешествии уже взрослого Тристрама по Франции (роман забежал далеко вперед).

Томы VIII и IX продолжают любовную историю дяди Тоби.

Не увидели читатели этого романа и широкой панорамы английской жизни, как в произведениях Дефо, Филдинга, Смоллетта, — модных курортов, светских салонов, трактиров, тюрем, постоянных дворов, калейдоскопической смены лиц разных званий и профессий, — словом, всего того, что дало право критикам называть эти произведения «романами большой дороги». Мир Стерна сужен, ограничен во времени и пространстве, замкнут небольшим числом действующих лиц.

Тогда, быть может, Стерн пишет роман в духе Ричардсоновой «Клариссы»? Ничуть не бывало. В романе Стерна, как мы видели, вообще нет стройного сюжета, какой упорно пробивается через все многословие девяти томной «Клариссы».

Так о чем же этот роман?

Сюжет? Его практически нет в традиционном его понимании. Тристрам-ребенок, которому к концу романа собираются сменить детское платьице на штанишки, почти внесценический персонаж. Настоящим главным героем является Тристрам-повествователь: ведь главное в этом произведении не смена событий, не

эволюция характеров, а движение мыслей в сознании повествователя.

А люди, населяющие этот странный, игрушечный мирок, — каковы они? Немногочисленные персонажи романа живут своими забавами, фобиями, иллюзиями, ставшими для них второй реальностью. У каждого из членов семейства Шенди есть своя причуда, свой «конек»: не случайно сама их фамилия — Шенди — на йоркширском диалекте означает «чудак», «человек со странностями», «без царя в голове». Старый вояка дядя Тоби и его слуга капрал Трим беззаветно преданы детской игре в войну, куда более важной для них, чем события подлинные. Многочисленные чудачества и маниакальные идеи определяют поступки и помыслы Вальтера Шенди.

Может, прав был Оливер Голдсмит, едко заметивший, что в этой книге нет «решительно никаких достоинств, за исключением девяти-сот девяноста пяти тире, семидесяти двух “ха-ха!”, трех хороших мест и одной подвязки»⁷⁸? (Полтора века спустя Андре Жид признается, что ему скучно читать в романе Марселя Пруста, как человек на протяжении нескольких десятков страниц поворачивается с боку на бок на диване.)

Нет, лучше согласимся с Кольриджем, гениальным поэтом и не менее гениальным критиком, сказавшим о Стерне: «Дух отступлений — не беспричинная своенравность, но сама форма выражения его гения»⁷⁹. Нечто близкое веком позже сказал о «Тристраме Шенди» и наш соотечественник Виктор Шкловский: «Осознание

формы путем нарушения ее и становится содержанием романа»⁸⁰.

Однако этим еще не все сказано.

Братья Шенди представляют два психических типа: Вальтер Шенди — рационалист, дядя Тоби — интуитивист. Велеречивому резонерству Вальтера Шенди кроткий дядя Тоби противопоставляет бессловесность либо беспечное насвистывание песенки лилибуллера. Но ошибочно было бы полагать (хоть так и делали многие), что сентименталист Стерн отдает предпочтение «милому дяде Тоби». Оба персонажа нарисованы с легкой добродушной иронией.

В романе затрагиваются и другие весьма важные для эпохи Просвещения вопросы, связанные с формированием личности: время зачатия и способ появления ребенка на свет, правовые и моральные нормы брака, профанация церковных обрядов, беспомощность педагогических трактатов, важность наставника и его роль в воспитании ребенка... Во многочисленных рассуждениях и спорах персонажей речь идет о «человеческой природе», об альтруизме и эгоизме, терпимости и религиозном фанатизме... Стерн не случайно грозился, что «сатира будет всеобщей». И не случайно его называли «английским Рабле». Он ориентируется на Рабле и Свифта, хотя и шутливо замечает в одном из писем незадолго до публикации первых томов «Тристрама Шенди»: «Я отрицаю, что захожу так далеко, как Свифт. — Он выдерживает должную дистанцию, следуя за Рабле, — а я держусь на должной дистанции от него самого. — Свифт сказал сотню вещей, какие мне возбра-

няется говорить — раз я не являюсь деканом собора Св. Патрика»⁸¹.

Может, и не «говорил», однако делал такое, чего никто до него не позволял себе в мемуарном романе: он свободно совмещает два времени — время свершения события и время описания этого свершенного события. Если в мемуарном романе Дефо эти два времени разделены пропастью, если мы видим пластично лишь Робинзона, героя своих мемуаров, и совсем не представляем себе Робинзона, их создателя, то в «Тристраме Шенди» наряду с картинами жизни Шенди-Холла времени детства Тристрама, или путешествия его по Франции (в седьмом томе), или даже времени, предшествующего его рождению, — воссозданы моменты жизни Тристрама того периода, когда он пишет свои мемуары.

«— — — Такой путаницы у меня никогда еще не получалось. — — — Ведь в последней главе, по крайней мере поскольку она провела меня через Оксер, я совершил два разных путешествия одновременно и одним и тем же взмахом пера — причем в том путешествии, которое я пишу сейчас, я совсем уехал из Оксера, а в том, которое напишу позже, я только наполовину из него выехал. — — — Каждой вещи доступна только известная степень совершенства; перестав с этим считаться, я поставил себя в такое положение, в каком никогда еще не находился ни один путешественник до меня: ведь в настоящую минуту я перехожу с отцом и дядей Тоби рыночную площадь в Оксере, возвращаясь из аббатства в гостиницу пообедать, — и в эту же самую минуту вхожу в Ли-

он с каретой, разбившейся на тысячу кусков, — а кроме того, в это же время я сижу в красивом павильоне, выстроенном Принджелло на берегах Гаронны, предоставленном мне мосье Слиньяком, воспевая все эти происшествия.

— — Позвольте мне собраться с мыслями и продолжить мой путь. —»⁸²

Эта цитата подводит нас к следующему наблюдению: читая романы, мы подчас так увлекаемся, что переносимся мыслями и чувствами в иной мир, забывая, что он лишь условный, сочиненный, поэтический. Автор «Тристрама Шенди» не дает возникнуть такой иллюзии. Рассказ о семействе Шенди перемежается замечаниями, обнажающими творческую лабораторию повествователя, предметом разговора становится сам процесс писания. Это разрушает целостность восприятия замкнутого мира романа, подчеркивает сочиненность, условность происходящего. На глазах читателя зеленая лужайка дяди Тоби, на которой он играет в войну, превращается в театральные декорации, а обитатели Шенди-Холла — в актеров-марионеток, надолго замирающих по воле автора в самых неожиданных позах.

Рассказчик то и дело жалуется на все возрастающие трудности, которые он никак не предвидел, когда брался за перо. Тристрам обсуждает каждую конструктивную особенность своего романа, и эта беседа рассказчика с читателем о том, как пишутся романы вообще и как написан этот роман, вырастает в один из важнейших аспектов повествования. Роль читателя здесь существенней, чем в любом европейском романе до Стерна. Это не условный объект, к ко-

тому лишь формально обращены авторские отступления. Облик читателя конкретизируется — то это любопытная «мадам», то самодовольный «сэр», то «ваши милости», то «ваши преподобия», то придирчивый «критик». И все эти персонажи не безгласны: читатели вмешиваются в повествование — задают вопросы, поучают, полемизируют с автором.

Избрав уникальный для своего времени жанр — роман о романе, Стерн достиг той многоплановости повествования, которая и дает повод для различных толкований этого произведения. Как только не называли его — «йоркширский эпос», «анти-роман», «полуроман, полуэссе», «беллетризованное эссе Локка»... А еще его (в компании Рабле, Эразма, Бёртона) причисляют к жанру мениппиевой сатиры, восходящей к Лукиану и Варрону, к писателям, рассматривающим пороки и глупость как болезни интеллекта, а не болезни общества, что характерно для традиционного романа.

У Стерна стирается грань, отделяющая событийный план от описания творческого акта, время действия от времени писания и времени чтения написанного, и даже персонажа от читателя. Миссис Шенди в муках рождает свое чадо на протяжении трех томов. Тристрам в не меньших муках рождает текст своих мемуаров (неслучайно и сам Стерн, упоминая в письмах, как мы увидим позднее, о приближающихся изданиях очередных томов романа, всегда говорит о них как о родах).

Жизнь и творчество оказываются взаимопроникаемы.

КОКСУОЛД И СНОВА ЛОНДОН

Июль 1760 — июнь 1761

...Приход Коксуолд — прелестный уголок
по сравнению с Саттоном.

Л. Стерн. Воспоминания

По возвращении из Лондона, проведя в Йорке не более трех недель, Стерн отправился в Коксуолд, свой новый приход в семи-восемь милях от Стиллингтона. В Саттоне уже около года служил нанятый Стерном помощник, как окажется в дальнейшем, человек ненадежный, по небрежности которого несколько лет спустя сгорит дом викария вместе с находившейся там библиотекой.

В Коксуолде семья Стерна занимала дом, принадлежавший лорду Фоконбергу, за что платила в год 12 фунтов аренды. Дом этот, который Стерн называл Шенди-Холл или Шенди-Касл, стоял неподалеку от возвышавшейся на холме церкви Св. Михаила.

Обосновавшись на новом месте, Стерн, не мешкая, принялся за продолжение романа; третий том «Тристрама Шенди» был завершен в начале августа, четвертый — в начале ноября 1760 года.

Уилбур Кросс, автор классической фундаментальной биографии Стерна, в значительной степени приписывая писателю повадки его героя, как это почти повсеместно принято в стерноведении, так изображает Стерна за работой в Коксуолде: «Его кабинет, если посетитель минует узкий коридор Шенди-Касла, — это маленькая комнатка справа; через открытую дверь можно увидеть зияющую топку каменного портала большого камина. У окна во времена Стерна стоял простой деревянный стол с пером и чернильницей, за которым писатель в ночных туфлях и старом халате сидел на плетеном стуле, спинка которого была украшена шишечками, символизирующими, в понимании Стерна, остроумие и рассудительность. [Загляните, коли есть время и охота, в двадцатую главу третьего тома “Тристрама Шенди”, и вы увидите, какое значение придавал Тристрам этим качествам.] На столе и вдоль камина были разбросаны книги, привезенные из саттонской библиотеки, необходимые для сочинения новых томов о семействе Шенди. Мы можем прочесть их названия с той же легкостью, как если бы видели их перед собою. К примеру, там лежал Рабле в переводе Озелла, “Анатомия меланхолии” Бёртона, “Опыт о человеческом разумении” и знаменитые “Textus Roffensis”, содержащие торжественные отлучения римско-католической церкви. Стерн уже долго сидел за работой, книги, стол и пол забрызганы чернилами, так как он неряшлив в обращении с пером, и чернила капают на стол, пока он несет перо к бумаге. Акт творчества для него — своего рода наваждение, ког-

да его напряженное воображение видит целые полчища демонов и шутов, теснящихся в комнате, точно таких, какие мы видим на старинных гравюрах. Когда же приступ проходит, он может писать без передышки почти весь день – по желанию, утверждает он, – до трапезы или после трапезы, одетым или раздетым, чисто выбритым или со щетиной на щеках...»⁸³

Мы уже упоминали, что «Тристрама Шенди» критики называли «полу-роман, полу-эссе» и «беллетризованное эссе Локка». До сего времени не нашлось места поговорить о значении для Стерна этого философа, автора «Опыта о человеческом разумении», но сделать это необходимо – пожалуй, не будь Локка, не было бы и «Тристрама Шенди».

Стерн восхищался «великим Локком», «мудрым Локком» еще со времен Кембриджа.

В свой первый приезд во Францию (а до него, надеюсь, мы еще доберемся) в разговоре с Жаном-Батистом Суаром на вопрос, что сформировало его личность, Стерн неожиданно для себя серьезно и откровенно признался, что его стиль и взгляд на мир определили «каждодневное чтение Ветхого и Нового завета, книг, которые он читал столько же ради собственного удовольствия, сколько и по профессиональной необходимости, и продолжительное изучение Локка, которое он начал в юности и продолжал всю свою жизнь». По утверждению Суара, влияние Локка, сказал Стерн, ощущается в его проповедях и «Тристраме Шенди» «на каждой странице, в каждой строке, в каждом выражении»⁸⁴.

И это не такое уж сильное преувеличение.

«Скажите, пожалуйста, сэр, среди прочитанных вами за вашу жизнь книг попадался ли вам когда-нибудь “Опыт о человеческом разуме” Локка? — — — <...> Это история. — История! Чья? Чего? Откуда? С каких пор? — Не горячитесь. — — Книга эта, сэр, посвящена истории (и за одно это ее можно порекомендовать каждому) того, что происходит в человеческом уме...»⁸⁵ Об этом же пишет и Лоренс Стерн. Об этом же пишет и Тристрам-мемуарист, с легкостью изображая, что происходит не только в его уме, но и в мозгу других персонажей.

В Шенди-Холл пришло известие о смерти Бобби, брата Тристрама. «— — — Наш молодой хозяин умер в Лондоне! — сказал Обадия.

— Зеленый атласный капот моей матери, дважды вычищенный, первым пришел в голову Сузанне при восклицании Обадии. — Локк недаром написал главу о несовершенстве слов. — Значит, — проговорила Сузанна, — всем нам придется надеть траур. — Но обратите внимание еще раз: слово траур, несмотря на то, что сама же Сузанна его употребила, — тоже не исполнило своей обязанности: оно не пробудило ни единой мысли, окрашенной в серое или в черное, — все было зеленое. — Зеленый атласный капот по-прежнему висел у нее в голове.

— О, это сведет в гроб бедную мою госпожу! — вскричала Сузанна. — Весь гардероб моей матери пришел в движение...»⁸⁶

Говоря о работе сознания и памяти, Стерн (наполовину в шутку, наполовину всерьез) пользуется метафорами Локка. Локк уподобляет сознание «темной комнате», «совершенно закры-

той для света, с одним только небольшим отверстием, оставленным для того, чтобы впускать видимые подобия, или идеи, внешних вещей»⁸⁷.

«Самое горячее желание» Тристрама – чтобы «великие дары и сокровища как остроумия, так и рассудительности», а также «памяти» и «фантазии» проникли «в различные вместилища, клетки, клеточки, жилые помещения, спальни, столовые и все свободные места нашего мозга»⁸⁸.

Почти дословно цитируя Локка, Стерн говорит и о причинах «темноты и путаницы в человеческом уме»: «...причины темноты и путаницы в человеческом уме бывают трех родов.

Во-первых, милостивый государь, притупленность наших органов чувств. Во-вторых, слабость и мимолетность впечатлений, производимых предметами, даже в тех случаях, когда названные органы чувств не притуплены. И в-третьих, подобная решету память, неспособная удержать то, что она получает»⁸⁹. Далее Локк иллюстрирует свою мысль, уподобляя память жесткому либо мягкому воску, а Стерн использует для той же цели затвердевший или незатвердевший сургуч.

Стерн в открытую, с прямыми ссылками на Локка использует его представления о работе человеческой памяти и мышления как непрерывной «смене идей».

Ассоциативность мировосприятия определяет и композицию романа. Рассказ о родах миссис Шенди приводит к упоминанию повивальной бабки, история повивальной бабки приводит к рассказу о том, какую роль Йорик сыграл в ее жизни, – здесь рассказ все время двигал-

ся вспять, однако появление Йорика соблазняет Тристрама рассказать и его историю вплоть до смерти, — и здесь уже рассказ забегает далеко вперед.

Но неожиданное движение мысли характеризует, помимо рассказчика, и других персонажей романа: вспомним не только Сузанну и прельстивший ее зеленый капот миссис Шенди, но и саму миссис Шенди, у которой манипуляции с напольными часами ассоциируются с половым актом. Более того, Стерн провоцирует и сознание читателя на выстраивание определенных, чаще всего не совсем пристойных, ассоциаций, их порождают вставные новеллы о носах, об усах, об аббатисе Андуйетской...

Но мы, подобно Тристраму, соблазнившись упоминанием Локка, уклонились от прямого пути. Не беда. Сделаем еще один крюк в сторону «Анатомии Меланхолии» Роберта Бёртона, ведь эта книга тоже лежала на письменном столе автора «Тристрама Шенди».

Кажется, уже говорилось (а ежели нет, так скажем теперь), что Стерн при работе над Тристрамом брал из библиотеки Йорского собора томы энциклопедии Эфраима Чамберса и английское издание «Исторического и критического словаря» Пьера Бейля. Но гораздо больше энциклопедических сведений извлек он из своеобразного эссеистического трактата Бёртона, впервые изданного в 1621 году и в дальнейшем многократно дополнявшегося и переиздававшегося. Жизнь его автора была небогата событиями. Она тесно связана с Оксфордским

университетом, где Бёртон прошел путь от студента до доктора искусств, преподавателя, смотрителя библиотеки и доктора богословия. Любимым и практически единственным занятием его вполне благополучной жизни было чтение книг и создание «Анатомии Меланхолии», сочинения, написанного под очевидным влиянием Монтеня, Эразма и Рабле и представляющего собой своеобразную мозаику собственных и заимствованных рассуждений о бренности и безумии мироздания. Исследователи утверждают, что в «Анатомии Меланхолии» содержится более тысячи источников и более полутора тысяч имен, — античных и средневековых писателей, философов, медиков, астрономов и алхимиков, историков и географов, теологов и отцов церкви. Все это море цитат, рассуждений и фактов подвергнуто дотошной классификации, с разделами и подразделами, описывающими различные виды меланхолии: мрачность маниака, угрюмость святоши, грусть влюбленного...

Стерн, познакомившийся с этой книгой еще в библиотеке Свихнувшегося замка Холла-Стивенсона, широко цитировал из нее в своем романе (как из Локка, — иногда пародийно). При этом надо учесть, что и Бёртон, знавший лишь свой родной язык да латынь, часто пользовался переводами и пересказами своих источников, честно признаваясь: «у меня не сказано ничего нового, а то, что есть, украдено мной у других»⁹⁰.

Но достаточно одной цитаты из обращения «к читателю», разросшегося в «Анатомии Меланхолии» на 160 страниц большого форма-

та, чтобы почувствовать (разумеется, тем, кто читал роман Стерна), что не только видимостью учености обязан Бёртону автор «Тристрама Шенди». Сам стиль, тональность повествования идут оттуда: «Я настоятельно прошу, как Скалигер просил Кардано, не таить на меня обиду. <Здесь мы позволили себе, думаю, без ущерба для читателя, опустить длинную латинскую цитату. — К. А.> Будь тебе известны моя скромность и неприязнательность, ты бы легко извинил и простил сказанное мной некстати или истолкованное тобой превратно. Если впредь, исследуя сей унылый душевный склад, моя рука совершит промах и, подобно неумелому подмастерью, я произведу ланцетом чересчур глубокое вскрытие, непреднамеренно проткнув не только кожу, но и все прочее, или сделаю это слишком болезненно, разрежу поперек, — простите грубую руку и неумелый нож: ведь нет ничего труднее, чем выдерживать ровный тон, сохранять постоянный характер и не выходить подчас из себя; *difficile est satiram non scribere**, ведь существует столько сбивающих с пути предметов, столько поводов для душевного смятения, что и наилучшие могут подчас впасть в заблуждение; *aliquando bonus dormitat Homerus*** , то и мне невозможно подчас не пересолить; *opere in longo fas est obrepere somnum****. Впрочем, к чему

* трудно сатир не писать (лат.).

** если уж справедливому Гомеру случается попасть впросак (лат.).

*** хоть и не грех ненадолго соснуть в столь длинном сочинении (лат.).

все эти оправдания? Надеюсь, я не дам никаких поводов для обид, а если дам, то *neto aliquid recognoscat, nos mentimur omnia**. Я буду все отрицать (это будет для меня единственный выход); отрекусь, откажусь от всего сказанного; а если кто-нибудь станет протестовать, я с такой же легкостью попрошу прощения, с какой он будет меня обвинять; на я все же рассчитываю, любезный читатель, на твое доброе расположение и снисходительную благосклонность. Пребывая в сем непоколебимом уповании и уверенности, я и приступаю»⁹¹.

Однако надо и честь знать. А то у нас Стерн засиделся за письменным столом еще дольше, чем Вальтер Шенди и дядя Тоби, позабытые Тристрамом на лестничной площадке.

За неделю до Рождества Стерн, оставив и этот приход на попечение заместителя, вновь уезжает в Лондон, чтобы проследить за публикацией третьего и четвертого томов и насладиться успехом, на который он справедливо рассчитывал.

«Тристрам выйдет двадцатого, — пишет он Стивену Крофту в январе 1761 года, — вокруг него поднят большой шум еще до его появления на свет: пойдет ли это ему на пользу или нет, не могу сказать, — некоторые здешние умы первой величины, как по уму, так и по положению, ручаются мне за успех — время покажет»⁹².

Стерн в своем нетерпении чуть-чуть ошибся: новые томы романа вышли 28 января 1761 го-

* пусть никто не принимает это на свой счет — ведь это не более чем вымысел (*лат.*).

да, — опять с фронтисписом Хогарта, изображающим спальню миссис Шенди сразу же после злосчастного крещения ребенка не тем именем, какое избрал для него отец.

Однако они не вызвали столь единодушно го восторга, как его дебют. Критики оценили по достоинству лишь «Эрнульфово отлучение», адресованное в романе слуге Вальтера Шенди Обадии, который так туго затянул узлы мешка с хирургическими инструментами акушера, что развязать их в спешке, — ведь роды миссис Шенди уже начались, — никак не удавалось. Отлучение произносит папист, доктор Слуп. А в дни молодости, возможно, под влиянием дяди Джекса, Стерн был ярым антипапистом.

И латинский текст, и перевод отлучения Стерн мог взять в сентябрьском номере «Джентльменз мэгэзин» за 1745 год. Разумеется, с переводом он обошелся весьма вольно для усиления комического эффекта: «Да будет он (Обадиа) проклят, где бы он ни находился — в доме или в конюшне, в саду или в поле, на большой дороге или на глухой тропинке, в лесу или в воде, или же в храме! —

Да будет проклят при жизни и в минуты смерти!
<...>

Да будет он (Обадиа) проклят во всех способностях своего тела!

Да будет он проклят снаружи и внутри! <...>

Да будет он проклят в чреслах своих и в паху! (— Боже избави! — воскликнул дядя Тоби) — в лядвях, в половых органах (отец покачал головой), в бедрах, в коленях, в голених, в ногах и в ногтях на пальцах ног!

Да будет он проклят во всех суставах и соединениях членов своих от верхушки головы до ступней ног! Да не будет в нем ничего здорового!»⁹³

Этот комический монолог доктора Слопа «по странной ассоциации идей», как любил выражаться Стерн, напомнил мне трагический монолог короля Лира, проклинаящего Гонерилью.

Услышь меня, услышь меня, природа,
И если создавала эту тварь
Для чадородья, отмени решенье!
Срази ее бесплодьем! Исуши
В ней навсегда способность к материнству!
Пускай ее испорченная плоть
Не принесет на радость ей ребенка,
А если ей судьба иметь дитя,
Пусть будет этот плод ей вечной мукой,
Избороздит морщинами ей лоб
И щеки в юности изъест слезами.
В ничто и в безнадежность обрати
Все, что на детище она потратит,
Ее тревоги, страхи и труды...⁹⁴

Вспоминал ли этот монолог «бедный Йорик», когда вставлял в роман «Эрнульфово отлучение»? Давайте пофантазируем – возможно, и так. Ведь уже в свой первый приезд в Лондон он наверняка видел Гаррика в его коронной роли шекспировского Лира, правда, весьма изуродованного переделкой Тейта, завершившего пьесу счастливым концом. И Стерн не мог не запомнить самый знаменитый монолог пьесы, об

исполнении которого Гарриком современники оставили немало восторженных воспоминаний: «Гаррик так произносил слова проклятия, что зрителям казалось, будто они видят молнию страшной силы... Он подготавливал эту сцену с большим мастерством... Как он становился на колени, сжимал руки, поднимал глаза к небу, все это напоминало картину, достойную кисти Рафаэля»⁹⁵.

Но вернемся к лондонским борзописцам. Если после выхода первых томов отклики прессы были скорее забавными, как, к примеру, памфлет «Гневный протест часовых дел мастера против автора “Жизни и мнений Тристрама Шенди”», который завершался жалобой на то, что после выхода романа мастер лишился нескольких заказов на напольные часы, так как «ни одна приличная дама не решится отдать распоряжение “завести часы” из страха быть осмеянной <...> Увы, всеми уважаемые, достопочтенные напольные часы по распоряжению добродетельных матрон выбрасываются теперь как ненужный хлам!»⁹⁶, то теперь отклики прессы стали куда задиристей.

Правда, «Лондон мэгэзин» в январском выпуске писал: «Наконец настоящий, неподражаемый Шенди выходит в свет, и вся свора этих маломощных критиков и подражателей объята ужасом при виде его высочайшего гения. Все те, кто с истинным удовольствием прочли первые томы романа, могут быть уверены, что продолжение в виде третьего и четвертого томов доставит не меньшее наслаждение»⁹⁷, но многие газеты и журналы не поскупились на крити-

ку. Стерна упрекали не только в непристойности (это его не слишком огорчало), но и в скучном повторении того, что восхищало в первых томах: «Да, мистер Тристрам, вы скучны, очень скучны. Ваша заезженная фантазия истощилась уже на двух маленьких томиках форматом в 1/8 листа... Ваши персонажи более не удивляют своей необычностью. Мы устали от раны в паху вашего дяди Тоби; мы не хотим больше слышать о равелинах и бастионах: короче, мы устали от его конька...», — пишет «Мансли ревью»⁹⁸. Рецензия журнала «Бритиш мэгэзин» была еще язвительнее, чтобы не сказать грубее: «Увы, бедный Йорик! Что расплющили те проклятые щипцы — нос или мозжечок? — Готов оказать услугу вашей матушке — — — —. Объясню, что я имею в виду, в следующей главе; но было бы лучше для вашего батюшки, да пожалуй, и для читателей, если бы она до конца дней своих оставалась не — — — —. Продолжение найдете в “Слокенбергии”. — *О мой дорогой Рабле! О мой еще более дорогой Сервантес!.. Мистер Шенди, вот стаканчик целебной микстуры для вашей милости!*»⁹⁹

Что и говорить, — английским критикам тоже в чувстве юмора не откажешь.

Апрельское «Критикл ревью», издаваемое Смоллеттом, стремится соблюдать нейтралитет. Сравнивая первое и второе выступление Стерна, газета писала: «Первое имело достоинства, но расхваливалось более, чем того заслуживало; второе имеет недостатки, но их слишком сурово критикуют»¹⁰⁰. Стерн и сам писал об этом Стивену Крофту: «Половина Лондона на-

столько же резко поносит мою книгу, насколько другая его половина превозносит ее до небес, — но лучше всего то, что ее ругают и покупают, и так усердно, что мы собираемся в самом скором времени выпустить второе издание»¹⁰¹. Оно вышло в свет 21 мая 1761 года.

Видимо, единственное высказывание Ричардсона о «Тристраме Шенди» относится ко времени публикации третьего и четвертого томов романа. К знаменитому автору «Клариссы» обратился с письмом его друг Марк Хильдесли, епископ острова Мэн: «Умоляю, кто такой этот Йорик (я знаю, что он пребендарий Йоркского собора)? Но что вы скажете о его сочинении, которое недавно удостоилось внимания и восхищения остроумцев нашего века? Мне говорили, оно получило одобрение и поддержку одной остроумной герцогини». «Вы спрашиваете, кто такой Йорик, — отвечивал Ричардсон. — Как я понимаю, вы не заглядывали в его книги, отвратительные — по-другому не могу их назвать, так как мне сказали, что третий и четвертый томы хуже, если это возможно, чем два первых, которые у меня хватило терпения просмотреть. Единственное смягчающее обстоятельство — они слишком вульгарны, чтобы кого-либо вдохновить»¹⁰².

А Хорейс Уолпол писал своему другу, йоркширскому священнику: «Третий и четвертый томы “Тристрама Шенди” — ошметки острословия — повсеместно встречают заслуженное презрение: гений может истощиться; оказывается, та же участь может постигнуть и выдумки глупости»¹⁰³.

Изменилось и отношение к Стерну Уильяма Уорбёртона, епископа Глостерского, — заметьте, мы выполняем свое обещание.

Человек этот, явно не лишенный способностей, при помощи выгодного брака и последовательного получения нескольких церковных должностей сделал головокружительную карьеру, завершившуюся епископским саном незадолго до знакомства со Стерном — в 1759 году. Помимо писания работ на богословские темы он был не чужд и литературным занятиям: издал в 1747 году под своей редакцией восьмитомное собрание сочинений Шекспира. Дружил с Поупом и уговорил его добавить четвертую книгу к его «Дунсиаде». Поуп даже оставил его своим душеприказчиком по части литературного наследия. Сочинения Уорбёртона, опубликованные Ричардом Хёрдом, составили 7 томов, куда вошла и упомянутая ниже Стерном «Божественная миссия Моисея».

Отношения Уорбёртона со Стерном с самого начала были непростыми.

По Лондону поползли слухи, будто Стерн в грядущих томах «Тристрама» собирается вывести епископа в карикатурном виде в роли наставника своего героя. Был ли причастен к этим слухам Стерн, неизвестно, во всяком случае, в письме к Гаррику от 6 марта, то есть сразу же после приезда в Лондон, он отрещивается от подобных предположений:

Милостивый государь,

У меня было точно такое чувство, как если бы я порезал себе палец острым перочинным ножом. Я уви-

дел кровь — высосал ее — перевязал рану — и перестал об этом думать.

Но это больше касается лечения раны, чем его результатов: — рана (если только она не такова, что о ней и говорить не стоит, о моей же, как-никак, — стоит) через некоторое время все-таки вызовет у вас боль. Природа возьмет свое — в ране начнется воспаление — она загноится.

История, которую вы мне рассказали сегодня утром о мнимом наставнике Тристрама, — с этой фразы мне бы, в сущности, следовало начать письмо, тогда мое сравнение и на секунду не оставило бы вас в недоумении.

Эта грязная история, говорю, — хотя я понял тогда, как и куда она ранит, — сперва мало меня задела — или, сказать по правде (хотя это губит мое сравнение), причинила мне сильную боль, но я сделал обычный в таких случаях вид, будто она слабее, чем была в действительности.

Сейчас я вернулся домой после спектакля (вы меня привели вашей игрой в восхищение), разбинтовал эту самую рану и полчаса смотрю на нее, покачивая головой.

Что за дьявольщина! — Разве в разбросанных по всему христианскому миру школах исковерканной науки не найдется ни одного ученого болвана, который годился бы в *наставники* моему Тристраму? — *Ex quovis lingo non fit**. — Разве мы настолько оскудели, что среди наших докторов нет ни одного хламоголового, путаноголового, дубинноголового, тупоголового молодца? — Разве так-таки никто из многочисленных уседно учившихся, но ничему не научив-

* [Меркурия] нельзя сделать из любого куска дерева (*лат.*).

шихся питомцев вскормившего меня заведения не соблазнился бы этой должностью — и мне надо калечить мое суждение выбором некоего Уорбёртона? Здорово! Неужели вы думаете, что меня так мало заботит честь моего героя? — Неужели я — такое тупоголовое ничтожество и настолько лишен понимания роли, которую предстоит играть Тристраму в моей повести, что выбрал бы наставника, способного похитить у него все бессмертие, которое я ему предназначал? Помилосердствуйте, мистер Гаррик!

Злоба хитроумна — если только в своем избытке она не перехитрит самое себя. — В настоящем ее выпаде для меня есть два утешения: первое то, что здесь она действительно отчасти перехитрила себя; а второе то, что она очень походит на ту злобу, которая так неблагоприятно свела в могилу бедного Йорика. — Слух этот способен был нанести кровавую рану автору Тристрама Шенди, — но он не мог причинить вреда такому человеку, как автор «Божественной миссии». — Бог да благословит его! Хотя (к слову сказать и согласно естественной субординации) благословение должно приходиться от него ко мне.

Скажите, пожалуйста, не заинтересованы ли вы близким или отдаленным образом в том, чтобы представить меня его преосвященству?

Почему вы об этом спрашиваете?

Милостивый государь мой, единственное мое право на подобную честь вытекает из почтения и уважения, которыми, как будет показано в дальнейших частях моего произведения, я проникнут к этому человеку.

Раз уж я заговорил о своих обстоятельствах — мне хотелось бы, милостивый государь мой, чтобы кто-нибудь вам рассказал, в каком большом долгу я пе-

ред вами. — Сам я решил никогда этого не делать и не говорить на эту тему больше того, что я ваш
Л. Стерн¹⁰⁴.

Представление явно состоялось. После чего и был получен пресловутый кошелек с гинеями. Однако этот жест стал рассматриваться как подкуп или взятка. Стерн в письме к Стивену Крофту демонстративно открестился и от этих слухов: «...ну мог бы кто-нибудь предположить, что я окажусь таким глупцом и стану нападать на доктора Уорбёртона, моего лучшего друга, изобразив его таким слабым человеком — или рассказав о нем такую ложь, — будто он подарил мне кошелек, чтобы откупиться от должности наставника Тристрама! — или что я окажусь настолько глупым, чтобы признаться, будто я взял у него кошелек с этой целью!»¹⁰⁵ Гаррик показал это письмо Уорбёртону, и инцидент вроде бы был исчерпан.

Но епископ, взяв на себя роль наставника, пытался учить Стерна, как тому жить, а главное, как писать: «В вашей власти сделать полезным то, что служит для вас и для других только развлечением; во всяком случае, вам бы следовало превыше всего на свете остерегаться повредить себе или оскорбить других каким-нибудь нарушением приличий и благопристойности...»¹⁰⁶, — пишет он Стерну.

Ответ был почтительным, но непреклонным:

Милорд,

Имел честь получить с этой почтой ваше письмо, за которое — а также за благородные и в высшей сте-

пени дружеские советы — я возвращаю вашей милости все, на что способен, — низжайшую мою благодарность. Заверяю вас, милорд, по собственному почину я не нанесу оскорблений ни одному смертному, не сделаю ничего из того, что может расцениваться малейшим нарушением приличий и хороших манер. Вместе с тем, хотя в душе я не таю обиды и не стремлюсь никому ее нанести, мне очень трудно, сочиняя такую книгу, как «Тристрам Шенди», выкорчевать из нее решительно все несообразности, вплоть до невинного юмора, сквозящего в каждой мелочи. Сделаю, однако, все от себя зависящее, хотя смеяться, милорд, я буду, причем — громко и от всего сердца¹⁰⁷.

Позднее отношения с епископом вконец испортились, и Стерн явно имел в виду Уорбёртона, когда упомянул некоего епископа, которого забрызгала грязью лошадь Йорика. А после публикации пятого и шестого томов Уорбёртон пишет Ричарду Хёрду: «Стерн опубликовал пятый и шестой томы Тристрама. Они написаны точно так же, как предыдущие выпуски; но восстановят ли они его писательскую репутацию, это другой вопрос. — А сам этот тип — неисправимый мерзавец»¹⁰⁸.

Однако, несмотря на нападки критиков и недоброжелателей, Стерн и в свой второй приезд в Лондон оставался на пике популярности. Новый танец, новый мотив, новая карточная игра и даже мыло носили имя его героя — «Тристрам Шенди».

От второй поездки в Лондон (она продлилась до конца июня 1761 года) осталось несколько писем Стивену Крофту, серьезных и обстоя-

тельных, без шендианских остроумий, показывающих, что Стерн принимал живое участие в политической жизни страны.

За время отсутствия Стерна в столице обстановка там разительно изменилась.

Политические страсти накалились до предела. Общество разделилось на сторонников и противников войны с Германией. Стерн, поддавшись общим настроениям, провел целый день в палате общин в ожидании увидеть «бой по всем правилам искусства, который должен был дать мистер Питт, бросив перчатку в защиту германской войны»¹⁰⁹. Однако Питт в палате общин так и не появился. «Поднялся Бекфорд и попросил палату отложить прения по случаю отсутствия его высокочтимого друга. — Так как его просьба была отклонена, Бекфорд выступил с длинной, страстной и бессвязной речью в защиту германской войны <...> Лег отвечал Бекфорду очень логично и спокойно — лорд Норт говорил долго — сэръ Ф. Дэшвуд утверждал, что германская война крайне пагубна <...> В конечном итоге — требования мира настолько всеобщие, что они, несомненно, приведут к его заключению»¹¹⁰.

Чтобы визуально представить себе обстановку, в которой велись все эти дебаты, приведем воспоминания очевидца, посетившего английский парламент чуть позднее, в 1782 году: «Нет ничего особенного в одежде членов палаты; они даже приходят в палату в пальто и в сапогах со шпорами. Не является вообще чем-то необычным увидеть члена палаты лежащим, растянувшись на одной из скамей, в то время как другие дебатуют. Одни грызут орехи, другие едят апельсины.

Без конца входят и выходят; и как только кто-нибудь желает выйти, он становится перед спикером и кланяется ему, подобно школьнику, когда он спрашивает разрешения у учителя»¹¹¹.

Одним из памятных для Лондона событий, связанных с этим приездом Стерна, была его проповедь (единственная прочитанная им в Лондоне) в церкви Воспитательного дома для подкидышей, прочесть которую он дал клятвенное обещание казначею Воспитательного дома Джорджу Уотли:

5 апреля 1761 года так же верно, как то, что придет этот день и что стоит Воспитательный дом, я – понятно, если сам буду стоять на ногах, – облегчу свою совесть от данного мной обещания, предоставив вам не полчаса (не жалкие полчаса), ибо я никогда не умел проповедовать так долго, не утомляя до смерти себя и своей паствы, – но коротенькую проповедь и, в свою очередь, вас шлепнув, – ведь проповедь (надо вам знать) есть богословский шлепок по сердцу, подобно тому, как настойчивые просьбы сдержат данное слово есть политический шлепок по памяти, – хотя ни в одном, ни в другом не бывает надобности, когда у людей есть довольно ума, чтобы быть честными. Это подкрепляет мою гипотезу об уме и сметливости. Я уверен, что обоими этими качествами вы обладаете в высокой степени, и потому пребываю с глубоким уважением искренно вам преданный

Лоренс Стерн.

P.S. Я постараюсь прогуливаться под какой-нибудь колоннадой внутри или возле Воспитательного дома без четверти одиннадцать¹¹².

Стоит сказать несколько слов о заведении, посетить которое обещал Лоренс Стерн.

В первой половине XVIII века детская смертность в бедной среде была чудовищно высока, особенно среди брошенных незаконнорожденных детей. По инициативе капитана Корэма в 1745 году в Лондоне на добровольные пожертвования был построен приют для подкидышей. Гендель подарил приюту орган, Хогарт написал картину. Жизнь многих детей была спасена, их вырастили и обучили ремеслу. Правда, вмешательство государства в 1756 году чуть было не погубило это благое начинание. Парламент сделал вклад в капитал приюта с условием, что туда будут принимать всех принесенных детей. Бедные семьи этим воспользовались, и вскоре в приюте оказалось пятнадцать тысяч детей. К такому наплыву учреждение, разумеется, не было готово. Смертность воспитанников возросла: из 15 000 лишь 4400 достигли юношеского возраста. После этого, по выражению историка Дж. Тревельяна, «гибельного эксперимента» приют вновь стал частным учреждением с ограниченным приемом, и смертность сразу же уменьшилась¹¹³.

В содержание этого-то благотворительного заведения и пообещал Стерн внести свою лепту в виде сборов от пришедших послушать его проповедь. Событие это, правда, произошло не 5 апреля, а месяцем позже — 4 мая (о причине история умалчивает, возможно, Стерн действительно не способен был «стоять на ногах», либо вследствие болезни, либо после какого-либо светского обеда).

Темой Стерн избрал притчу о богаче и Лазаре. Увидеть модного писателя в священническом облачении и послушать его проповедь пришел весь лондонский бомонд. Казначей был весьма доволен: сборы составили пятьдесят пять фунтов девять шиллингов и два пенса.

К этому времени многие уже читали проповеди Стерна — первые два тома с пятнадцатью проповедями вышли в мае 1760 года. Это были два томика того же формата, что и «Тристрам Шенди», то есть в 1/8 листа, пожалуй, наиболее распространенный формат для прозы в те времена, когда бумага была дороже печати. На фронтиспise — гравюра со знаменитого портрета Рейнолдса. За титульным листом, где значилось «Проповеди мистера Йорика», следовало предисловие автора, затем длинный лист подписчиков, насчитывающий 661 фамилию, в их числе много известных людей из мира искусства и титулованных особ. Наконец, второй титул, точнее уже шмуцтитул, на котором стояло: «Проповеди Лоренса Стерна, магистра искусств, пребендаря Йоркского собора и викария Саттона-он-де-Форест и Стиллингтона близ Йорка».

В XVIII веке книги часто публиковали на деньги, собранные по подписке. Именно так опубликовал Поуп свой знаменитый перевод «Илиады», так публиковали стихи Томсон, Прайор, Гей. Иногда неизвестный автор мог опубликовать свое сочинения на деньги, собранные по подписке у друзей, земляков, соседей. Это была своего рода спонсорская поддержка издания. А иногда какой-нибудь грандиозный про-

ект, например, отредактированное Сэмюэлом Джонсоном собрание сочинений Шекспира, публиковавшееся с 1756 по 1765 год, могло быть предпринято на средства подписчиков. Роскошное и объемное издание «Жизни Цицерона» (1741) профессора Кембриджского университета К. Миддлтона собрало 2000 подписчиков, значительная часть которых принадлежала к университетским кругам.

Обычно подписавшийся на издание сразу же оплачивал половину цены книги, вторая половина уплачивалась при получении экземпляра.

Справедливо опасаясь, что название книги может вызвать кривотолки, Стерн снабдил проповеди авторским предисловием, в котором пояснил свой выбор: «Проповедь, которая послужила поводом для публикации этого сборника, была явлена миру от имени Йорика. И я надеюсь, что даже самый серьезный читатель не найдет ничего обидного в том, что я выпустил эти томики под тем же именем. А в случае, если это не так, я добавил вторую титульную страницу с настоящим именем автора»¹¹⁴.

Однако ни эти разъяснения, ни звонкие имена подписного листа не уберегли проповеди от нападков, причем критиковали не столько текст, сколько название. «Кто этот Йорик? — вопрошал критик в “Мансли ревью”. — Мы слышали об одном, он был шутом; мы читали еще об одном в непристойном романе. — Но неужели суровые предписания религии должны излагаться устами шута или автора курьезов? Кто поверит в серьезность проповедника, который взгромоздился на кафедру в одежде Арлеки-

на?»¹¹⁵ А один священник заявил, что он «не может читать проповеди, написанные шутлом датского короля»¹¹⁶.

Но были и другие мнения. Поэт Грей писал Томасу Уортону: «Вы читали его <Стерна — К. А.> “Проповеди” (где на титульном листе помещен его забавный портрет)? Их стиль, по-моему, вполне уместен для кафедры и свидетельствует о сильном воображении и отзывчивом сердце; но часто замечаешь, как он подходит к самой грани смешного и готов швырнуть свой парик в лицо слушателям»¹¹⁷.

«Умоляю, прочитай проповеди Йорика, хоть ты и не станешь читать “Тристрама Шенди”, — пишет леди Каупер своей подруге. — Они больше похожи на эссе. Мне они страшно нравятся, и, я полагаю, он, должно быть, очень хороший человек»¹¹⁸. А юный Босуэлл назвал его «сочинителем самых впечатляющих проповедей, какие ему доводилось читать»¹¹⁹.

Стерн несомненно придавал значение и манере чтения проповеди. В одном из писем во время своей первой поездки в Париж он сообщает: «Три утра сряду хожу слушать прославленного церковного оратора по соседству, некоего отца Клемана, который приводит меня в восторг; приход платит ему шестьсот ливров за двенадцать проповедей в течение Великого поста; он — проповедник короля Станислава — и превосходный проповедник. Рассуждения его основательны и дельны, а манера держаться совершенно театральная, причем в отношении жестов и дикции он заткнет за пояс мадам Клерон, которая, надо вам знать, является

Гарриком здешней сцены; у него бесконечное разнообразие приемов, при помощи которых он умеет изумительно поддерживать внимание; кафедра его продолговатая, с тремя сиденьями внизу, на которые он время от времени опускается, продолжает, затем встает и поднимается по четырем ступенькам, — каждая из них ему служит для выразительности его речи. Словом, настоящий театр; и разнообразие интонаций этого проповедника создает в слушателе впечатление, будто перед ним выступает не менее пяти или шести актеров»¹²⁰.

Стерн задержался в Лондоне почти до конца июня. Уезжать ему явно не хотелось. Возможно, новое увлечение? В салоне Элизабет Монтэгю он познакомился с очаровательной ирландкой, миссис Элизабет Вези, проживавшей в Льюкене, неподалеку от Дублина, но зимние сезоны проводившей в Лондоне без супруга. Позднее она стала хозяйкой собственного лондонского литературного салона, соперничавшего с салоном Элизабет Монтэгю, и, как и та, одной из знаменитых представительниц «синих чулок». В Лондоне ее называли Сильфидой за неподражаемую грацию.

Вы, верно, спросите, как грациозная хозяйка модного литературного салона, да к тому же замужняя дама, могла называться «синим чулком»? Ведь у нас так называют скучных плоскогрудых старых дев. Тогда, извольте, небольшое отступление в духе автора «Тристрама Шенди».

В Англии XVIII века роль женщины, даже в высшем обществе, была принижена — рукоделие, рисование, музицирование, — этим ограни-

чивался круг ее занятий. Женщины не могли получить университетское образование, не знали классических языков. Некоторых такое положение тяготило. Возникло неформальное сообщество интеллектуалок, которые организовывали собственные светские салоны, где, по язвительному и саморазоблачительному заявлению Элизабет Монтэгу, проявлялась «женская слабость обнаруживать бóльшую ученость, чем это необходимо и привлекательно». В ее роскошной китайской гостиной на Хилл-стрит, а позднее — в великолепном особняке на Портленд-сквер собиралось изысканное общество: Гаррик, Рейнолдс, Сэмюэл Джонсон, Эдмунд Бёрк, лорд Честерфилд... На таких вечерах не было вина, карточных игр, танцев, а лишь скромный чай с кексами и беседы о литературе и искусстве.

Основанные в подражание французским салонам мадам Дюдеффан или мадемуазель де Лепинас, английские салоны все же им значительно уступали, так как трудно было побороть многолетнюю привычку англичан к мужским клубам, которые они предпочитали смешанному обществу.

Само название «синие чулки», вероятнее всего, связано с именем миссис Вези. Однажды она пригласила в свой салон обедневшего внука епископа Уорчестерского Бенжамина Стиллингфлита, человека блестящих разносторонних дарований — ботаника, поэта, философа. Тот отнекивался, говоря, что у него нет соответствующего костюма. На что миссис Вези воскликнула: «Да забудьте про костюм! Приходите в ваших синих чулках!» (В те времена на приемах было принято появ-

ляться не в вязаных синих чулках, — так ходили дома, — а в черных шелковых). Джеймс Босуэлл вспоминает: «И таково было очарование бесед Стиллингфлита, что мы начали говорить: “Нам не обойтись без синих чулок”, и так, постепенно, это название утвердилось».

Но вернемся к Стерну. Адресованное миссис Вези, его игривое послание показывает, что за семь лет до создания «Сентиментального путешествия по Франции и Италии» он уже вполне овладел стилем сентиментального письма: «Из двух плохих сутан, прекрасная Леди, составляющих все мое богатство, я бы в эту минуту охотно отдал лучшую, чтобы разгадать, какая непреодолимая волшебная сила побуждает меня написать вам письмо после столь краткого знакомства — краткого, сказал я, — беру назад свое слово: я имел счастье быть знакомым с миссис Вези почти с незапамятных времен. — Разумеется, самой проницательной из всех женщин нет надобности говорить, что подобного рода отношения исчисляются не часами, днями или месяцами, но медленным или быстрым развитием нашей близости, измеряемой лишь степенью прозрения, при помощи которого мы распознаем характеры с первого взгляда, или открытостью и прямоотой сердца, дозволяющего постороннему проникнуть в него без усилий мысли; то и другое избавляет нас от затраты непомерно долгого времени на завязывание знакомств, — ведь время так скупо отпускается нам краткой жизнью, и гораздо приятнее провести его, вкушая плоды этих знакомств». (Вспомним встречу Йорика с незнакомой дамой у дверей ка-

ретного сарая в Кале: «— Право, прекрасная дама, — сказал я, чуточку приподнимая ее руку, — престранная это затея Фортуны: взять за руки двух совершенно незнакомых людей — разного пола, и прибывших, может быть, с разных концов света, — и в один миг поставить их в такое положение сердечной близости, которое вряд ли удалось бы создать для них самой Дружбе, хотя бы она его подготовляла целый месяц».)

Далее тон письма становится все более игривым: «Что вы полны грации, изящества, влечете к себе сердца и т. д., — это легко откроет самый заурядный зритель, стоит ему выпялить на вас глаза, как пялит их какой-нибудь неотесанный мужик на царицу Савскую в кукольном театре; но что вы умница, что вы кротки и нежны, — что вы насквозь пропитаны мелодичнейшими тонами и переливами, — это доступно только знатоку, у которого больше слуха и чуткости — по чистой совести скажу, вы мне представляетесь системой гармонических колебаний, — мелодичнейшим и наилучше настроенным из всех музыкальных инструментов. — Господи Боже! Я бы отдал и другую мою сутану, чтобы поиграть на вас, — но, отдав эти последние лоскутья моего священнического чина ради такого удовольствия, я, как вы сами можете судить, остался бы наг, — а то и вовсе *бесчинен*; — правда, божественная ваша ручка меня тотчас вернула бы к благочинию, — но ежели вы предполагаете, что после этого я останусь таким, как вы меня нашли, — поверьте, дорогая Леди, вы ошибаетесь.

Взвесив все это и сопоставив, позволю себе спросить вас, дражайшая миссис В., что вас за-

ставило приехать сюда из Ирландии — или, вернее, что вас заставляет туда возвращаться — лучший вас возьми с вашими музыкальными и другими способностями, — зачем вам понадобилось во что бы то ни стало вскружить голову Т. Шенди, как будто ему и без того мало ее кружили? Что же касается пленения моего сердца, то я вам прощаю за божественное совершенство предмета, его пленившего...»¹²¹.

Однако, как ни тянул он с отъездом, возвращение в Коксволд было неизбежно.

«ИСТОРИЯ ЛЕФЕВРА»

Июль — ноябрь 1761

Чихать хочу на критиков. — Нагружаю свою телегу
тем добром, какое Небо мне посылает...

Л. Стерн. Из частного письма

«Сейчас здесь холодно и неприятно, как (не дай Бог, чтобы это было так) должно бы быть в мрачном декабре, почему я и рад, что вы там, где вы находитесь и где (снова повторяю) мне тоже хотелось бы быть. — Проклятие бедности и разлуке с теми, кого мы любим! — это два великих зла, отравляющих все на свете <...> Господи! Сегодня вечером вы собираетесь в “Рэ-нилу”, а я сижу здесь в печали...» — пишет Стерн Холлу-Стивенсону из Коксуолда, передавая «самые лучшие и сердечные пожелания» всем «бесноватым».

Правда, печаль при его счастливом характере длится недолго. Это он и сам признает в том же письме: «...если бы Бог, чтоб утешить меня, не влил в меня духа шендианства, который не позволяет мне думать ни о чем серьезном более двух минут сряду, я вот сейчас лег бы и умер — да, умер — и все-таки через полчаса, ставлю ги-

нею, я буду весел, как обезьянка, и так же проказлив, и все забуду...»¹²².

Но вот изменился адресат, и месяцем позже в письме некоей безымянной «леди» уже идиллическая картина: «Возвращаюсь в мое новое жилище <...> Приход расположен в миле от замка и парка его сиятельства <лорда Фоконберга — К. А.>. Туда очень приятно прокатиться в коляске, которую я купил для жены — у Лид есть пони, к которому она очень привязалась. — Когда они таким образом развлекаются, я строю своего Тристрама. Эти два тома, по-моему, лучшие. Я буду писать, пока я жив, это в самом деле мой конек; мне так нравится сочиненный мной характер дядюшки Тоби, что я стал его энтузиастом. — Лидия помогает мне переписывать, — а жена вяжет и слушает, как я читаю ей главы...»¹²³

А вот не менее идиллическая картина — описание, как отмечался в Коксуолде день коронации Георга III, 23 сентября 1761 года. Об этом пишет лорду Фоконбергу управляющий Ньюбургского монастыря Ричард Чапмен: «Посреди городской площади был зажарен целиком прекрасный бык с позолоченными рогами, после чего колокола стали призывать в церковь, где мистер Стерн прочел экспромтом великолепную проповедь по случаю торжественного события, чем доставил всем слушающим огромное удовольствие. В церкви было полно народу — и хоры, и притворы были заполнены, вплоть до самых дверей. Текст проповеди вы сможете прочитать и в лондонских, и в йоркских газетах. К трем часам бык был разрезан и роздан собрав-

шимся — их было не менее трехсот человек; после чего два бочонка эля были выпиты теми, кто смог до них добраться. Колокольный звон, шутихи, салют, иллюминация, а вечером бал, — завершили этот радостный день»¹²⁴.

Из письма Стерна мы узнаем, что бык, а возможно, и эль, был оплачен викарием из собственного кармана.

В эпистолах «кузену Энтони» есть упоминания и о работе: «Мой Тристрам подвигается — на одной распродаже я купил за бесценок семьсот книг — и много хороших — вот уже неделю занят их размещением в моей лучшей комнате здесь...»¹²⁵

Это написано в конце июля. А незадолго до этого ему же: «Завтра утром (если позволит Небо) начинаю пятый том Шенди. — Чихать хочу на критиков. — Нагружаю свою телегу тем добром, какое Небо мне посылает, — они могут взять его у меня из рук или оставить в покое. — Я очень храбрый — по мере того, как мы удаляемся от света и видим его в истинных пропорциях, растет наше презрение к нему — как громко сказано!»¹²⁶

«Добро», которым Стерн нагрузил пятый и последующие тома романа, если приглядеться, отличалось от содержимого первых четырех томов.

Повествование в пятом томе значительно более стройное. Центральное место в нем занимает реакция обитателей Шенди-Холла на известие о смерти брата Тристрама Бобби (при этом характерно, что никаких подробностей о причине и обстоятельствах смерти не сооб-

щается). Важно не событие, а его восприятие. Смерть рассматривается скорее как экзистенциальная категория, причем свое отношение к ней высказывают как хозяева — Вальтер Шенди и дядя Тоби — в гостиной, так и слуги (капрал Трим, Сузанна, Обадия, кучер Джонатан, судомойка) на кухне. Следуя рассуждению Локка о несовершенстве слов, Стерн противопоставляет велеречивым разглагольствованиям Вальтера Шенди выразительный жест капрала Трима: «— — — “Сейчас мы здесь, — продолжал капрал, — и вот нас” — (тут он неожиданно выронил из рук шляпу — — помедлил и произнес) — “не стало! В один миг!” Шляпа упала так, словно в тулье у нее помещался тяжелый ком глины. — — Нельзя было лучше выразить чувство смертности, прообразом и предтечей которого была эта шляпа, — рука Трима как будто исчезла из-под нее, — она упала безжизненная, — глаза капрала остановились на ней, как на трупе, — и Сузанна разлилась в три ручья.

А теперь... — Есть тысяча и десять тысяч разных способов (ибо материя и движение бесконечны), какими можно уронить на пол шляпу без всякого результата. — — Если бы Трим ее бросил, или швырнул, или кинул, или пустил кубарем, или метнул, или дал ей выскользнуть или упасть в любом возможном направлении под небом — или если бы в лучшем направлении, какое можно было ей дать, — он ее выронил, как гусь — как щенок — как осел, — или, роняя ее и даже уже выронив, он смотрел бы дураком — простофилей — остолопом, — все бы сорвалось, шляпа не произвела бы никакого впечатления на сердце»¹²⁷.

И здесь, после этой длинной цитаты, хочется привести еще одну цитату из брошюры Дэвида Гаррика, изданной в 1744 году, об актерском мастерстве. И читатели наглядно поймут, почему эти два таланта, Стерн и Гаррик, так любили и понимали друг друга. В брошюре речь идет о постановке пьесы Бена Джонсона «Алхимик». Абель, один из персонажей, случайно роняет и разбивает очень дорогой сосуд. «Как же его душевное состояние должно выразиться внешне? — пишет Гаррик. — Глаза Абеля нужно отвести от предмета, который сейчас находится в центре его внимания, а губы вытянуть в сторону этого предмета. Тогда получится впечатление расслабленности каждого мускула. А если голова Абеля будет повернута в сторону разбитого сосуда, то это придаст верхней части его туловища отчетливое выражение комического ужаса. Для того, чтобы и нижняя часть туловища была в такой же степени комична, нужно ступни ног повернуть внутрь, а дыхание задержать. Абель неизбежно будет испытывать дрожь в коленях, и, если его пальцы конвульсивно сожмутся, это создаст законченный портрет человека, испытывающего чувство комического ужаса, достойный кисти голландского художника»¹²⁸.

Хоть Стерн и уверял Додсли, что значительно переделал первые томы, убрав из них сатирические выпады против лиц, известных лишь в Йоркшире, однако много слегка свифтианской сатиры, связанной с доктором Слопом, Дидием, Футаторием и Кунастрокием, все же осталось. В пятом томе сатиры меньше, или она

связана не с конкретными личностями, а с общими темами — к примеру, с ложной ученостью, затронутой в связи с теорией Вальтера Шенди о роли вспомогательных глаголов для развития ребенка. Остроумным пассажем на эту тему и завершается пятый том: «— И вот, если вышколить память ребенка, — продолжал отец, — правильным употреблением и применением *вспомогательных* глаголов, ни одно представление, даже самое бесплодное, не может войти в его мозг без того, чтобы из него нельзя было извлечь целого арсенала понятий и выводов <...> и сейчас я покажу, как это возможно.

— Белый медведь? Превосходно. Видел ли я когда-нибудь белого медведя? Мог ли я когда-нибудь его видеть? Предстоит ли мне когда-нибудь его увидеть? Должен ли я когда-нибудь его увидеть? Или могу ли я когда-нибудь его увидеть?

— Хотел бы я увидеть белого медведя! (Иначе как я могу себе его представить?)

— Если бы мне пришлось увидеть белого медведя, что бы я сказал? Если бы мне никогда не пришлось увидеть белого медведя, что тогда?

— Если я никогда не видел, не могу увидеть, не должен увидеть и не увижу живого белого медведя, то видел ли я когда-нибудь его шкуру? Видел ли я когда-нибудь его изображение? — Или описание? Не видел ли я когда-нибудь белого медведя во сне?

— Видел ли когда-нибудь белого медведя мой отец, дядя, мать, братья или сестры? Что бы они за это дали? Как бы они себя вели? Как бы вел себя белый медведь? Дикий ли он? Ручной? Страшный? Косматый? Гладкий?

— Стоит ли белый медведь того, чтобы его увидеть?

— Нет ли в этом греха?

— Лучше ли он, чем *черный медведь?*»¹²⁹

После публикации тома этот пассаж послужил темой для анонимного памфлета «Лист бумаги, выпавший из записной книжки Тристрама Шенди», где основой для лингвистических упражнений служила фраза «Могу ли я писать чепуху?»¹³⁰.

Стерн вновь приехал в Лондон в 20-х числах ноября, чтобы заняться подготовкой издания пятого и шестого томов «Тристрама Шенди». В октябре вышел анонс новых томов романа без указания имени издателя.

Дело в том, что летом 1761 года между Стерном и его издателем Джеймсом Додсли пробежала черная кошка. Причина разрыва неизвестна: о ней не осталось ни малейших письменных упоминаний. Можно лишь предполагать, что Стерн был разочарован тем, что третий и четвертый томы выдержали лишь одну допечатку тиража — в мае.

Стерн не сразу нашел нового издателя. В декабре им стала фирма «Т. Беккет и П. А. Деонт», расположившаяся на Стрэнде, под вывеской «Голова Туллия». Точнее, на первых порах не столько издателем, сколько распространителем: тираж в 4000 экземпляров был отпечатан на деньги Стерна (и к июню 1762 года около двух с половиной тысяч из них были проданы). Все последующие издания Стерна осуществлял Беккет. Издатель сохранил формат и шрифт первых томов, так что новое издание (оно пе-

чаталось в той же типографии) по виду не отличалось от прежних. Книги вышли в конце декабря, однако, как это и сейчас принято в книгоиздании, на них стоял 1762 год. Была на шиллинг снижена цена — четыре шиллинга вместо пяти за оба тома.

Однако цена и в 4 шиллинга была весьма солидная для того времени. «Обычная цена за эссе и романы была 2 шиллинга 6 пенсов или 3 шиллинга, если они были переплетены» (а часто книги могли продаваться и непереплетенные, разрозненными листами). «Книги большего формата стоили дороже; “Путешествие к западным островам Шотландии” Джонсона содержало 400 страниц крупным шрифтом и стоило 5 шиллингов, “Описание Корсики” Босуэлла, еще более объемная книга, стоило 6 шиллингов»¹³¹.

Пресса, в основном неодобрительно отнесшаяся к 3 и 4 томам, потерявшим для нее прелесть новизны, с вожделием предвкушала публикацию продолжения «Тристрама» — пищу для дальнейших нападок. Однако критики с удивлением обнаружили в продолжении романа некую новую тональность, соответствующую духу времени. Речь идет о трогательной истории лейтенанта Лефевра, некогда служившего в том же полку, что и дядя Тоби, а теперь, по дороге из Ирландии во Фландрию с малюткой сыном, застигнутого болезнью в придорожной гостинице неподалеку от Шенди-Холла. (Заметим в скобках, что эти детали напоминают нам события детства самого Стерна.) История Лефевра стала сюжетным центром шестого тома.

Узнав подробности злоключений лейтенанта от капрала Трима, дядя Тоби упрекает слугу: «... Ты бы должен был предложить ему также и мой дом: — больной собрат по оружию имеет право на самую лучшую квартиру, Трим; и, если бы он был с нами, мы бы могли ухаживать и смотреть за ним. — Ты ведь большой мастер ходить за больными, Трим, — и, присоединив к твоим заботам еще заботы старухи и его сына, да мои, мы бы в два счета вернули ему силы и поставили его на ноги. —

— Через две-три недели, — прибавил дядя Тоби, улыбаясь, — он бы уже маршировал. — Никогда больше не будет он маршировать на этом свете, с позволения вашей милости, — сказал капрал, — никогда больше не будет он маршировать, разве только в могилу. — Нет, будет, — воскликнул дядя Тоби и замаршировал обутой ногой, правда, ни на дюйм не сдвинувшись вперед, — он замарширует к своему полку. — У него не хватит силы, — сказал капрал. — Его поддержат, — сказал дядя Тоби. — Все-таки в конце концов он свалится, — сказал капрал, — а что тогда будет с его сыном? — Он не свалится, — сказал дядя Тоби с непоколебимой уверенностью. — Эх, что бы мы для него ни делали, — сказал капрал, отстаивая свои позиции, — бедняга все-таки умрет. — Он не умрет, черт побери, — воскликнул дядя Тоби.

Дух-обвинитель, полетевший с этим ругательством в небесную канцелярию, покраснел, его отдавая, — а ангел-регистратор, записав его, уронил на него слезу и смысл навсегда»¹³².

Последний пассаж особенно восхищал чувствительных читателей. Даже «Мансли ревью»,

столь сурово критиковавшая Стерна, признала пятый и шестой наилучшими томами и перепечатала «Историю Лефевра». Впрочем, не только «Мансли ревью», этот фрагмент романа «перепечатали все журналы и газеты королевства».

(В России у нас все запаздывает. Но и в России в 1792 году «Московский журнал», издававшийся Карамзиным, перепечатал «Историю Лефевра»; Карамзин сопровождал публикацию таким признанием: «Сколько раз читал я “Лефевра”! И сколько раз лились слезы мои на листы сей истории! Может быть, многие из читателей “Московского журнала” читали уже ее прежде на каком-нибудь из иностранных языков; но можно ли в какой-нибудь раз читать “Лефевра” без нового сердечного удовольствия? Перевод не мой: я только слышал его с английским оригиналом. Может быть, некоторые красоты подлинника в нем пропадают; но читатель может поправить его в своем чувстве»¹³³.)

То было время, когда душевная щедрость стала характерна для светского общества. Это отразилось в литературе в образах сквайра Олверти и пастора Адамса из романов Филдинга, пастора Примроуза — векфильдского священника и уже упомянутого дяди Тоби. Но большая чуткость к страданиям других, прежде всего бедняков, отразилась и в реальной жизни, в филантропии — в создании благотворительных школ и больниц, в том числе частного приюта для подкидышей, о котором говорилось выше.

В этот приезд в Лондон Стерн познакомился с Сэмюэлем Джонсоном, знаменитым лексикографом, автором канонического «Словаря англий-

ского языка» (1755). Оставил Джонсон и художественную (если сравнить ее со Стерном, то малохудожественную) прозу — философскую повесть «Расселас, принц Абиссинский» и множество эссе. (Помните? — Стерн хотел, чтобы первые тома «Тристрама» вышли в формате «Расселаса».) В нашей стране не многим знакомо имя Джонсона, тем более эта повесть. Однако эпоху Просвещения в Англии часто называют «веком Джонсона» (заметьте: не веком Дефо, Филдинга и уж, разумеется, не веком Стерна, а именно Джонсона!). Да мы и сами уже ссылались в этой главе на солидный двухтомник, посвященный быту и нравам восемнадцатого столетия, который так и называется — «Англия Джонсона». И именно Джонсону посвятил, чем и прославился в веках, подробнейшее жизнеописание его друг Джеймс Босуэлл, — нечто подобное «Разговорам с Гёте» Эккермана.

И вот на полях первого издания книги Босуэлла «Жизнь доктора Джонсона» находим запись, сделанную рукой леди Филиппы Найт (этот экземпляр хранится в библиотеке Принстонского университета). Из ее маргиналии, а также из публикации в «Нью мансли мэгэзин» (1818, vol. X) узнаем подробности встречи нового литературного кумира с законодателем литературных вкусов и норм своего времени: «Недавно я был в одной компании, — сообщил лексикограф группе друзей, — где появился Тристрам Шенди; и не успел Тристрам Шенди сесть, как сообщил, что он только что написал посвящение лорду Спенсеру; и *sponte sua** он достал его

* по собственному почину (лат.).

из кармана; и *sponte sua*, потому что никто его не просил, он начал читать; и прежде, чем он прочел с полдюжины строк, *sponte sua*, я сказал: “Это не по-английски, сэр”. Это произошло в доме сэра Джошуа Рейнолдса. В тот же вечер, было сказано, Стерн показал гостям “рисунок, слишком неприличный даже для борделя”, после чего доктор Джонсон немедленно покинул комнату, а позднее сказал мисс Рейнолдс, что “он скорее лишит себя удовольствия общаться с ее братом, чем будет встречаться с таким презренным священнослужителем, как этот Стерн”»¹³⁴.

Но чего ожидать от пуриста Джонсона, который полагал возможным и нужным «улучшать» самого Шекспира! В предисловии к изданному им в 1765 году «Собранию сочинений» Шекспира он вспоминает, как возмущала его несправедливая гибель главных героев «Короля Лира» и как он не мог перечитывать эту трагедию, пока при позднейших переделках не был изменен ее финал. «Пьеса, в которой отрицательные персонажи преуспевают, а положительные — гибнут, — писал он, — вероятно, правильно воспроизводит жизнь. Но все здравомыслящие люди высоко ценят справедливость, поэтому никто мне не возразит, что победа справедливости придется не по вкусу зрителям или что восторжествовавшая в финале пьесы добродетель ее испортит»¹³⁵,

Однако в книге Босуэлла находим высказывание, относящееся к более раннему периоду, до личного знакомства Джонсона со Стерном: «Кто-то сказал, что Лондон негостеприимен.

Джонсон: Нет, сэр, всякому, кто пользуется известностью или умеет быть приятным, в Лон-

доне повсюду рады. Этого Стерна, как я слышал, засыпали приглашениями на три месяца вперед.

Голдсмит: И притом он ужасно скучен.

Джонсон: Ничего подобного, сэр.

На этом разговор оборвался»¹³⁶.

В этот раз Стерн приехал в Лондон «при плохом здоровье», как он выразился в упомянутом выше посвящении лорду Спенсеру. Встретившись вновь с миссис Вези, он повез ее в «Рэнилу» и прохаживался с нею по залам, пока остальная компания гуляла в саду. Но и на это уже не было сил, и ему пришлось потребовать стул.

Вскоре в столице у него случилось сильнейшее легочное кровотечение. Друзья и врачи дружно советовали провести зиму в более мягком климате Южной Франции. Стерн начал всерьез готовиться к поездке.

Так как в этот период Англия номинально находилась в состоянии войны с Францией, хотя военные действия не велись, Стерн заручился письмами Питта, в то время министра иностранных дел, во французское министерство. Архиепископ Йоркский милостиво разрешил ему продолжительный отпуск. Дэвид Гаррик одолжил 20 фунтов на непредвиденные расходы, и в середине января Стерн отплыл на континент.

ПАРИЖ

Декабрь 1761 — июнь 1762

— Во Франции, — сказал я, — это устроено лучше.

Л. Стерн. Сентиментальное путешествие

В декабре 1761 года, готовясь к поездке в Париж, Стерн сделал завещание и оставил у миссис Монтэгу «памятную записку» для жены. Несмотря на все его увлечения, он был не только любящим отцом, но и заботливым мужем.

28 декабря 1761 года

Памятная записка, оставленная миссис Монтэгу на случай, если я умру за границей

Мои проповеди в сундуке на квартире моего друга мистера Холла, Сент-Джон-стриг. — Из них можно набрать два тома. — N. В. Материала там на три тома.

Мои письма в моем бюро в Коксуолде и еще связка в сундуке с проповедями.

N. В. Надо перерывать кучи писем на чердаках в Йорке и отобрать те, в которых есть остроумие или юмор — или, что лучше и остроумия, и юмора, —

человечность и доброта. — Они составят еще два тома. — Так как ни одно из них не было написано, подобно письмам Попов и Вуатюрров, для печати, тем более вероятно, что их будут читать. — Если писем не наберется для трех томов, — то в качестве привеска можно добавить написанный мной, но неопубликованный «Политический роман»... Однако у меня есть два основания не предавать его гласности. — Во-первых, незаслуженная похвала человеку, который потом оказался очень дрянным — я знал, что он слаб и невежествен, — но считал честным. — Во-вторых, я выставил в этом романе в смешном свете доктора Тофама, — теперь же я, право, в большом сомнении, заслужил ли он это, — так пусть роман ляжет спать не один — у него найдется общество.

Моя *Concio ad Clerum* на латинском языке, которую я написал Фаунтейну для произнесения в университете, чтобы дать ему возможность получить степень доктора, — вы найдете ее в двух экземплярах вместе с моими проповедями. —

Он получил при помощи моей работы почетное звание, — а что получил я? — ничего при жизни. Не допустите же (наказываю вам, миссис Стерн), чтобы я оставался ограбленным и после смерти. Длинное прочувствованное письмо к нему по поводу суровой меры, примененной ко мне, — я поручаю вам напечатать. — Этого требует справедливость, вы должны извлечь по крайней мере это благо из моих страданий.

Я сделал завещание, — но я оставляю все, что имею, вам и моей Лидии — вам не придется вести тяжбу по этому поводу, но я советую вам продать мое недвижимое имущество, за которое вы получите 1800 фунтов (или больше после войны). — Далее, вы-

ручите что можно из моих сочинений — и продажи моих авторских прав на пятый и шестой томы Тристрама. — Все доходы с этого произведения (за исключением пятидесяти фунтов) я оставил на руках книгопродавца Бекетта, их получит мистер Гаррик и обратит в ценные бумаги на мое имя — все это я бы посоветовал вам собрать вместе, — присоединив сюда выручку от продажи моей библиотеки, — и обратиться в правительственные бумаги. — Если моя Лидия выйдет замуж, — я наказываю вам — я еще раз вам наказываю (чтобы вы лучше запомнили и тщательнее взвесили) — не доверяйтесь ничьим заманчивым предложениям и обещаниям, сохраните себе достаточно, чтобы жить с удобством, — и пусть она ждет вашей смерти.

Оставляю эту записку в руках нашей родственницы, — миссис Монтэгю — не потому, что она ваша родственница, — но потому, что я уверен в доброте ее сердца.

Мы еще встретимся.

Н. В. Когда бы я ни умер, мне, по всей вероятности, будет причитаться около двухсот фунтов с моих приходов. — Если бы Лидия умерла раньше вас, оставьте моей сестре, сколько найдете возможным — в случае, если вы считаете неудобным купить ей ренту для большего спокойствия; если же вы предпочитаете последнее — сделайте это ради Бога —

Двойной портрет «Шарлатан и его подручный» — на руках у одной дамы, которая, увидев его, весьма бесцеремонно объявила, что никогда с ним не расстанется. — А я от избытка учтивости — или, вернее, слабости не нашел в себе достаточно мужества, чтобы потребовать его возвращения. — Если я умру, имя этой дамы и т. д. находится в запечатанном конверте

вместе с этой запиской — и вы можете у нее потребовать упомянутый портрет. — В случае отказа — вам не остается ничего другого, как обратиться к ней с вторичной просьбой, указав, что не в ее интересах удерживать эту вещь —

Лоренс Стерн¹³⁷.

«Человек, который потом оказался очень дрянным» — декан Фаунтейн, в свое время большой покровитель Стерна. Письмо, упомянутое Стерном, потеряно, текст его неизвестен. Причина ссоры или обиды тоже не очень ясна.

Позднее, в седьмом томе «Тристрама», Стерн в шутовском тоне опишет свой поспешный побег от Смерти: «...клянусь небом! Я так ее загоняю, как ей и не снилось, ибо поскачу галопом, — сказал я, — ни разу не оглянувшись назад до самых берегов Гаронны, и если услышу за собой ее топот — — удеру на верхушку Везувия — — оттуда в Яффу, а из Яффы на край света; если же она и туда за мной последует, я упрошу Господа Бога сломать ей шею. — —»¹³⁸

Действительно, поездка (он ехал через Булонь, Монтрей, Аббевиль, Амьен и Шантильи) по тем временам была стремительной: покинув Лондон на второй неделе января, 16 или 17 января Стерн, хотя и полумертвый, был уже в Париже. Призванный лекарь дал неутешительный прогноз: больше месяца больной не протянет.

К моменту отъезда писатель был настолько тяжело болен, что ни у кого не вызвало сомнений коротенькое сообщение, появившееся в «Лондон Кроникл» за 2—4 февраля: «Частные письма из Парижа содержат рассказ о смерти

преподобного мистера Стерна, автора “Тристрама Шенди”»¹³⁹. Оно опередило «частные письма» самого Стерна семье и друзьям. Печальная новость быстро облетела столицу. Газеты были полны восторженных отзывов о безвременно ушедшем таланте и горестных читательских откликов. Прихожане Коксуолда даже облачились в траур по своему викарию.

Однако вскоре оказалось, что Стерн жив, и «Сент Джеймс Кроникл» даже поместила в связи с этим юмористические стишки:

«Наш Йорик мертв – ужасные слова:
Ведь то сама чувствительность мертва!
Никто уже не даст точнее слепка
Пороков и безумств осьмнадцатого века!
Сатире не занять уж больше трона,
Коль Шенди унесен в чертог Плутона!»

.....

«Мадам, скорей умерьте горя пыл –
Ведь Йорик наш не вечным сном почил, –
Почил на крыльях он литературной славы,
И Муза лаврами чело его венчала.
А весть ужасную, что нас повергла в мрак,
Похоже, сочинил какой-то гнусный враг!»¹⁴⁰

Едва ли «враг». Скорее кто-то из пишущей братии решил, опережая, как ему казалось, неизбежное событие, сообщить сенсационную новость первым.

Какими были газеты, публиковавшие такие материалы во второй половине XVIII века? Они состояли из трех-четырёх страниц *in folio*, каждая полоса в четыре столбца. Причем целая

страница отводилась всякого рода сообщениям, платным и бесплатным. Здесь была информация о книгах, концертах, спектаклях, о событиях в жизни публичных людей, а также частные объявления от людей, нуждающихся во всякого рода бытовых услугах. После 1771 года газетам разрешили публиковать парламентские дебаты, так что читатели стали хорошо осведомлены о политической жизни страны. Помимо этого публиковались стихи, эссе, письма в редакцию, светские сплетни... Тираж был невелик. К 1795 году тираж «Морнинг пост» упал до 350 экземпляров, а тираж «Таймс» поднялся до 4800 экземпляров. Стоимость номера составляла 2—3 пенса.

Вопреки мрачным прогнозам Стерн стал быстро поправляться. Парижская жизнь так благотворно подействовала на него, что поездку на юг было решено отложить.

Поначалу Стерн общался в основном со своими соотечественниками — «пятнадцатью-шестнадцатью знатными англичанами», жившими в предместье Сен-Жермен, где обычно селились иностранцы. Среди них был Джордж Маккартни, молодой ирландец, которого в будущем ждала блестящая дипломатическая карьера: в 1765—1767 годах он станет британским послом в России и будет вести переговоры о заключении торгового соглашения между Англией и Россией. Маккартни приехал во Францию в качестве компаньона семнадцатилетнего Стивена Фокса, старшего сына лорда Холланда. В обществе этих молодых людей Стерн посетил Версаль; Фокс взял его с собой на неделю в Сен-Жермен-ан-Ле.

Маккартни познакомил с пожилым меценатом мсье Титоном, к которому у Стерна были рекомендательные письма от Гаррика.

Хотя французское светское общество, за исключением редких англоманов, не читало «Тристрама Шенди», так как роман был переведен на французский только после смерти автора, однако о модной книге слышали все, а многие читали ее краткий пересказ в рецензиях и откликах французских журналов.

О приеме в Париже, во многом напоминавшем его первый лондонский успех, Стерн пишет Дэвиду Гаррику:

«...голова у меня идет кругом от всего, что я вижу, и от оказанных мне неожиданных почестей. Представьте, Тристрам был здесь почти столь же известен, как и в Лондоне, по крайней мере, среди светских и образованных людей, и он открыл мне доступ во множество домов (*comme à Londres**). Сейчас я на две недели заручился обедами и ужинами. — Прощение мое графу де Шуазелю движется гладко, ибо не только месье Пеллетьер <...> взялся за мое дело, но также граф де Лимбур, — барон д'Ольбах изъявил готовность дать какое угодно ручательство за безобидность моего поведения во Франции, — чего вы, разбойник, не сделаете. <...> — Замечательный вышел случай, когда я был представлен графу де Бисси по его собственному желанию — я застал его за чтением Тристрама. — Вельможа этот оказывает мне большое внимание и разрешает в любое время пользоваться приватным хо-

* как в Лондоне (*фр.*).

дом в Пале-Рояль через его апартаменты для осмотра коллекций герцога Орлеанского. — Я побывал у докторов Сорбонны — в течение двух недель надеюсь пройти все удовольствия этого города, или, вернее, отойти от них, — а в отношении *savoir vivre** он, я думаю, превосходит все другие города в этой части земного шара —»¹⁴¹.

И граф (позднее герцог) де Шуазель, министр иностранных дел Франции, и месье де Пеллетьер, генеральный откупщик, будут упомянуты позднее в «Сентиментальном путешествии», а эпизод знакомства с графом де Бисси представит в несколько измененном и комическом виде в главке «Паспорт. Версаль»: «Я был беспрепятственно допущен к графу де Б***. Собрание сочинений Шекспира лежало перед ним на столе, и он перелистывал томики. Подойдя к самому столу и взглянув на книги с видом человека, которому они хорошо известны, — я сказал графу, что явился к нему, не будучи никем представлен, так как рассчитывал встретиться у него с другом, который сделает мне это одолжение. — То мой соотечественник, великий Шекспир, — сказал я, показывая на его сочинения, — *et ayez la bonté, mon cher ami*, — прибавил я, обращаясь к духу писателя, — *de me faire cet honneur-là***.

Этот необычный способ рекомендации вызвал у графа улыбку... <...>

Граф сказал мне в ответ на это очень много любезностей и весьма учтиво прибавил, как

* *уменье жить (фр.)*.

** *и будьте добры, мой дорогой друг... оказать мне эту честь (фр.)*.

много он обязан Шекспиру за то, что он познакомил меня с ним. — *A-propos*, — сказал он, — Шекспир полон великих вещей, но он позабыл об одной маленькой формальности — не назвал вашего имени — так что вам придется сделать это самому. <...>

Для меня нет на свете ничего затруднительнее в жизни, чем сообщить кому-нибудь, кто я такой, — ибо вряд ли найдется человек, о котором я мог бы дать более обстоятельные сведения, чем о себе; часто мне хотелось уметь откомендоваться всего одним словом — и конец. И вот первый раз в жизни представился мне случай осуществить это с некоторым успехом — на столе лежал Шекспир — вспомнив, что он обо мне говорит в своих произведениях, я взял “Гамлета”, раскрыл его на сцене с могильщиками в пятом действии, ткнул пальцем в слово *Йорик* и, не отнимая пальца, протянул книгу графу со словами — *Me voici!** <...>

Я не мог понять, почему граф де Б*** так внезапно вышел из комнаты, как не мог понять, почему он сунул в карман Шекспира <...> Я взял «Много шуму из ничего» <...> Когда я дочитал до конца третьего действия, вошел граф де Б*** с моим паспортом в руке. — Господин герцог де Ш***, — сказал граф, — такой же прекрасный пророк, смею вас уверить, как и государственный деятель. — *Un homme qui rit*, — сказал герцог, — *ne sera jamais dangereux*** . — Будь это не для королевского шута, а для кого-нибудь

* Вот он я! (*Фр.*)

** Человек, который смеется... никогда не будет опасен (*фр.*).

другого, — прибавил граф, — я не мог бы раздобрить его в течение двух часов. — *Pardonnez-moi, Monsieur le Comte**, — сказал я, — я не королевский шут. — Но ведь вы Йорик? — Да. — *Et vous plaisantez?**** — Я ответил, что действительно люблю шутить, но мне за это не платят — я это делаю всецело за собственный счет.

— У нас нет придворных шутов, господин граф, — сказал я, — последний был в распутное царствование Карла II, а с тех пор нравы наши постепенно настолько очистились, что наш двор в настоящее время переполнен патриотами, которые ничего не желают, как только преуспевания и богатства своей страны — и наши дамы все так целомудренны, так безупречны, так добры, так набожны — шуту там решительно нечего вышучивать —

— *Voilà un persiflage!**** — воскликнул граф¹⁴².

В число «удовольствий этого города», о которых пишет Стерн, входило и знакомство с театральной жизнью Парижа. Он посещает театры «Комеди Франсез», который находился поблизости, у бульвара Сен-Жермен; реже — «Комеди Итальян», который незадолго до этого слился с «Опера комик». О своих театральных впечатлениях он пишет и жене, и Дэвиду Гаррику, которому «купил книжку по театральной, вернее, трагедийной декламации», так как знал, что Гаррик не только собирает и внимательно изучает литературу о театре, но и является авто-

* Простите, господин граф (*фр.*).

** И вы шутите? (*Фр.*)

*** Вот это шутство! (*Фр.*)

ром брошюры об актерском искусстве: «Вчера вечером я смотрел с мистером Фоксом мадемуазель Клерон в “Ифигении” — она необыкновенно величественна <...> Ах, Превиль, ты — сам Меркурий! — Взяв парочку лож, мы заручились на этой неделе “Французом в Лондоне”, в котором Превилью предстоит отправить домой поужинать *всю нашу компанию*, — то есть человек пятнадцать или шестнадцать знатных англичан, находящихся сейчас в Париже...»¹⁴³

Речь идет о трагической актрисе Клэр Клерон и о комике Превиле, игравшем в одноактной комедии Луи де Буасси «Француз в Лондоне». В другом письме он упоминает еще одну актрису — мадемуазель Дюмениль.

Стерн отмечает и интересные для Гаррика особенности французской сцены: «...мы возобновляем наши комедии и оперы — у вас они, я слышу, никогда так не процветали — здесь же комические актеры никогда так низко не расценивались, — между тем как актеры трагические задирают голову во всех смыслах. Я знавал одного маленького человека, который, словно Давид Атлант, держит на своих плечах весь театральный мир, тогда как здесь Превиль не в силах снести и половину такой тяжести, хотя рядом стоит мадемуазель Клерон, прислонившись к нему спиной. — Впрочем, у нее очень большое дарование <...> Она поддерживает свое достоинство также и за столом, устраивая приемы по четвергам, когда она *дает покушать* (как здесь говорят) всем голодным и томимым жаждой»¹⁴⁴.

Стерну повезло: он увидел мадемуазель Клерон и в первый свой приезд в Париж, и когда

в 1764 году он посетил французскую столицу перед отъездом в Англию. А годом позже она вместе с некоторыми другими актерами «Комеди Франсез» попала в тюрьму за отказ играть в одной труппе с актером, чье поведение порочило театр. После освобождения она не вернулась на большую сцену, а укрылась у Вольтера в его личном театре в Фернее; в 1779 году издала свою книгу «Мемуары и размышления о драматическом искусстве»; она умерла в 1803 году в полной нищете, так как в революционной Франции перестала получать пенсию, а все ее благодетели к этому времени были уже в могиле.

Как видно из письма Стерна Гаррику, он сблизился с французскими энциклопедистами, особенно с бароном Гольбахом: «Этот барон — один из самых образованных людей среди здешней аристократии, большой покровитель остроумцев и совсем не остроумных ученых — три раза в неделю у него бывают приемы, — его дом в настоящее время, как был ваш для меня, — все равно, что мой собственный, — барон живет очень широко»¹⁴⁵.

Немец, получивший от дяди фамилию, титул и огромное состояние, Гольбах был одним из блестящих умов тогдашнего Парижа, — знал древние и новые языки, химию, физику, геологию, минералогию, читал Бэкона, Гоббса и Локка... Был одним из плодовитых авторов «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел».

По четвергам и воскресеньям на обедах в особняке барона на рю Руаяль-Сен-Рош, в самом центре Парижа, собирались философы, ученые, литераторы. В салоне этого «хозяй-

на Европы», как называли Гольбаха за радушие к иностранцам, бывали Дидро и Руссо, Даламбер и Гельвеций, Юм и Франклин... Здесь обсуждались самые животрепещущие темы науки и искусства, политики и экономики, философии и религии. В доме Гольбаха была большая антирелигиозная библиотека, включавшая легальные и нелегальные издания из самых разных стран. С этим убежденным, даже воинствующим безбожником коксуолдский викарий прекрасно ладил, что говорит и о широте его взглядов, и о духе веротерпимости, характерном для Англии георгианской эпохи, сменившем суровые нравы эпохи Кромвеля.

Хотя во Франции по сравнению с Англией деизм принял более агрессивные формы, но и там в великосветских салонах мирно сосуществовали различные мировоззрения. Со свойственной ему тонкой иронией Стерн напишет об этом позднее в «Сентиментальном путешествии»: «Владычество французской дамы распалось на три эпохи. — Сначала она кокетка — потом деистка — потом *dévoté**. В течение всего этого времени она ни на минуту не выпускает власти из рук — она только меняет подданных: когда к тридцати пяти годам в ее владениях редуют толпы рабов любви, она вновь их населяет рабами неверия — а потом рабами церкви.

Мадам де В*** колебалась между первыми двумя эпохами: румянец ее быстро блекнул — ей следовало сделаться деисткой за пять лет до того, как я имел честь сделать ей свой первый визит.

* святоша (*фр.*).

Она посадила меня рядом с собой на диван, чтобы таким образом вплотную обсудить вопрос о религии. — Словом, мадам де В*** призналась мне, что она ни во что не верит.

Я сказал мадам де В***, что пусть таковы ее убеждения, но я считаю, что не в ее интересах срывать форпосты, без которых для меня непонятна возможность защиты такой крепости, как та, которой владеет она, — что для красавицы нет более опасной вещи на свете, чем быть деисткой, — что мой долг человека верующего запрещает мне скрывать это от нее — что не просидел я и пяти минут на диване рядом с ней, как уже начал строить замыслы, — и что же, как не религиозные чувства и убеждение, что они теплятся и в ее груди, могло задушить эти нечистые мысли в самом их зародыше?

— Мы не каменные, — сказал я, беря ее за руку, — и мы нуждаемся во всевозможных средствах обуздания, пока к нам не подкрадется в положенное время возраст и не наденет на нас своей узды, — однако, дорогая леди, — сказал я, целуя ей руку, — вам еще слишком — слишком рано —

Могу смело утверждать, что по всему Парижу про меня пошла слава, будто я вернул мадам де В*** в лоно церкви. — Она уверяла мсье Д*** и аббата М***, что я за полчаса больше сделал в пользу религии откровения, чем вся Энциклопедия сказала против нее. — Я был немедленно принят в Coterie* мадам де В***, — и она отсрочила эпоху деизма еще на два года»¹⁴⁶.

* Круг близких знакомых (фр.).

Упомянутый в этой цитате аббат М*** — экономист, деятельный сотрудник Энциклопедии аббат Морелле, а мсье Д*** — разумеется, Дени Дидро. С последним Стерн познакомился и подружился в салоне Гольбаха. Французский энциклопедист искренне восхищался романом Стерна. Получив в подарок первые шесть томов «Тристрама Шенди», Дидро пишет Софи Воллан (7 октября 1762 г.): «Эта книга, столь взбалмошная, столь мудрая и веселая, — настоящий английский Рабле... Это всеобщая сатира — иного понятия о ней дать невозможно»¹⁴⁷. (Здесь он совпал с Вольтером — или повторил его? — ведь и Вольтер называл Стерна «вторым английским Рабле», первым для него оставался Свифт.)

Помимо своего подарка Стерн выписывает для Дидро из Лондона массу книг: полные собрания сочинений Джона Локка и Александра Поупа, проповеди Тиллотсона, сочинения Чосера и пьесы популярного в то время поэта и драматурга Колли Сиббера. Имя Дидро числится среди подписчиков на третий и четвертый томы проповедей Стерна.

Однако Стерн, ценивший Дидро как друга и собеседника, довольно холодно отнесся к его творчеству. Дело в том, что ко времени их знакомства еще не были написаны ни «Жак-фаталист», ни «Племянник Рамо» — произведения, при всей их самобытности написанные не без ощутимого влияния творчества Стерна. А «мещанские драмы» Дидро, — с одной из них, «Побочным сыном», он познакомился в переводе Элизабет Гриффит, — оставили его равнодуш-

ным, о чем он пишет Гаррику: «В ней <пьесе — К. А.> слишком много чувства (по крайней мере, на мой взгляд), речи действующих лиц слишком длинные и слишком сильно отдают проповедью — может быть, это тоже одна из причин, почему она мне не по вкусу. — Всё — любовь, любовь, любовь, — с начала до конца, без четкого разграничения характеров...»¹⁴⁸ В этой, казалось бы, неожиданной для священника и сентименталиста оценке была своя внутренняя логика.

В тот же приезд Стерн знакомится и с Кребийоном-сыном, автором гривуазного романа «Заблуждения сердца и ума», упомянутого в «Сентиментальном путешествии». Стерн пишет Гаррику, что они с Кребийоном даже заключили «соглашение, которое, если он не слишком тяжел на подъем, окажется недурным *persiflage* — он взялся написать мне, как только я приеду в Тулузу, укоризненное письмо относительно непристойностей Т. Шенди, — на которое должен последовать ответ в форме встречного обвинения, направленного против вольностей в сочинениях самого Кребийона, — оба письма предполагается напечатать вместе — Кребийон против Стерна — Стерн против Кребийона, — рукопись мы продадим, а деньги разделим пополам. — Хороший образец швейцарской политики»¹⁴⁹. Это так и осталось лишь намерением — то ли из-за лени Кребийона, то ли из-за того, что он не в состоянии был прочесть по-английски «Тристрама Шенди».

Легкий, веселый характер, всегда готовый к *persiflage*, несомненно помогал Стерну переносить и недуги, и огорчения. Вот он пишет Гар-

рику 19 марта: «...да будет вам известно, я шендианствую здесь в пятьдесят раз усерднее, чем обычно, говорю больше ерунды, чем вы когда-либо слышали от меня в ваши дни, — притом людям всякого сорта <...> Я делаю тысячу вещей, которые чего-нибудь стоят, *лишь пока их делаешь*, — и, как и в Лондоне, я имел честь сделать и сказать тысячу вещей, которых никогда не делал и о которых даже не мечтал, — хотя фантазия у меня очень богатая»¹⁵⁰.

Задолго до поездки во Францию Стерн самостоятельно изучал французский язык. Однако изъяснялся на нем неважно. Многие французские словечки, а ими пестрит «Сентиментальное путешествие», имеют ошибки в написании, которые, однако, бережно сохраняются при издании (и, соответственно, при нашем цитировании, — прошу заметить ученого читателя!).

Ричард Фелпс, с которым Стерн много общался в свой первый приезд в Париж, писал их общему приятелю Генри Эгертону: «Тристрам настолько оправился, что за один день болтает на дурном французском больше, чем здравомыслящий человек сказал бы за месяц. Где бы он ни был, он болтает *à trot et à travers** с каждым, кому случится оказаться рядом с ним... Однако всем известно, что Тристрам — великий гений для своей страны, и, возможно, был бы таким и для французов, если б научился языку, прежде чем разевать рот»¹⁵¹.

Надо признать, что и в *английском* правописании Стерн подчас совершал ошибки. В этом не

* *Здесь*: наобум Лазаря (*фр.*).

было ничего исключительного. Правила правописания лишь устанавливались, и прежде всего благодаря знаменитому «Словарю» Сэмюэла Джонсона, о котором уже говорилось. Однако такой стилист и пурист, как лорд Честерфилд, еще до публикации словаря писал сыну: «Я должен сказать тебе, что орфография в истинном смысле слова абсолютно необходима и для писателя, и для джентльмена, так как одна ошибка в правописании может сделать его смешным на всю жизнь. Я знаю высокопоставленного человека, который никогда не мог избавиться от насмешек за то, что написал “wholesome” без “w”»¹⁵².

Но Стерна такие мелочи не смущали. 19 апреля он снова пишет Гаррику: «Я шендианствую больше, чем когда-либо, и искренно убежден, что при помощи одного только шендианства, просветленного этим любящим смех народом, я столь же успешно обороняюсь от моих немощей, как и при помощи благотворного действия воздуха и климата»¹⁵³.

Одна из таких «шендианских» (а может, лучше «шендистских»?) выходов рассказана в «Мемуарах» Луи Дютена, француза, приехавшего в Париж из Турина и приглашенного 4 июня на обед к лорду Тейвистоку по случаю дня рождения Георга III (в Англии учрежден официальный день рождения монарха, который празднуется в первой половине июня). Присутствовали и несколько англичан, среди которых был Лоренс Стерн, и гости из Турина. По принятой во Франции манере гостей усадили за стол, не представив друг другу.

Луи Дютен так описывает этот обед: «Я сидел между лордом Беркли, который намеревался поехать в Турин, и знаменитым Стерном, автором “Тристрама Шенди”, которого называли английским Рабле. Разговор за обедом шел оживленный. Мы выпили по поводу праздника, и разговор зашел о Турине, куда кое-кто из гостей собирался поехать. Тут Стерн, обращаясь ко мне, спросил, знаю ли я месье Дютена. Я ответил: “Да, прекрасно знаю”. Все рассмеялись, и Стерн, не подозревавший, что сидит рядом с месье Дютеном, вообразил, что он какой-то необычный тип, раз одно упоминание его имени вызывает такое веселье. “Довольно странная личность, не так ли?” — тут же добавил он. “Да, — ответил я, — большой оригинал”. — “Я так и думал, — продолжал он, — я слышал, что о нем говорят”. И он тут же набросал мой портрет; я подтвердил сходство; тогда Стерн, увидев, что тема эта развлекает гостей, сочинил тут же массу историй и рассказал их на свой лад, чем очень нас всех развеселил.

Я ушел первым, и не успела за мною закрыться дверь, как ему сказали, кто я такой. Его убедили, что я сдержался из уважения к лорду Тейвистоку, но что я, возможно, не оставлю обиду безнаказанной и на следующий день потребую сатисфакции за его неподобающие выражения. Он понял, что его шутки зашли слишком далеко, и теперь ему было уже не смешно. Так что на следующее утро он пришел ко мне и попросил извинения за все обидные слова, которые наговорил обо мне. Он объяснил свой поступок сильнейшим желанием развлечь компанию, ко-

торая так развеселилась при первом же упоминании моего имени. Я сразу же прервал его извинения, заверив его, что веселился не менее остальных гостей, и что он не сказал ничего такого, что могло бы обидеть меня, и что если б он знал человека, о котором говорил, так же хорошо, как я его знаю, он мог бы гораздо худшие вещи рассказать о нем. Он был в восторге от моего ответа, предложил мне свою дружбу и ушел очень довольный нашим разговором»¹⁵⁴.

В эту поездку по заказу герцога Орлеанского был сделан еще один известный портрет Стерна — небольшая акварель в полный рост, выполненная Луи Кармонтелем. Стерн стоит, опершись о кресло на террасе дворца, за его спиной слегка намечена панорама Парижа с куполом Дома Инвалидов.

Безоблачную парижскую жизнь омрачили известия из Йорка, где на время его отсутствия жили его жена и дочь. Здоровье Лидии, которая уже третий год страдала от астмы, заметно ухудшилось. Стерн, заручившись согласием архиепископа Йоркского и лорда Фоконберга, решает вызвать свою семью в Париж, а затем провести с ними лето на юге Франции, в Тулузе, где «более теплый и мягкий воздух». «На этой неделе еду в Версаль с визитом к графу Шуазелю, чтобы выхлопотать для жены и дочери паспорта. — Если это удастся, они приедут ко мне сюда — и через месяц мы все двинемся на юг Франции, — если нет, я увижусь с вами в июне»¹⁵⁵, — пишет он Гаррику.

Мы уже поняли из Памятной записки, оставленной миссис Монтэгю при отъезде во Фран-

цию, каким здравомыслящим и предусмотрительным мог быть этот шендианец. В инструкциях, которые он с каждой почтой посылает жене, готовящейся к поездке, он проявляет необычайную для мужчины способность вникать в любую хозяйственную мелочь. «Привези свой серебряный кофейник, — в нем можно подавать воду, лимонад, не говоря уж о кофе и шоколаде», «Лидии надо иметь два легких negligé — а вам понадобится одно или два платья; — что же касается цветного полотна, так купите его в Лондоне, английское полотно тут больше ценится, чем французское. — Миссис Хьюит пишет мне, что я ошибаюсь, думая, будто в Тулузе шелк можно купить дешевле, чем в Париже, и советует вам купить его, сколько вам нужно, здесь, — где он очень красив и дешев, то же самое блонды, газ и т. д. — Вещи эти, повторяю, обойдутся в шестьдесят гиней, — и иметь их вам необходимо...»¹⁵⁶

В другом письме (он отправлял их с каждой почтой): «Не забудь про цепочки для часов, купи парочку для мужских <...> Здесь плохие булавки и отвратительные иголки — купи для себя и для подарков <...> Чуть было не забыл очень важную вещь: во Франции нет медных чайников, а нам такая вещь будет весьма удобна — купи хороший крепкий чайник вместимостью в две кварты — чаепитие будет хорошим отдыхом в нашем путешествии на юг — у меня есть бронзовый чайник, я его тоже беру с собой — так как фарфоровый из Англии не привезешь, нам и нашим друзьям в Тулузе придется довольствоваться таким гнусным чаепитием»¹⁵⁷.

Со второй половины XVIII века чаепитие превратилось в национальный обычай англичан. Чай даже стал соперничать с элем и джином. Если в царствование Карла II лондонцы заходили в кофейни, чтобы побаловать себя экзотическим напитком, привозимым Ост-Индской компанией, то к восшествию на престол Георга III люди всех сословий могли позволить себе домашнее чаепитие. Правда, Артур Юнг жаловался в 1767 году, что «на чай и сахар расходуется столько лишних денег, что их хватило бы на хлеб для четырех миллионов подданных»¹⁵⁸.

Контрабандная торговля чаем велась в огромных масштабах, пока Питт Младший не снизил пошлины на его ввоз. Уже упоминавшийся преподобный Вудфорд записал в дневнике за 29 марта 1777 года: «Контрабандист Эндрюс принес мне этой ночью, около 11 часов, мешок зеленого чая весом в 6 фунтов. Он нас немного испугал свистом под окном гостиной как раз тогда, когда мы ложились спать. Я дал ему джина и заплатил за чай 10 шиллингов 6 пенсов за фунт»¹⁵⁹.

Судя по всему, с ввозом и вывозом табака тоже были проблемы. Стерн пишет жене, которая любила побаловаться нюхательным табаком: «Вы должны быть осторожны с шотландским табаком — положи полфунта в карман, и пусть Лидия сделает то же самое». Сам Стерн с его легкими, разумеется, не курил и не нюхал табак. Об этом знаем из его писем: «Но, высказывая догадку насчет курения табаку, вы печально заблуждаетесь, — пишет он в Женеву мистеру Брауну, — не потому, чтобы ваша догадка была пло-

хая, а потому, что мозги у меня плохие — они не переносят табаку, поскольку под действием табачного дыма мои выдумки зреют слишком быстро, так что все они обратились бы в гнилушки прежде, чем я успел бы как следует их подать...»¹⁶⁰.

Жена и дочь прибыли в Париж 8 июля. Стерн встретил их в не очень-то бодром здравии. Уже из Тулузы он писал Холлу-Стивенсону: «За неделю или за десять дней до приезда моей жены в Париж у меня повторился случай, который был в Кембридже: — лопнул какой-то сосуд в легких. Произошло это ночью, и я залил кровью всю постель; убедившись утром, что я могу совсем истечь кровью, я немедленно послал за хирургом, чтобы он отворил мне кровь на обеих руках, — это меня спасло и, пролежав три дня в постели безгласным трупом, я поправился; лопнувший сосуд зажил, и через неделю я встал. — Болезнь эта в соединении с моей слабостью и суматохой кругом напомнила мне, что давно пора выезжать в Тулузу»¹⁶¹.

ТУЛУЗА И МОНПЕЛЬЕ

Июль 1762 — май 1764

С первого же дня по приезде сюда непрерывно
воюю с горячками, лихорадками и врачами.

Л. Стерн. Из частного письма

Дорога на юг в разгар лета (они двинулись в путь 19 июля) оказалась тяжелее, чем Стерн беспечно предполагал. «Праведный Боже! Нас всю дорогу пригревало, жарило, пекло, парило, калило то с одного боку, то с другого — и отделанные таким образом (*assez cuits**) днем, мы пожираемы были по ночам клопами и прочей невыметенной нечистью, законными обитателями каждой гостиницы»¹⁶², — пишет он в Париж своему банкиру Фоли. Некоторые моменты этой поездки, например, разбитая карета, послужили материалом при работе над «Сентиментальным путешествием».

В Тулузе их уже ожидал дом, услужливо снятый аббатом Маккарти, с которым его познакомил Холл-Стивенсон, о чем он вскоре по приезде пишет в Англию «кузону Энтони» и, более подроб-

* достаточно пропекшиеся (*фр.*).

но, в Париж мистеру Фоли: «Однако после всех злоключений мы здесь, дорогой друг, — и восхитительно устроились на краю города, в превосходном, хорошо обставленном доме, и гораздо более элегантно, чем я ожидал. — Он построен в форме барского особняка с красивым двором в сторону города, — а позади него разбит извилистыми аллеями лучший в Тулузе сад, такой большой, что общество из нашего квартала обыкновенно приходит туда гулять по вечерам, с моего согласия — “чем больше народа, тем веселей”. — Дом состоит из хорошей *salle à manger** в верхнем этаже, рядом с которой очень просторная *salle à compagnie*** , такой же величины, как у барона д’Ольбаха, и три хорошеньких спальни с туалетными, — в нижнем этаже две прекрасные комнаты отведены мне: — одна для занятий, другая для приема гостей. — Кроме того, в моем распоряжении погреба кругом двора и все прочие службы. — Я договорился с моим хозяином о праве пользоваться его деревенским домом, расположенным в двух милях от дома <...> и как вы думаете, сколько я должен за все это платить? — Ни больше ни меньше как тридцать фунтов в год — все прочее в такой же степени дешево...»¹⁶³ В письме к Холлу Стерн добавляет: «Я достал хорошую кухарку, — моя жена — приличную *femmedechambre* ихорошего навидла *quaïs****»¹⁶⁴.

Однако только было он взялся за продолжение «Тристрама», как заболел в сентябре лихо-

* столовая (*фр.*).

** гостиная (*фр.*).

*** горничная... лакей (*фр.*).

радкой, о чем, уже *post factum*, сообщает Холлу-Стивенсону: «...В течение шести недель сряду <...> я, как мне казалось, путешествовал на тот свет, — я заболел скверной эпидемической лихорадкой, убившей вокруг меня сотни людей. — Здешние врачи — самые отъявленные шарлатаны в Европе или самые невежественные из всех самонадеянных глупцов, — я вырвал у них из рук то, что еще от меня осталось, и всецело доверил судьбу свою госпоже Природе. — Она (милостивая богиня) пятьдесят раз меня спасала в разнообразных отчаянных положениях, так что я становлюсь ее восторженным поклонником <...> Теперь я снова здоров и дурашлив, как только может себе пожелать счастливый человек, — и занят тем, что дурачусь с дядюшкой Тоби, который у меня по уши влюбился. — Я полон мыслей и планов относительно других работ; тут, надеюсь, все пойдет так, как мне желательно»¹⁶⁵.

Как видно из письма, он работает над той частью романа, которая при публикации составит восьмой том. Седьмой же том, содержащий путешествие по Франции взрослого Тристрама, вероятно, тогда задумывался как отдельное произведение.

Конец 1762 года Стерн проводит в Тулузе в окружении друзей-англичан весело и безмятежно: «Мы здесь зажили чрезвычайно весело и собираемся вместе каждый вечер — игра на скрипке, смех, пение и всякие шутки»¹⁶⁶. Упомянутся даже любительские спектакли: «На ближайшей неделе мы играем с большим оркестром “Хлопотуна”, а через неделю — “Поездку в Лон-

дон”, но у меня возникает мысль приспособить эту пьесу к нашему положению и обратить ее в “Поездку в Тулузу”, чего легко можно будет достигнуть, переделав пять-шесть сцен»¹⁶⁷.

К весне 1763 года Стерн, однако, был в депрессии, прежде всего из-за финансовых затруднений. Значительная часть тиража пятого и шестого томов оставалась еще не распроданной. Со времени отъезда из Лондона миссис Стерн и до апреля 1763 года Беккет продал лишь 182 комплекта. А доходов от пребенды и приходов, при всей хваленной дешевизне тулузской жизни, разумеется, не хватало. В конце апреля Стерн просит кредита у Фоли, но его письмо остается без ответа. 21 мая он вынужден обратиться к своему банкиру вторично: «Меня крайне огорчило, что вы не ответили на мое письмо, тем более что я сообщил, что деньги нужны нам для переезда в Баньер, — и я настолько не ждал, что вы откажете в этой любезности, что вот уже восемь дней, как мы упаковали все вещи и ежечасно ждем получения от вас письма. — Быть может, мой добрый друг ждет, пока он получит деньги из Лондона, — но, заверяю вас честью — что все деньги вашего банка (и всех банков Европы вместе взятых) не соблазнят меня пообещать то, что *не будет исполнено*... Мистер Рей в Монпелье, хоть я и не знаю его лично, однако он знает меня настолько, что предоставил кредит на две недели на сумму в десять раз большую... Но, в конце концов, я от души прощаю вас, ибо вы преподали мне урок смирения и <...> я собираюсь, следуя ему, разбогатеть»¹⁶⁸.

Беспокоил и творческий кризис. Работа над «Тристрамом» и подготовка очередного издания проповедей буксовали.

В майском письме 1763 года архиепископу йоркскому Драммонду содержится неявно высказанная просьба, ввиду состояния здоровья, разрешить ему отказаться от церковной деятельности, сохранив, однако, доходы от приходов: «...с первого же дня по приезде сюда непрерывно воюю с горячками, лихорадками и врачами, — первые привели мою кровь в такое бедственное состояние, что врачи нашли необходимым обогатить ее крепкими бульонами, крепкие бульоны и *soupes à santé** бросили меня в лихорадку, лихорадка привела к потере крови, а потеря крови вызвала горячку, — словом, <...> жалкое мое естество прошло весь круг жестоких потрясений; сколько их оно может выдержать еще, прежде чем его постигнет последнее великое испытание, Господь ведает — подобно остальным особям человеческой породы, я буду оборонять его до последнего издыхания. Теперь мне советуют попробовать целебную силу вод Баньера, и потому я собираюсь, как библейский патриарх, раскинуть стан со всеми домочадцами на склонах Пиренеев этим летом, а зимою — в Ницце; оттуда возвращусь весной в Англию, в таком состоянии боюсь, что никогда уже не буду годен для церковной службы, по крайней мере, в качестве проповедника»¹⁶⁹.

* оздоровительные супы (*фр.*).

С середины июня и до сентября семья Стернов живет в Баньере. Однако разреженный воздух этого пиренейского курорта лишь ухудшил состояние его легких.

Покинув Баньер, Стерн побывал в нескольких местечках на юге Франции в поисках благоприятного климата и остановил, в конечном счете, свой выбор на Монпелье. В этом городе он поселился в конце сентября 1763 года с расчетом провести зиму.

О жизни в Тулузе и Монпелье пишет Холлустивенсону мсье Толло, джентльмен из Женевы, с которым Стерн познакомился в Париже: «Мы прибыли вчера в Монпелье, где встретили Вашего друга мсье Стерна, его жену, его дочь, мсье Хьюита и еще нескольких англичан; признаюсь Вам, я был рад увидеть вновь доброго и милого Тристрама... Он долгое время пробыл в Тулузе, где, вероятно, хорошо проводил бы время, если бы не его жена, которая следовала за ним повсюду и хотела всюду совать свой нос. Такое стремление этой доброй женщины доставило ему немало неприятных минут; он переносит все эти неприятности с ангельским терпением»¹⁷⁰.

В ноябре в Монпелье ненадолго заехал и Смоллетт. Он в сопровождении жены и еще двух англичанок направлялся из Парижа в Ниццу, однако, сделав довольно большой крюк, посетил Монпелье, чтобы спросить совета у тамошнего знаменитого врача Антуана Физе. Не желая личной встречи с врачом, который славился своей заносчивостью, Смоллетт обратился к нему с длинным письмом на латыни и, к своему глубочайшему возмущению, получил не менее длин-

ный ответ, написанный по-французски. Смоллетт решительно отверг диагноз врача и стандартный способ лечения, состоящий из крепких бульонов и ослиного молока, и назвал этого светоча медицины подлецом и шарлатаном.

Подробности пребывания в Монпелье, а также зарисовки этого города и его жителей Смоллетт включил в свою книгу «Путешествие по Франции и Италии». В ней нет упоминаний о его встрече со Стерном. Возможно, ее и не было. Едва ли после всех ожесточенных нападков на «Тристрама» в издаваемом Смоллеттом «Критикл ревью» оба писателя стремились к личному общению. Хотя как это возможно в небольшом городе, если сам Смоллетт пишет: «На следующий день нам нанесли визит жившие здесь англичане, которые всегда оказывают подобную честь вновь прибывшим соотечественникам. Всего в городе четыре или пять английских семей, общаясь с которыми я надеюсь приятно провести зиму. Если, разумеется, не помешает здоровье или по каким-то причинам срочно не придется уехать»¹⁷¹. Стерн, вероятно, не ходил на поклон, но Смоллетт упоминает в «Путешествии» миссис Стерн, которая рассказала ему об одном их соотечественнике, больном чахоткой, который безуспешно лечился у местной знаменитости. Узнав, что среди английской колонии есть чахоточный больной, Смоллетт, смертельно боявшийся заразы, поспешно покинул Монпелье.

Возможно, именно изданное в 1766 году двухтомное «Путешествие по Франции и Италии» подало Стерну идею описать собственные путе-

шествия под почти таким же названием — добавив лишь очень важный эпитет: «*Сентиментальное* путешествие по Франции и Италии». Тут уж Стерн не упустил возможности поквитаться с издателем «Критикл ревью», изобразив его под именем Смельфунгуса, что означает «воняющий плесенью» (Стерн при публикации еще смягчил свой сарказм: в первой редакции Смоллетт был назван Смельдунгус, то есть «воняющий дермом»). «Ученый Смельфунгус совершил путешествие из Булони в Париж — из Парижа в Рим — и так далее, — но он отправился в дорогу, страдая сплином и разлитием желчи, отчего каждый предмет, попадавшийся ему на пути, обесцвечивался или искажался. — Он написал отчет о своей поездке, — но то был лишь отчет о его дурном самочувствии»¹⁷².

Мизантропия Смоллетта ощущается и в описании Монпелье. «Стояла невыносимая жара, когда мы приехали в Монпелье и расположились в Cheval Blanc*, считающейся лучшей auberge** в городе, хотя в действительности это самая что ни на есть вонючая дыра, обитель мрака, грязи и обмана. <...> Сам же по себе город невелик, раскинулся он на склоне горы, над Средиземным морем, которое находится всего в трех лигах к югу; по другую сторону протянулась до самых Севенских гор живописная равнина. Город считается уютным еще и тем, что у французов называется bien percée***, тем не

* Белая лошадь (фр.).

** гостиница (фр.).

*** хорошо спланированный (фр.).

менее улицы здесь в основном узкие, дома темные. Здешний воздух сух, разрежен и потому считается полезным для катаральной чахотки, однако при легочных нарывах ездить сюда не рекомендуется»¹⁷³.

Здесь, в Монпелье, ввиду стесненных обстоятельств, Стерны арендуют уже не особняк, как в Тулузе, а апартаменты, за 3 гинеи в месяц; питание, не считая вина, обходилось около 10 ливров в день, а местное вино было очень дешево.

В середине января 1764 года – новый приступ болезни в результате простуды. «Я жестоко потерпел в этой схватке со смертью, – пишет Стерн в Париж мистеру Фоли, – но, если пророческий дух меня не обманывает, – я не умру, но буду жить, – а тем временем, дорогой Фоли, давайте жить как можно веселее и простодушнее. – Такая жизнь для меня всегда была не хуже, если не лучше, епископского сана – и другой я не желаю»¹⁷⁴.

В целом пребывание Стерна на юге Франции нельзя назвать удачным: повторяющиеся приступы болезни, финансовые затруднения и, возможно, главное, творческий кризис. В Монпелье он не написал ни одной главы романа. Похоже, что «Тристрама» он мог писать лишь в Англии, в тиши своего коксуолдского Шенди-Холла.

Врачи наконец признали, что «резкий воздух Монпелье» не полезен для его легких («Если вы останетесь здесь дольше, сэр, это будет для вас роковым». – Почему же, добрые люди, вы не сооблаговостили сказать мне это раньше?» – возмущенно вопрошает он в письме «своей остроум-

ной вдове», давней знакомой миссис Фергюсон и с юмором сообщает о тамошних рецептах лечения: «Врачи почти отравили меня тем, что они называют *bouillons rafraîchissants** — это живьем выпотрошенный и сваренный с маком петух, которого потом толкут в ступе и пропускают сквозь сито. — Туда кладут еще рака, и меня серьезно уверяли, что он должен быть самцом — самка принесла бы мне больше вреда, чем пользы»¹⁷⁵.

Оставив по их желанию (правда, с большой неохотой) жену и дочь на юге Франции, он в начале марта двинулся в обратный путь. «Если не считать слезинки при расставании с моей замарашкой, я буду в самом приподнятом состоянии, и каждый шаг, приближающий меня к Англии, окажется, я думаю, целительным для измученного моего тела»¹⁷⁶, — пишет Стерн в том же письме.

«Замарашкой» Стерн с нежностью назвал свою дочь, предстоящая разлука с которой не на шутку огорчала его.

В середине марта Стерн был уже в Париже. Он поселился вместе с Толло и Томасом Торнхиллом (именно у него Стерн купил, отправляясь на юг, ту самую карету, которая «развалилась на тысячу кусков», немного не дотянув до Лиона) и его младшим братом в Отеле д'Этанж на рю Турнон. Неподалеку, на другом берегу Сены жил Джон Уилкс, недавно изгнанный из Палаты общин. С ним Стерн довольно часто встречался.

Сделаем еще один стернианский зигзаг — колоритная фигура Джона Уилкса стоит того. В молодости один из членов «Клуба адского ог-

* освежающие бульоны (*фр.*).

ня», он прожил долгую жизнь, полную скандальных историй, превратностей и приключений. О клубе тоже стоит сказать пару слов, так как он был, вполне возможно, помимо Телемской обители, примером для «бесноватых», собиравшихся в Свихнувшемся замке. Официально клуб, основанный лордом Фрэнсисом Дэшвудом, назывался весьма почтенно: «Орден рыцарей св. Франциска Уайкумского».

Сборища проходили сначала в принадлежавшем Дэшвудам Медменхемском аббатстве. Профанация религиозных обрядов, черные мессы в масках и маскарадных костюмах, с участием местных путан, одетых монахинями, — все это получило скандальную огласку, и встречи пришлось перенести в меловые пещеры Уэст Уайкума, поблизости от фамильного склепа Дэшвудов. Во время одной из таких месс, включавшей призыв сатаны, Джон Уилкс впустил в затемненное помещение бабуина, который, напуганный не меньше людей, бросился на спину лорду Сэндуичу, вершившему обряд, и повалил его.

Возможно, именно эта проделка, не забытая лордом, дорого обошлась в дальнейшем Джону Уилксу.

Современники утверждали, что он был исключительно уродлив и косоглаз, но неотразимо остроумен. Когда, позднее, злопамятный лорд Сэндуич предрек ему смерть либо от сифилиса, либо на виселице, он тут же парировал: «Это будет зависеть, милорд, от того, получу ли я вашу любовницу или же ваши убеждения».

Из Палаты общин, в которой он заседал, Уилкс был изгнан за участие в дуэли и за непри-

стойную поэму «Опыт о женщине» (Essay on Woman) — пародию на поэму Александра Поупа «Опыт о человеке» (Essay on Man), — без английских названий тут не обойтись: пропадет игра слов. В конце 1763 года он уехал в Париж, где и оставался до 1768 года. В Англии Уилкс был заочно судим и объявлен вне закона.

Однако, вернувшись на родину и отсидев два года в тюрьме, он вновь пошел в гору — стал мэром Лондона, а в 1774 году вернулся в Палату общин.

Как увидим в дальнейшем, Уилкс, после своего возвращения в Англию, общался не только со Стерном, но также с его женой, дочерью и Элайзой Дрейпер.

Присоединился к их парижской компании и еще один изгнанник — якобит Лоусон Троттер, а также юный Стивен Фокс, с которым Стерн был коротко знаком еще с первых дней в Париже.

Со времени подписание мира с Францией сильно возросло число англичан, живущих в Париже. Сменился и британский посол, им стал щедрый и гостеприимный граф Хертфорд.

В его новой резиденции — Отеле де Лоранье неподалеку от Лувра — регулярно собирались все сливки общества. Атмосфера была весьма терпимая: принимали и Троттера, и даже опального Уилкса. Первую службу в новой домово́й церкви посольского особняка попросили провести Стерна. Он подробно описал это событие в письме, опубликованном в сборнике писем, изданных приятелем Стерна Уильямом Кумом в 1788 году. Среди публикаций сборни-

ка было много подделок, однако это письмо, по мнению известного стерноведа Л. П. Кёртиса, скорее всего, подлинное: «И вот на мою долю выпало, иными словами, меня попросили, сказать проповедь в день первой службы в домашней церкви нового особняка. — Послание было мне принесено, когда я сидел за чинной игрой в вист с Торнхиллами, и оттого ли, что меня довольно резко оторвали от моего послеобеденного развлечения, чтобы готовиться к проповеди, которую предстояло произнести на следующий день, или по какой-либо иной причине, не берусь определить, но только мной овладел несчастный порыв, с которым, вы знаете, я не в силах бороться, — и в голову пришел весьма неудачный текст, с чем вы согласитесь, когда его прочитаете.

“И сказал Езекия пророку: показал я им сосуды мои золотые и серебряные, и жен моих, и наложниц моих, и масти дорогие, и все, что было в доме моем, показал я им; и пророк сказал Езекии: ты поступил весьма безрассудно”.

Но поскольку текст этот составляет часть Священного Писания, он не мог заключать ничего неприличного, хотя порочные умы подчас расположены исказить его пакостными своими кривотолкованиями. — Что же касается самой проповеди, то ничего не могло быть невиннее, и Дэвид Юм почтил ее своим благосклонным одобрением»¹⁷⁷.

С философом и историком Дэвидом Юмом Стерн познакомился именно в этот приезд в Париж у лорда Хертфорда. Юм стал новым секретарем посла и не меньшей знаменитостью

в парижских салонах, чем был в свой первый приезд Лоренс Стерн. Забавная, но отнюдь не ожесточенная пикировка философа и писателя по поводу интерпретации чудес, упомянутых в проповеди, дала повод для ложных слухов, в связи с чем Стерн писал Уильяму Куму в июле 1764 года: «История, которую вам рассказали, дорогой друг, с такой претензией на достоверность, подобно многим другим историям, — полнейшая выдумка. Мистер Юм и я никогда в жизни не вступали в спор, — я хочу сказать, серьезный раздраженный, ожесточенный спор. Более того, я был бы крайне удивлен, услышав, что Дэвид мог иметь неприятный разговор с кем бы то ни было. А если бы меня заставили поверить, что такое было, я был бы твердо убежден, что не прав его оппонент, потому что за всю свою жизнь я не встречал более мирного и нежного по натуре существа; и именно дружелюбие его характера придает значимость и силу его скептицизму в большей мере, чем все аргументы его софистики. Поверьте, что это именно так»¹⁷⁸.

Подтверждает кроткое «дружелюбие» Юма и эпизод на обеде лорда Хертфорда, включенный Стерном в «Сентиментальное путешествие»: «Один шустрый французский маркиз за столом у нашего посла спросил мистера Ю., не он ли поэт Ю. — Нет, — мягко ответил Ю. — Tant pis, — сказал маркиз.

— Это историк Ю., — сказал кто-то. — Tant mieux*, — отозвался маркиз. — Мистер Ю., чу-

* Тем хуже... Тем лучше (*фр.*).

десной души человек, сердечно поблагодарил его за то и за другое»¹⁷⁹.

Путаница произошла из-за того, что фамилия Дэвида Юма произносилась так же, как у поэта и драматурга Джона Юма, хотя писалась иначе.

Расскажем кое-что и об адресате письма, Уильяме Куме, человеку не столь гениальном, как Стерн и Юм, но тоже по-своему замечательном.

Долгая жизнь Кума – он прожил 82 года – была полна превратностей и приключений, достойных «плутовского романа», поэтому его иногда называют «английским Лесажем». Сын богатого бристольского коммерсанта, получивший к тому же большое наследство от дяди, воспитанник Итона, Кум до тридцати лет вел рассеянную жизнь светского денди, законодателя мод и вкусов в самых аристократических кругах.

Со Стерном Кум познакомился в 1764 году во Франции и поддерживал с ним дружеские отношения в дальнейшем. Сохранилось три письма ему Стерна, которые считаются подлинными, – остальные подделки, сфабрикованные Кумом.

С 1768 года Кум живет на родине, в Бристоле, окружив себя необычайной роскошью. К зиме 1769–1770 годов он промотал свое огромное состояние и вынужден был записаться рядовым в армию, потом сменил множество отнюдь не джентльменских профессий: прислуживал в трактире, выступал с труппой провинциальных актеров, служил во французской армии, был поваром в монастыре на севере Франции...

В 1771 году Кум возвращается в Англию и начинает зарабатывать на жизнь литературным

трудом. И весьма продуктивным. С 1773 по 1823 год он участвовал как автор или редактор в создании 100 книг, сотрудничал в 20 журналах и, если верить его записным книжкам, написал для этих журналов и газет более 2000 колонок текста. Ему принадлежат стихи, лирические и сатирические, сентиментальный стернианский роман «Философ в Бристоле» (1775), многочисленные имитации и подделки, некоторые из которых связаны с именем Стерна — «Письма, предположительно написанные Йориком Элайзе» (1779) и «Подлинные письма покойного преподобного мистера Лоренса Стерна» (1788).

Однако в историю литературы Кум вошел прежде всего как автор сатирической поэмы «Путешествие доктора Синтаксиса в поисках Живописного». История создания поэмы напоминает историю создания Диккенсом «Пиквикского клуба». Известный карикатурист Томас Роуландсон задумал сделать серию комических рисунков с главным героем, занятым поиском живописных уголков старой Англии, с замками и руинами, которые тогда вошли в моду. Куму было предложено написать текст к картинкам. Но, как это случилось позднее и с «Пиквикским клубом», текст оттеснил рисунки на второй план и стал главенствующим элементом книги, выдержавшей с 1812 по 1819 год девять переизданий.

И если Тристрам Шенди в свое время дал имя модному танцу и карточной игре, то Доктор Синтаксис в изображении Роуландсона красовался на чайных чашках и дал имя тростям и шляпам.

Заметим к слову, что задолго до публикации «Доктора Синтаксиса» уже высмеивалась распространившаяся в Англии середины XVIII века мода на «живописное», в частности, на искусственные руины в садово-парковой архитектуре. В пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмена «Тайный брак» один из персонажей восклицает: «Ах, руины, милорд! Они у меня первоклассные. Вам будет казаться, что они вот-вот обрушатся на вашу голову. Мне недавно обошелся в сто пятьдесят фунтов такой ремонт моих руин»¹⁸⁰.

15 мая, месяца через два после приезда в Париж, Стерн пишет Лидии: «Я примирился с тем, что ты остаешься во Франции — это было также желание твоей матери, — но я должен сказать вам обеим, что (если бы не состояние вашего здоровья) я бы желал взять вас с собой в Англию. — Я послал тебе “Зритель” и другие книги, в частности Метастазию; но я прошу тебя, дочка, читать первый, а последним пользоваться только для развлечения. — Надеюсь, ты не забыла моей просьбы не дружить с французскими женщинами — не потому, чтоб я дурно думал о них всех, но иногда женщины самых лучших правил являются наиболее вкрадчивыми — я же так болезненно дорожу твоей честью, что очень огорчился бы, обнаружив в тебе хотя бы крупницу кокетства. — У тебя есть довольно дела, — ведь я послал тебе также гитару. — Так как ты не имеешь никаких способностей к рисованию (хоть тебя и невозможно в этом убедить), то, пожалуйста, не трать на него времени попусту. — Не забывай писать мне как другу, — короче

говоря, обо всем, что придет тебе в голову, — тогда получится естественно...»¹⁸¹

Искренний, трогательно-заботливый отец, человек даже несколько ретроградных взглядов, что приличествует его сану. Таким он всегда оставался в отношениях с Лидией. Трудно поверить, что 19 мая, через четыре дня после этого письма, он напишет Холлу-Стивенсону:

Мой дорогой кузен,

Целый месяц мы ничего не делаем — только и говорим о том, что пора бы покинуть этот город соблазнов <...> Но все это лишь предисловие. Уже два месяца я охвачен самой пылкой страстью, какая только могла охватить пылкого влюбленного. Можете себе вообразить, дорогой кузен (а верней, не можете), как в течение всего первого месяца, всегда *hanché**, я фланировал по улицам от моего дома к ее — сначала два раза в день, затем — три, покуда, наконец, не дошло до того, что я чуть было не загнал своего конька ей в стойло на вековечные времена. Может, так оно было бы лучше, ведь враги рода человеческого не дремали и, как водится, богохульствовали в свое удовольствие. Последние же три недели мы каждый день исполняли с ней дуэтом скорбную песнь прощания — представьте, дорогой кузен, как это сказалось на моей походке и на внешнем виде: я ковылял, точно согбенный старик, лил слезы ей в унисон и *jouer des sentiments*** от рассвета до заката; теперь же она уехала на юг Франции и, чтобы закончить *comédie****, я заболел, у меня откры-

* с выставленным вперед бедром (*фр.*).

** играл в чувства (*фр.*).

*** комедия (*фр.*).

лось кровотечение, отчего я чуть не отдал Богу душу. *Voilà mon histoire!** <...> Итак, в четверг утром мы покидаем, наконец, эту чертову страну, — а впрочем, поносить ее мы никакого права не имеем, ведь мы, всем скопом, вели здесь существование самое веселое и беззаботное¹⁸².

* Вот моя история! (Фр.)

СНОВА В АНГЛИИ

Июнь 1764 — октябрь 1765

«Не отступление, но само произведение».

Л. Стерн. Тристрам Шенди

В четверг 24 мая 1764 года Стерн в компании Толло и Торнхиллов отправился в обратный путь. О его прибытии в Лондон сообщила «Ллойдс ивнинг пост» за 2—4 июня. Другие газеты охотно перепечатали это сообщение.

В Лондоне Стерн остановился у Торнхиллов в доме на Джон-стрит, неподалеку от Беркли-сквер. Этот лондонский визит был недолгим. За годы его отсутствия Стерна успели подзабыть. Последние томы «Тристрама» раскупались у Беккета плохо.

Многих старых друзей в это время года в столице не было: лондонский сезон закончился — он длится с января по май. Гаррик с супругой, бывшей венской танцовщицей Евой Марией Вейгель, с 1763 по 1765 годы путешествовали по Германии и Франции. На какое-то время Гаррик покинул «Друри-Лейн». Это было связано с так называемыми «театральными бунтами»,

вызванными отменой некоторых привилегий для небогатых посетителей театров.

Лондонские театры, такие, как «Друри-Лейн», посещала разношерстная публика — от аристократов до челяди. Аристократы занимали ложи, богатый средний класс стоял в партере (там не было сидячих мест), а на галерке располагались служащие и малоимущие, но и там билеты были для них непозволительной роскошью.

Так как театральный вечер состоял из основной пьесы, часто трагедии, и фарса или одноактной комедийной пьесы, то для зрителей, приходивших лишь на вторую половину представления, была установлена половинная цена на билет, что многих устраивало. Когда директора крупнейших лондонских театров договорились отменить эту практику, демократическая часть зрителей пришла в такое негодование, что готова была буквально разгромить помещения театров. В этот нестабильный период Гаррик и уехал за границу.

Переписка его со Стерном еще до этого на какое-то время прервалась по недоразумению — из-за плохой работы почты. Письма Гаррика в Тулузу до Стерна не дошли, а тот решил, что лондонский друг забыл о его существовании. Выяснив в Лондоне причину молчания, Стерн вновь пишет Гаррику на континент: «Ах, как я за вас радуюсь, видя, с каким нетерпением все ждут не дождутся вашего возвращения! — Вернитесь, вернитесь к тем немногим, кто вас любит, и к тем тысячам, кто вами восхищается! — В то мгновение, как вы ступите на подмостки вашего театра, — заметьте, я вам предсказы-

ваю, — оживленные некоей волшебной неодолимой силой, вновь затрепещут все фибры вашего сердца с такой же живостью и полнотою чувства, как и всегда»¹⁸³.

Надо сказать, что поездка на континент многое дала и самому Гаррику, и лондонскому театру, так как по возвращении на родину Гаррик «полностью переоборудовал освещение своего театра, построив его по тем же принципам, что в театрах Италии и Франции. Впервые в Англии он применил освещение рампы, глубины сцены, использовал рефлекторы, отбрасывающие свет в различные ее части. Помимо чисто зрительного эффекта введенные новшества позволили Гаррику свободно пользоваться всей площадью сцены»¹⁸⁴. Увеличила пространство сцены и его борьба с укоренившейся в английском театре традицией наличия сидячих мест прямо на сцене, что мешало и зрителям, и актерам.

Единственным памятным событием этого приезда Стерна в Лондон было позирование Рейнолдсу для нового портрета. Согласно записной книжке художника, Стерн посетил его 11 июня.

В конце июня Стерн был уже в Йорке, где вел светскую жизнь — скачки, посещение балов и концертов, общение с друзьями: Холлом-Стивенсоном, Толло, Хьюитом. Ближе к концу августа викарий недели на две заехал в свой приход, а затем вновь окунулся в развлечения — отправился в Скарборо, старейший английский курорт на севере Йоркшира, где в сентябре устраивались скачки. После праздной жизни во Франции трудно было возвращаться к работе.

Лишь в конце сентября Стерн все же осел в Коксуолде; в своей «философической хижине», и взялся за продолжение «Тристрама», к которому урывками обращался еще в Тулузе. Он пишет своему парижскому банкиру Фоли, что, по его расчетам, очередные два тома будут готовы к Рождеству; тогда «я снимаюсь отсюда и переносу свою главную квартиру в Лондон — если только мой кашель не погонит меня в вашу столицу — или, быть может, мне удастся убедить какого-нибудь *gros* милорда предпринять небольшое путешествие к вам — я тогда попробую дать ему почувствовать прелести *Tuileries*, *Opéra comique* и т. д.»¹⁸⁵.

Последние строки письма, возможно, требуют разъяснения. К тому же ровно через год, 20 сентября 1765 года, в письме уже к другому адресату, Стерн возвращается к той же мысли, и звучит она еще более загадочно: «Что же касается проекта достать медведя и водить его, то, я думаю, у меня довольно хлопот с самим собой — и как бы это ни было прибыльно (по вашим предположениям), я уверен, что удовольствия это мне не доставит. — Минуты жизни сосчитаны, и где уж мне расточать их для кого-нибудь другого»¹⁸⁶.

Речь идет о так называемом «большом турне» (*grand tour*). Такая поездка на континент в Англии XVIII века становится неотъемлемой частью образования джентльмена. Ею завершалось, если средства позволяли, обучение в университете. Причем молодых людей в такие поездки отправляли не одних, а в сопровождении опытного наставника, которому оплачива-

лись его путевые расходы. Это-то и называлось «водить медведя».

Однако к ноябрю Стерн написал лишь один том, посвященный амурам дяди Тоби и вдовы Водмен, — на два тома материала, точнее фантазии, не хватило. Сроки поджимали. Надо было везти рукопись в Лондон. И Стерн решает посвятить один из томов путешествию взрослого Тристрама по Франции. Возможно, кое-какой материал — не для этой, для другой книги — был уже заготовлен. Не об этом ли писал он миссис Монтэгию еще в июне? — «Собираюсь написать грандиозную бессмыслицу, но, если удастся, — как человек смысла: в этом-то и зарыта собака <...> что же до бессмыслицы, то ею меня до конца дней обеспечили собственный нрав и многочисленные странствия»¹⁸⁷.

Оба тома (ведь оба они уходят от последовательного жизнеописания Тристрама) он снабдил одним и тем же эпиграфом из Плиния: «Не отступление, но само произведение». Тем не менее Стерн поменял томы местами и путешествие по Франции пустил вперед: сделал седьмым томом.

Так что два очередных тома «Тристрама Шенди» вышли в свет 22 января 1765 года. Цена, хоть томики изрядно похудели, осталась прежней — четыре шиллинга за комплект.

Критики и читатели были несколько обескуражены седьмым томом. Хотя они и упрекали Стерна в повторах, но к такой новизне — путешествию Тристрама — оказались не готовы. Один из критиков рассказал историю обманщика, обещавшего доверчивой публике влезть в бутылку; но, когда зрители, купившие билеты,

пришли в театр, оказалось, что обманщик сбежал с их деньгами, а бутылка так же пуста, как два последних тома «Тристрама Шенди». «Многие избранные умы отличались умением рассказывать истории, но ни один не преуспел так, как этот английский Рабле, в умении *не рассказывать* ничего»¹⁸⁸.

Однако Стерн рассказал, и весьма остроумно. Он рассказал о том, как нужно и как не нужно описывать путешествия. «Но прежде, чем покинуть Кале, — сказал бы путешественник-писатель, — не худо бы кое-что о нем рассказать» — А по-моему, очень худо, что человек не может спокойно проехать через город, не потревожив его, если город его не трогает, но ему непременно надо оглядываться по сторонам и доставать перо у каждой канавы, через которую он переходит, просто для того, по совести говоря, чтобы его достать»¹⁸⁹.

О пародийности путешествия Тристрама Стерн пишет сам в Париж мистеру Фоли 11 ноября 1784 года: «Я найду способ сразу же переслать вам два новых тома Тристрама, как только они выйдут в свет. — И вы прочтете самое необычайное путешествие по Франции, какое когда-либо с сотворения мира было задумано или осуществлено путешественником или автором путевых очерков. — Это веселая добродушная сатира на путешествующих»¹⁹⁰.

Действительно, значительная часть тома — пародия на наукообразные путевые очерки его современников и предшественников. Хотелось бы сказать, что прежде всего на «Путешествие по Франции и Италии» Смоллетта, ведь неко-

торые места так напоминают его путевые письма, к примеру, описание Смоллеттом Булони: «Булонь делится на Верхний и Нижний город. Верхний представляет собой нечто вроде крепости около мили в окружности, которая находится на склоне горы, окружена высокой стеной и рвом <...> Есть здесь площадь, ратуша, собор и две или три монастырских школы <...> Нижний город спускается по склону холма от ворот Верхнего города до самой гавани <...> В Нижнем городе насчитывается несколько религиозных домов, а именно: семинария, монастырь кордельеров и еще один монастырь капуцинов»¹⁹¹.

А вот что читаем у Стерна: «Кале, Calatium, Calusium, Calesium. Город этот <...> был некогда всего лишь небольшой деревней, принадлежащей одному из первых графов де Гинь <...> Хотя в этом городе есть четыре монастыря, в нем только одна приходская церковь <...> Ничто меня так не поразило, как большая площадь <...> она расположена в центре города и на нее выходит большинство улиц, особенно этой его части. <...> Ратуша с виду довольно невзрачное здание и содержится далеко не образцово; иначе она была бы другим большим украшением городской площади. <...> Я был чрезвычайно разочарован тем, что мне не удалось получить разрешение снять точный план укреплений, которые являются сильнейшими в мире...»¹⁹²

Казалось бы — пародия. Ан нет, — скорее гениальное предвидение, уверенность, что Смоллетт именно так и опишет свое путешествие: ведь оно вышло в 1766 году, немного позднее седьмо-

го тома «Тристрама». (Скажем к слову, что Гейне, подражая Стерну, в своих «Путевых картинах» пошел еще дальше: «Выпив кофе, одевшись, прочитав надписи на оконных стеклах, я покинул Остероде. В городе этом столько-то домов, столько-то жителей, и в том числе столько-то душ, как подробно указывается в карманном путеводителе по Гарцу Готшална»¹⁹³.)

Когда же Стерн не пародирует, путевые наброски Тристрама — это непосредственная фиксация впечатлений, переданных с почти импрессионистической пластичностью. Сам синтаксис, казалось бы, заставляет читателя почти физически испытать те ощущения морской болезни, от которых страдает рассказчик: «— Тошнит! тошнит! тошнит! тошнит! — —

— Когда же мы приедем, капитан? — У них не сердца, а камни. — О, меня до смерти укачало! — — Дай-ка мне эту штуку, юнга: — самое неловкое положение при тошноте — — уж лучше бы я был на дне моря. — Мадам, а как у вас дела? — — Никак не могу! Не могу! Не — — — О! не могу, сэр. — Как! В первый раз? — Нет, это второй, третий, шестой, десятый, сэр. — Вот это да!»¹⁹⁴

Вот как нужно и как не нужно писать путевые очерки.

В ту зиму, посещая великосветские обеды, Стерн не забывал собирать подписчиков для очередных томов проповедей. «Они будут выпущены с пышным списком *de toute la noblesse**, — который принесет мне триста фунтов, не считая розничной продажи — так что при всем презре-

* всей знати (*фр.*).

нии к деньгам, всегда внушавшемся мне *par ma façon de penser**, я буду богат вопреки самому себе»¹⁹⁵, — пишет он Гаррику в Париж. А своего парижского банкира он прямо-таки обязывает заняться «вербовкой» подписчиков: «Я совершил удачную кампанию в этом году на литературном поле — два тома моего Тристрама и два тома проповедей, которые я скоро выпущу, принесут мне значительную сумму. — Почти вся английская знать почтила меня своими именами, и все считают, что у меня будет самый обширный и самый блестящий список, который когда-либо красовался в начале книги с тех пор, как вошла в моду подписка. — Передайте, пожалуйста, мой самый искренний привет леди ***, имя которой я надеюсь вписать наряду со многими другими. — А так как меня почтили своими именами также и люди выдающихся дарований, то я поссорюсь с мистером Юмом и обзову его деистом и как-нибудь еще покрепче, если не получу и его имени. — Сердечный привет лорду В. Ваше имя, Фоли, я вписал как добровольное приношение за мои труды — присылайте список завербованных вами подписчиков — всего только крона за шестнадцать проповедей. — Чертовски дешево! Но я ищу славы, а не денег»¹⁹⁶.

Письмо своему банкиру Стерн пишет из Бата, куда он отправился в середине марта для поправки здоровья после очередного обострения чахотки.

Бат — старинный город в графстве Соммерсетшир на юго-западе Англии, расположенный

* моим образом мыслей (*фр.*).

террасами в изгибе реки Эйвон и окруженный высокими холмами. Он издавна славился своими минеральными источниками. При раскопках, начатых в 1755 году, на территории города была обнаружена сложная система водоснабжения и остатки бань времен римского завоевания Британии.

«Золотой век» Бата связан с XVIII веком, когда город стал самым модным английским курортом. В зале для питья минеральной воды играл оркестр, старейший увеселительный оркестр в Англии, чтобы отдыхающие совмещали лечебные процедуры с приятным времяпрепровождением.

Этот зал с нескрываемым сарказмом описывает один из персонажей «Путешествия Хамфри Клинкера» Смоллетта, которого, с небольшими оговорками, можно считать alter ego автора: «Но теперь я опасаясь не только купаться, но и пить воды, ибо после длительной беседы с доктором об устройстве насоса и водоема я не уверен, не глотают ли посетители галереи минеральных вод обмывки купальщиков. У меня есть подозрение, что вода из купальни просачивается в водоем. А в таком случае — ну и лакомое же питье получают ежедневно больные: питье, смешанное с потом, грязью, перхотью и разнообразными отвратительными выделениями двух десятков тел, распаренных внизу, в купальне»¹⁹⁷.

Стерн оставил без внимания опасности батских минеральных вод, его больше привлекали залы ассамблей, где посетители могли послушать музыку, принять участие в танцах, загля-

нуть в бильярдную, заняться карточной игрой или развлечься публичным чаепитием.

В этот модный курорт Стерн был приглашен ирландским пэром лордом Каннингхемом. В его доме Стерн познакомился с несколькими «очаровательными соотечественницами» лорда — «очаровательной вдовой Мур <...>, нежной и элегантной Гор, с ее великолепными греческими формами <...>, нельзя не упомянуть вновь и миссис Вези, с ее вокальными данными и пятьюдесятью другими достоинствами»¹⁹⁸.

Неизгладимое впечатление произвел модный писатель и на некую вдову миссис Ф., которая тоже принимала лечебные воды Бата. Она даже обратилась к своим лондонским друзьям, чтобы узнать, женат ли Тристрам Шенди. Остается тайной, каким образом стало известно Стерну об ее нескромном любопытстве, но вот его ответ, полный издевки и скепсиса по поводу брачных уз:

...Скажите, по какому случаю (реальному или идеальному) вы решили, мадам, написать письмо из Бата в Лондон, дабы выяснить, женат Тристрам Шенди или нет? Вы же, в свою очередь, можете поинтересоваться, по какому случаю Тристрам Шенди, джентльмен, сел за стол сочинять ответное письмо. На первый вопрос, дражайшая (называю вас так, ибо мы уже немного знакомы), вы должны ответить перед собственной совестью, точно так же, как и я должен ответить перед своей совестью на второй вопрос. Так вот, внимательно взглядываясь в ту часть своего естества, где располагается совесть галантного кавалера, я отчетливо вижу, что столь за-

влекательные авансы столь завлекательной особы (вы не находите, с каждой строкой я держусь все раскованнее и раскованнее?) не могут быть отвергнуты человеком с нравом и внешностью Тристрама Шенди. В самом деле, дорогое мое создание (в скором времени знакомство наше достигнет своего апогея), а почему бы и нет?! Если у Т. Шенди осталась хотя бы одна-единственная искра ветренности в одном-единственном закутке всей его обители, столь нежный стук в дверь вызвал бы законный вопрос: «Что за прелестная дама стоит на пороге? Боже милостивый, не вы ли это, миссис Ф.?! Какое пламя вы разожгли! Его будет довольно, чтобы вспыхнул весь дом».

«Если б Тристрам Шенди был одиноким мужчиной...» О Боже!.. «От притязаний Джека, Дика и Питера я совершенно свободна» — это, мадам, еще требует доказательств. Каково, мой дорогой Тристрам! «Если б ты был одиноким мужчиной!» — В вашем восклицании, мадам, чувствуется неподдельный интерес и оптативное наклонение в придачу. Даже не знаю, что вам и сказать. Можете меня тристрамить до полусмерти, но что делать, я ума не приложу. Знаешь ли ты, мой нежный ангел (чувствуется, я подкрадываюсь все ближе и ближе, и прежде, чем это послание подойдет к концу, мы достигнем — о ужас! — непозволительной близости), знаешь ли ты, жертвой какого дьявола в человеческом обличе тебе грозит стать, если пожелание твое сбудется? Так знай же, обожаемая! Если не считать того, что я довольно ладно скроен, что росту во мне без малого шесть футов и что нос мой (чего бы я там ни рассказывал читателю) по крайней мере на дюйм длиннее носов большинства моих соседей, я есмь

двуногое животное без единого волоска на шкуре, духовно перезревшее и для матримониальных уз совершенно непригодное. Дайте-ка я шепну вам на ушко: сейчас мне 44, а ровно через год будет 45. Вдобавок комплекция у меня чахоточная: я худ, сухопар, одышлив и так утончен и изыскан, что леди вашего ума не даст за дюжину таких, как я, и медного фартига; в мае следующего года, когда я буду в отличной форме, вы должны меня испытать, хотя заранее предупреждаю: чувственности во мне нет ни на йоту — а впрочем, так ли уж это важно для столь долгого совместного путешествия?

Ум у нас ровным счетом ничего не стоит, в связи с чем могу сказать только одно: поскольку, кроме ума, я мало чем располагаю, весь мой ум без остатка должен быть в полном вашем распоряжении, однако, на мою беду, вам ведь ума тоже не занимать, а потому, когда период нежностей закончится, боюсь, мы не сойдемся ни в одной мелочи, и тогда начнутся каждодневные взаимные подначки, издевательства и уколы. Будут одни сплошные неприятности, но затем, поскольку здравый смысл все же возобладает, ибо присущ нам обоим, мы будем улаживать дразги и ссоры, как только они возникнут. И, не успев поспориться, мы будем мириться! Клянусь Богом, это будет земля обетованная — молоко и мед!

Мед! Именно что мед!

Когда-то я им объелся...

Имею честь оставаться

с наилучшими пожеланиями,

мадам,

ваш покорнейший и почтеннейший слуга

Можно с большой вероятностью предположить, что к концу письма Стерн довольно точно описал собственную семейную ситуацию.

Уже говорилось, что брак Стерна счастливым не назовешь, однако в общении с внешним миром Стерн всегда соблюдал почтительное отношение к супруге, приличествующее английскому джентльмену и духовному лицу. Пожалуй, единственное исключение — откровенное признание ближайшему другу Холлу, но и оно сделано на латыни, смягчающей резкость высказывания: «Nescio quid est material cum me, sed sum fatagatus et aegrotus de mea uxore plus quam unquam*»²⁰⁰. Могут сказать, что в позднем «Дневнике для Элайзы» он упоминает алчность и, реже, лицемерие некой «мадам», которую легко отождествить с его супругой. Однако, как мы покажем ниже, это не биографический документ, а художественная проза; и если бы Стерн готовил ее для публикации, он наверняка сделал бы существенные исправления, ведь известно, что он вносил многочисленные правки и после передачи своих текстов в типографию.

В Бате Стерн познакомился с Томасом Гейнсборо. Художник, по воспоминаниям его друзей, не любил читать, но для романа Стерна сделал исключение и не пожалел об этом. Стерн позировал ему для портрета. Сильно идеализированный, почти романтический образ кисти Гейнсборо находится в музее Пил Парк в Солфорде.

* Не знаю, что со мной, но я утомлен и измучен женой моей больше, чем когда-либо (*лат.*).

Пребывание в Бате было непродолжительным. К концу апреля Стерн вернулся в Лондон, где тоже задержался ненадолго — торопился в свою «философическую хижину» завершать работу над третьим и четвертым томами проповедей.

ПРОПОВЕДИ МИСТЕРА ЙОРИКА

...он твердо верил, что радостная и довольная душа
есть лучший вид благодарности, который может
принести небу неграмотный крестьянин —

— А также ученый прелат, — сказал я.

Л. Стерн. Сентиментальное путешествие

В Коксуолде Стерна застало пренеприятное известие: в Саттоне сгорел пасторский дом. Он кратко сообщил об этом мистеру Вудхаусу, своему знакомому по Тулузе («Сгорел мой церковный дом вследствие небрежности жены моего заместителя — как только будут средства, придется его отстроить, я полагаю, — но в настоящее время у меня нет средств»²⁰¹), и гораздо более эмоционально миссис Медоуз, тоже тулузской приятельнице: «...По небрежности моего заместителя или жены его, или его служанки, или кого-нибудь из его домочадцев, сгорел дотла церковный дом в Саттоне с принадлежавшей мне обстановкой и превосходным собранием книг; убыток — триста пятьдесят фунтов. — Несчастный погорелец с женой на следующее утро дал тягу и скрылся — это меня порядком огорчило, ибо я его настолько жалел и уважал, что, едва услышав об этом несчастье, послал просить его пе-

реехать ко мне и пожить у меня, пока не будет готово для него другое помещение — но он удрал — и, как мне передавали, из страха, что я его буду преследовать. — Боже! Как мало знал он меня, если мог предположить, что я принадлежу к числу тех негодяев, которые громоздят несчастье на несчастье — и когда тяжесть стала уже почти невыносимой, продолжают валить и валить еще! Бог, читающий в сердце моем, знает, что я стремлюсь скорее разделить, чем увеличить бремя несчастных — скорее осушить поток горя, чем прибавить к нему хотя бы одну каплю. — Что же касается погибшего хлама, то я ставлю его ни во что — потеря его не вызовет у меня ни одного вздоха, ибо, в конце концов, я могу сказать вместе с испанским капитаном, что я ничем не хуже короля, только не так богат»²⁰².

Дом, кстати, при жизни Стерна так и не был отстроен, этим пришлось заниматься его вдове.

Стерн, по воспоминаниям современников, и впрямь был человек сердобольный. Как-то летом 1761 года его позвали причастить умирающую вдову. Когда он спросил женщину, что она может ему оставить, та извинилась, сказав, что оставлять ей нечего, она не может ничего завещать даже своим детям. Тогда он сказал: «Это извинение меня не устроит, вы должны завещать мне обоих ваших детей», и он взял на себя заботу о детях бедной вдовы.

«В настоящую минуту я сижу в летнем своем доме, погрузившись всеми помыслами и всем сердцем не в амуры дядюшки Тоби с вдовой Водмен, а в собственные проповеди...»²⁰³, — говорится в том же письме к Вудхаусу.

Не забывает он, как в Лондоне и Бате, собирать подписчиков для своих проповедей — от этого в значительной степени зависит финансовый успех предприятия: «...Вы уже видели двух моих бесстыжих младенцев — седьмого и восьмого? — пишет он из Йорка Томасу Хесселриджу, лондонскому джентльмену, живущему при баронете Уильяме Мейнарде, — но я, раскаявшись, уже вынашиваю парочку более набожных детишек, — которые появятся на свет в середине сентября и примут форму третьего и четвертого тома проповедей Йорика. Это, признаюсь вам, хоть как-то уравновесит мой шендистский облик, и именно по этой причине мои добрые друзья и сопровождают их великолепным и длиннейшим подписным листом — самым длинным из всех, существующих с тех пор, как подписка вошла в моду. — Меня очень опечалит, если вашего имени не будет среди имен моих друзей — оно должно присутствовать в такой прекрасной компании — так что разрешите мне внести его — и, если это возможно, — и имя лорда Мейнарда. — Я не покушаюсь, дорогой мой Хесселридж, на ваш кошелек, — это всего лишь корона, — но мне хотелось бы внести в лист имя лорда Мейнарда, человека, которого я люблю и уважаю так же, как и вас. А если вам представится возможность добавить еще три-четыре имени в этот лист, — ваше дружеское отношение ко мне, не сомневаюсь, сделает это»²⁰⁴.

Старания Стерна увенчались успехом: подписной лист насчитывал 693 фамилии, среди которых, разумеется, были и Томас Хесселридж, и лорд Мейнард. Подписался даже его давний

недруг Филип Харланд, сквайр Саттона. А среди зарубежных подписчиков значились имена Гольбаха, Дидро, Вольтера и Кребийона-сына.

Проповеди под тем же названием, в свое время возмущившим многих, вышли в свет 21 января 1766 года. Беккет несколько задержал издание до начала лондонского сезона. Вместо планируемых шестнадцати томики содержали всего двенадцать проповедей; в их числе проповедь, прочитанная в Коксуолде в связи с коронацией Георга III, благотворительная проповедь в лондонском приюте для подкидышей, проповедь в часовне британского посла в Париже и проповедь о совести, которая была произнесена в Йоркском соборе 27 июля 1750 года, тогда же издана отдельной брошюрой, а позднее включена в текст второго тома «Тристрама Шенди». Последнюю Стерн снабдил предисловием, в котором, попросив у читателей извинения, так как за один и тот же текст «они платят дважды», пояснил, что публикует ее в надежде, что «некоторым, возможно, она больше понравится, а другие, возможно, лучше поймут ее, когда прочтут такой, какой она произносилась, без перебивок и пояснений, с какими они ее раньше читали»²⁰⁵.

Некоторые проповеди, вполне возможно, были написаны специально для этой публикации.

Проповеди были благосклонно, а подчас и восторженно, приняты и читателями, и пресой. Никого уже не возмущало их вызывающее название.

Даже «Критикл ревью», не раз осуждавшее роман, признало, что третий и четвертый то-

мы проповедей обнаруживают «те же пронизательные наблюдения над человеческими нравами, те же замечательные характеры, то же правдивое изображение страстей, те же легкие сатирические мазки и ту же способность будить нежные чувства, данные нам от природы»²⁰⁶, что и первые два тома.

Поэт Уильям Купер пишет в апреле 1766 года Джозефу Хиллу, что Стерн — «великий мастер патетики и проповедями, или любым другим образчиком своей риторики, способен возродить сердце человеческое и обратить его от Сатаны к Богу. Я не знаю писателя, более умело обращающего людей на путь добродетели»²⁰⁷.

Чем же они так очаровали современников?

Одна из глав этой книги названа «Проба пера»; в ней речь идет о газетных публикациях молодого Стерна и о свифтианском памфлете «Политический роман». Но стиль зрелого Стерна — нельзя этого забывать, хотя критики почему-то об этом не пишут, — в большей мере вырабатывался не в писании хлестких памфлетов на злобу дня, а в подготовке воскресных проповедей, которые он много лет читал как викарий Саттона, Стиллингтона, Коксуолда и как пребендарий Йоркского собора.

В проповедях, — казалось бы, сугубо каноническом жанре — Стерн отступает от канонов, как отступал он и в «Тристреме Шенди», хотя, разумеется, не столь демонстративно. Вот тут-то и состоялась «проба пера»!

Давайте задумаемся в названия проповедей: «Исследование о счастье», «Знаем ли мы себя», «Оправдание человеческой природы», «Обя-

занность ставить пределы нашим желаниям», «Заблуждения совести», «Гордыня», «Смирение»... Вслед за Поупом и Юмом Стерн создает своего рода «опыты (или очерки) о человеческой природе» (essays upon human nature). И стремится заставить паству задуматься над теми же вопросами, какие задавал и Юм: «В чем цель человека? Создан ли он для счастья или для добродетели? Для этой жизни или для будущей? Для себя или для своего создателя?»²⁰⁸.

А ответы часто уклончивые, без самоуверенного ригоризма.

Занятия риторикой в Кембридже не прошли даром. Стерн называл свои проповеди «драматическими», возможно, потому, что часто вступал в спор с обычно всеми почитаемыми библейскими персонажами, превращая проповедь в изощренный полемический диалог. Нередко признание того или иного тезиса в начале проповеди завершается его опровержением, и наоборот — тезис опровергается, чтобы в конечном счете в какой-то мере быть принятым. Подтверждающим примером такой композиции может служить помещенная в Приложении проповедь о Доме Плача и Доме Веселья, которую Стерн в письме к дочери называл своей лучшей проповедью.

Отгалкиваясь от немногих скурых деталей Библии, Стерн рисует целые сценки, заглядывает в душу персонажей, отделенных от него веками, наделяет их пространными монологами (как, например, доброго самаритянина), целые проповеди посвящает характерам Ирода, Иова, Иосифа... Одна из проповедей (правда, изданных посмертно) названа «Характер св. Петра».

Вот отрывок из проповеди, прочитанной в Йоркском соборе 27 июля 1750 года (то есть за девять лет до публикации первого тома «Тристрама Шенди») и тогда же опубликованной отдельной брошюрой. Не случайно Стерн счел ее достойной включения в свой роман:

«Чу! Какой жалобный стон! Взгляните на несчастного, который стонал, — его только что ввели и сейчас подвергнут терзаниям, лицемерно именуемым судебным процессом, — он пройдет через самые жестокие мучения, какие только придуманная система религиозной жестокости сумела изобрести. Взгляните на эту беспомощную жертву, отданную в руки мучителей. — Его тело так истерзано муками и долгим заключением, что видно, как страдает каждый нерв и мускул. — Следите за последним движением этого ужасного устройства. — Какие судороги вызвало оно у жертвы. — Подумайте, как ужасна поза, в которой этот человек сейчас распростерт. Какую изощренную пытку он выносит. — Это превышает человеческих сил. — Боже правый! Смотрите, истерзанная душа несчастного трепещет на его губах, порываясь покинуть тело, но ей не дают это сделать. Вот несчастного ведут обратно в темницу — потом снова вытаскивают оттуда, чтобы возвести на костер — и вы видите, каково последнее надругательство, уготованное ему этим принципом, гласящим, что может существовать религия без нравственности»²⁰⁹.

Восхитила эта проповедь и Вольтера. В статье «О совести», вошедшей в его «Философский словарь», он посвятил ей целый параграф, озаглавленный «Об обманчивой совести», где

утверждал, что портреты Стерна превосходят кисть Рембрандта и карандаш Калло.

Но, возможно, здесь выбран не самый характерный фрагмент для проповедей мистера Йорика, — слишком патетичный. В большинстве случаев их тон ближе к задушевной беседе с паствой, Стерн обращается не только к чувству сострадания, но и к чувству юмора своих слушателей.

Юмор сквозит, как ни странно, в проповеди на совсем не веселый библейский сюжет — «Левит и его наложница», где Стерн, опустив все ужасы приключившегося с женщиной несчастья, сосредоточился на психологии левита, оправдывая перед ханжами его право взять наложницу.

Но прежде чем оправдать поступок левита, Стерн пускается в забавный исторический экскурс: «О Авраам, о отец истинно верующих! Если это дурно, зачем же ты подал столь опасный пример для всех своих потомков <...> У Авраама была Агарь; Иаков, помимо двух жен, Рахили и Лии, взял себе еще Зелфу и Валлу, от которых произошло много племен; Давид имел семь жен и десять наложниц; Ровоам — шестьдесят <...> И замечательно, что Соломон, чья неводержанность оскорбляет род человеческий, с той же любовью к роскоши, из-за которой он держал сорок тысяч конюшен, столь же ошибочно оценивал и другие свои нужды, вследствие чего держал семьсот жен и триста наложниц. — —

Мудрый — — заблуждающийся человек! Кабы не загладил ты в какой-то мере столь дурное поведение своими прекрасными проповедями, что бы с тобою стало!»²¹⁰

И далее в совсем ином, элегическом тоне Стерн переходит к левиту — ведь у бедняги была всего одна наложница: «Так некий левит хотел разделить с кем-нибудь свое одиночество и заполнить безрадостную пустоту сердца; ибо, несмотря на все то, что мы встречаем в книгах, во многих из которых, без сомнения, говорится немало хорошего о сладости уединения и т. д., все же “нехорошо человеку быть одному...”, и какими бы доводами на эту тему бездушный педант не оглушал наши уши, едва ли он когда-нибудь даст удовлетворительный ответ, нам понятный; несмотря на самые громкие восхваления философов, Природа будет стремиться к общению и дружбе; — доброе сердце всегда будет нуждаться в ком-то, на кого можно излить свою доброту — и все лучшее в нашем сердце, и самое чистое в нашем разуме будет более всего страдать от невозможности сделать это.

Пусть же унылый монах ищет свой путь к царствию небесному в безрадостном одиночестве — да поможет ему Господь! Что же до меня, боюсь, я никогда не пойду по этому пути: даруй мне разум и веру — но дай мне быть Человеком. (Здесь надо помнить, что в английском языке «человек» и «мужчина» — омонимы.) И куда бы Божественное Провидение ни занесло меня, какую бы ни избрал я дорогу к Тебе — даруй мне спутника в моем путешествии, пусть просто для того, чтобы мог он сказать: “Как удлиннились наши тени к закату дня” — а я бы ответил: “Как посвежел лик Природы! Как прекрасны полевые цветы! Как великолепны эти плоды!”»²¹¹

Ту же библейскую цитату в близком контексте использовал Стерн два года спустя и в своем «Сентиментальном путешествии»: «— Право же — право, человек! Не добро тебе сидеть одному — ты создан был для общительности и дружественных приветствий, в доказательство чего я ссылаюсь на последовавшее от них улучшение природных наших качеств»²¹².

Да что там библейскую цитату — автоцитату, начинающуюся словами: «Какое же странное и непредсказуемое существо человек!», из второй проповеди первого тома «Дом Плача и Дом Веселья», он довольно близко повторил в двадцать первой главе третьего тома «Тристрама Шенди», размывая — а это он умел — грань между жанром проповеди и художественным текстом.

По поводу проповеди «Левит и его наложница» разгорелась полемика. «Мансли ревью» заявило, что блудница — неподобающий сюжет для проповеди. Однако объективности ради надо признать, что Стерн не был шокирующим исключением в среде священнослужителей его времени. «Каждый священник мог поступать совершенно свободно, согласно своей собственной точке зрения, как бы эксцентрично это ни выглядело, — пишет Дж. М. Тревельян. — Он мог обладать столь же игривым умом, как у Лоренса Стерна, он мог даже, если был так дурно воспитан, быть “методистом”, подобно опасному другу Каупера Джону Ньютону Берриджу Эвертонскому, проповеди которого причиняли прихожанам его собственного и соседских приходов буквально физические страдания. Чаше же священник был “типичным англичанином”, до-

брым, чувствительным, умеренно благочестивым. Это была церковь, известная ученостью, культурой и свободой»²¹³. Да, есть чему позавидовать!

Кумиром Стерна и образцом в его проповеднической деятельности был Джон Тиллотсон. В своем восхищении Тиллотсоном, архиепископом Кентерберийским (1630–1694), Стерн не оригинален: в англиканской церкви XVIII века он оставался одной из самых влиятельных фигур. Его проповедь религии более походила на проповедь морали с примесью догмы. (В проповедях Стерна эта примесь стала совсем ничтожной.)

Даже атеистически настроенные французские энциклопедисты с уважением и интересом относились к Тиллотсону. По просьбе Дидро Стерн, находясь в Париже, выписывал для него сочинения епископа Кентерберийского.

«Тиллотсон спас англиканское красноречие от загнивания в болоте педантизма и аффектации, — пишет каноник Чарлз Смит. — С другой стороны, основное содержание его проповедей составляла благоразумная мораль, основанная скорее на разуме, чем на откровении, и сознательно обращаемая к здравому смыслу»²¹⁴.

Помимо Тиллотсона Стерн испытал влияние доктора Эдварда Юнга, декана Сэрэма и отца поэта Юнга, а также Джозефа Холла, епископа Норичского и доктора Сэмюэла Кларка. (Вспомним приведенные выше строки Босуэлла: «Не доктор Кларк, а Джонни Гей...».)

Вирджиния Вулф в своем эссе о «Сентиментальном путешествии» пишет об авторе кни-

ги: «Хоть он и был священником, у него достало вольномыслия заметить, когда он смотрел на танцующих французских крестьян, что в них видна возвышенность духа, отличная от той, которая проистекает из грубого веселья: “Одним словом, я полагал, что узрел Религию, слившуюся с танцем”».

Постичь связь между религией и удовольствием было смелостью со стороны священника»²¹⁵.

И ту же мысль высказывает Стерн уже не в художественном произведении, а в проповеди о блудном сыне, когда, рассказав обо всех его мытарствах, описывает в финале взрыв радости и счастья, которые «можно назвать лишь одним другим словом — религия»²¹⁶.

ВТОРАЯ ПОЕЗДКА НА КОНТИНЕНТ

Октябрь 1765 — июнь 1766

Я здесь счастлив, как король, — толстею,
жирею и смотрю молодцом.

Л. Стерн. Из частного письма

Первый и единственный раз Стерн не наблюдал, как идет работа над выпуском его книг. Передав Беккету рукопись проповедей в начале октября и получив солидный аванс, он сразу же поспешил в Дувр, а оттуда пакетботом до Кале. Остановился он в недавно открытой гостинице «Англетер», принадлежавшей мсье Дессену. Позднее, после выхода знаменитой книги Стерна, эта гостиница стала местом паломничества поклонников его таланта. Предприимчивый Дессен повесил табличку с надписью огромными буквами «Комната Стерна», в ней побывали многие, в том числе Карамзин и Теккерей. Драматург Фредерик Рейнолдс вспоминает, что, когда в 1782 году он спросил мсье Дессена, помнит ли он Стерна, тот сказал: «Соотечественник ваш, мсье Стерн, был великий, да, великий человек, он и меня увековечил вместе с собой. Много денег заработал он своим Сен-

timentальным Путешествием — но я, — я заработал на этом путешествии больше, чем он на всех своих путешествиях вместе, ха, ха!»²¹⁷

В 1790 году в «Письмах русского путешественника» подтверждает богатство мсье Дессена и Карамзин: «Нас привезли в трактир почтового двора. — Я тотчас пошел к Дессеню (которого дом есть самый лучший в городе); остановился перед его воротами, украшенными белым павильоном, и смотрел направо и налево. “Что вам надобно, государь мой?” — спросил у меня молодой офицер в синем мундире. — “Комната, в которой жил Лаврентий Стерн”, — отвечал я. — “И где в первый раз ел он французский суп?” — “Соус с цыплятами”, — отвечал я. — “Где хвалил он кровь Бурбонов?” — “Где жар человеколюбия покрыл лицо его нежным румянцем”. — “Где самый тяжелый из металлов казался ему легче пуха?” — “Где приходил к нему отец Лорензо с кровостию святого мужа”. — “И где он не дал ему ни копейки?” — “Но где хотел он заплатить двадцать фунтов стерлингов тому адвокату, который бы взялся и мог оправдать Йорика в глазах Йориковых”. “Государь мой, эта комната во втором этаже прямо над вами. Тут живет ныне старая англичанка с своею дочерью”. —

Я взглянул на окно и увидел горшок с розами. Подле него стояла молодая женщина и держала в руках книгу — верно, “Sentimental Journey”!

“Благодарю вас, государь мой, — сказал я словоохотному французу, — но если позволите, то я спросил бы еще”. — “Где тот каретный сарай, — перервал офицер, — в котором Йорик познакомился с милою сестрою графа Л*?” — “Где он

помирился с отцом Лорензом и... с своею совестью”. — “Где Йорик отдал ему черепаховую свою табакерку и взял на обмен роговую?” — “Но которая была ему дороже золотой и бриллиантовой”. — “Этот сарай в пятидесяти шагах отсюда, через улицу, но он заперт, а ключ у господина Дессеня, который теперь... у вечерни”. — Офицер засмеялся — поклонился и ушел. — “Господин Дессень в театре”, — сказал мне другой человек мимоходом. “Господин Дессень на карауле, — сказал третий, — его недавно пожаловали в капралы гвардии”. — “О Йорик! — думал я. — О Йорик! Как все переменялось ныне во Франции! Дессень капралом! Дессень в мундире! Дессень на карауле! Grand Dieu!” — Смеркалось, и я возвратился в свой трактир»²¹⁸.

Упоминание театра в этом рассказе надо пояснить. После смерти Стерна Дессен перестроил и расширил гостиницу, добавил помещение для театра, оборудовал роскошную комнату, где якобы ночевал Стерн, и повесил в ней офорт со знаменитого портрета кисти Рейнолдса. Про табличку на двери уже говорилось.

Во время этого приезда Стерна двор был еще в Фонтенбло. Там же были и Юм, герцог де Шуазель и граф де Бисси. Однако с Дидро и Гольбахом встретиться удалось.

Общался он, как и раньше, с англичанами, находившимися в то время в Париже, более всего с юным Джоном Крофердом, блестящим молодым человеком, обычно посещавшим Париж по окончании лондонского сезона. Он располагался в фешенебельном отеле «Парк Руаяль», давал обеды и пользовался покровительством мадам

Дюдеффан. Общался Стерн и с Хорейсом Уолполом, который, судя по его письмам из Парижа, проводил время либо с мадам Дюдеффан, либо в своей квартире, мучимый подагрой, либо с Крофердом и лордом Оссори.

О Стерне, с которым он познакомился лично только в Париже, Уолпол отозвался довольно холодно. В письме, датированном 19 октября 1765 года, он пишет другу: «Почему-то я должен смеяться, когда здесь Уилкс, Стерн и Фут; но первый меня не смешит, второй — никогда не смешил, а третий — да я бы заплатил пять шиллингов, лишь бы он не развлекал меня»²¹⁹. О колоритной особе Уилкса речь уже шла выше, а Сэмюэл Фут был популярным в те времена актером и драматургом.

Но сам Хорейс Уолпол, большой оригинал, уже упоминавшийся неоднократно, несомненно, заслуживает внимания.

Он был младшим сыном Роберта Уолпола, главы партии вигов и премьер-министра Англии с 1721 по 1742 год. Получил аристократическое образование — Итон, Кембридж, «большое турне» по Европе после окончания университета... Наконец, благодаря высокому положению отца, синекура, обеспечившая его материально, — место в парламенте от партии вигов.

Купив небольшое имение неподалеку от Лондона, Уолпол дал волю своему воображению и страстному увлечению средневековой стариной. Свое поместье Строберри Хилл он превратил в настоящий (хоть все же, увы, игрушечный!) «готический замок» с часовней, круглой башней, монастырской трапезной, узкими галереями, ви-

тражами, старинной мебелью, оружием и утварью. Не удивительно, что в таком окружении, по его собственным рассказам, ему однажды приснился старинный замок, на балюстраде которого лежала гигантская рука в железной перчатке. Это послужило толчком к написанию «готической повести» «Замок Отранто», которую Уолпол завершил за два месяца и в 1764 году издал, сначала анонимно. Через год, при повторном издании книги, Уолпол раскрыл авторство. Фантастические и кровавые события раннего Средневековья, семейное проклятие, убийства и преследования, неукротимые страсти и неотвратимый рок, — все это предвосхищало романтическую эстетику и было совершенно чуждо шендианскому духу «Тристрама Шенди».

Роман Стерна ему сразу же не понравился. В июле 1760 года он пишет в Эдинбург сэру Дэвиду Дэлримплу: «В настоящее время только о том и говорят, только тем и восхищаются, что я бы назвал весьма безвкусным и скучным произведением: это что-то вроде романа, называющегося “Жизнь и мнения Тристрама Шенди”; весь хваленый юмор которого состоит в том, что повествование то и дело движется вспять. <...> Над ним можно два-три раза улыбнуться в самом начале, но зато будешь потом зевать целых два часа».

Любопытно, что Уолпол, как и Стерн, опередил свое время. Он создал первый «готический роман» задолго до появления произведений этого жанра: символично, что королева «готического романа» Анна Рэдклиф родилась в год выхода в свет «Замка Отранто».

Он отстроил свой «готический замок» задолго до того, как увлечение готикой в архитектуре и интерьере стало повсеместным, что остроумно отметил Вальтер Скотт: «Готический орден в архитектуре приобрел ныне повсеместное распространение и возобладаст столь безраздельно, что нас, пожалуй, даже удивило бы, если бы деревенский дом какого-нибудь купца, удалившегося от дел, не являл нашему взору снаружи — стрельчатых окон с цветными стеклами, а внутри — кухонного буфета в виде церковного алтаря, и если бы передняя стенка свинарника при доме не была скопирована с фасада старинной часовни. Но в середине восемнадцатого столетия, когда мистер Уолпол начал вводить готический стиль и демонстрировать, как орнаменты, присущие храмам и монументам, могут употребляться для украшения каминов, потолков, окон и балюстрад, он не применялся к требованиям господствующей моды, а доставлял удовольствие собственному вкусу, воплощая свои грезы в романтическом облике воздвигнутого им здания»²²⁰.

Однако влияние Уолпола оказалось значимым лишь для предромантизма и раннего романтизма. А влияние Стерна, захватив и сентиментализм, и романтизм, добралось до нашего времени.

«Но давайте будем продолжать...»²²¹ Весело проводя время в компании французских энциклопедистов и эксцентричных английских джентльменов, Стерн в двадцатых числах октября покинул Париж.

Он направился на юг к Лиону, где развлекался с неделю в компании нескольких своих соотече-

ственников. Из Лиона его путь лежал в Турин через перевал Мон-Сени. Однако после двух дней пути его задержали проливные дожди в маленьком городке Понт-де-Бовуазен у подножья Альп. 8 ноября он продолжил свой путь в карете, запряженной мулами. Однажды, недалеко от Модены, дорогу преградила куча камней, скатившихся с гор. Пока расчищали проход, наступила ночь, и Стерн вынужден был остановиться в придородной гостинице. Именно к этому месту Стерн впоследствии, при создании «Сентиментального путешествия», и приурочил завершивший его эпизод, описанный в главке «Щекотливое положение».

На самом деле история эта приключилась не с ним, а с его приятелем Джоном Крофердом, от которого Стерн и услышал ее в Париже, перед отъездом в Италию.

На пути из Вервье в Экс-ля-Шапель (французское название Ахена) Кроферд остановился в переполненной гостинице и занял последнюю свободную спальню, при которой был чулан для прислуги с узкой кроватью. Вскоре хозяйка гостиницы слезно попросила его уступить на одну ночь этот чулан фламандской даме, некоей мадам Blond. Кроферд любезно согласился и даже сказал мадам Blond, что сам готов лечь в чулане. Этот благородный жест был отвергнут. Чтобы скоротать вечер, они сели играть в карты, причем ставкой была большая постель в спальне. Мадам Blond проиграла. Отправившись на покой в чуланчик, мадам Blond попросила горничную запереть дверь, что повеселило Кроферда, так как щеколда находилась с его сто-

роны. Однако ночь прошла без приключений, и наутро они мирно распрощались.

Пересказывая в «Сентиментальном путешествии» эту историю, которая и завершает книгу, Стерн сделал в спальне небольшую перестановку: добавил еще одну кровать (обе, разумеется, под пологом, согласно моде того времени), а каморку сделал практически необитаемой из-за разбитого окна. И вот чем завершилось это «щекотливое положение»: «...Пужинав и оставшись одни, мы почувствовали в себе достаточно присутствия духа по крайней мере для того, чтобы откровенно потолковать о нашем положении. Мы перевертывали вопрос на все лады, обсуждали и рассматривали его в самом разнообразном свете в течение двухчасовых переговоров; по завершении их были окончательно установлены все статьи соглашения между нами, которому мы придали вид и форму мирового договора, — проявив, я убежден, столько же добросовестности и доверия с обеих сторон, сколько их когда-нибудь было проявлено в договорах, удостоившихся чести быть переданными потомству.

Статьи были следующие:

Во-первых. Поскольку право на спальню принадлежит Monsieur — и он считает, что ближайшая к огню кровать является более теплой, то он настаивает на согласии со стороны дамы занять ее.

Принято со стороны Madame; с условием, чтобы, так как полог над этой кроватью сделан из тонкой, прозрачной бумажной материи, а кроме того, он, по-видимому, слишком короток и не может быть плотно задернут, *fille de*

chambre или заколола бы отверстие большими булавками, или зашила бы его так, чтобы занавески эти можно было рассматривать как достаточное ограждение от Monsieur.

Во-вторых. Со стороны мадам предъявлено требование, чтобы Monsieur лежал всю ночь напролет в robe de chambre.

Отвергнуто: поскольку у Monsieur нет robe de chambre, так как все содержимое его чемодана исчерпывается шестью рубашками и парой черных шелковых штанов.

Упоминание черных шелковых штанов привело к полному изменению этой статьи — ибо штаны были признаны эквивалентом robe de chambre; таким образом, было договорено и условлено, что я пролежу всю ночь в черных шелковых штанах.

В-третьих. Со стороны дамы поставлено было условие, и она на нем настаивала, чтобы после того, как Monsieur ляжет в постель и будут потушены свеча и огонь в камине, Monsieur не произнесет ни единого слова всю ночь.

Принято: при условии, что произнесение Monsieur молитвы нельзя считать нарушением договора.

В этом договоре упущен был один только пункт, а именно: каким способом дама и я должны раздеться и лечь в постель — возможен был только один способ, и я предоставляю читателям угадать его, торжественно заявляя при этом, что, если названный способ окажется не самым деликатным на свете, то виной будет исключительно воображение читателя — на которое это не первая моя жалоба.

И вот, когда мы легли в постели, — от новизны ли положения или от чего другого, не знаю, — но только я не мог сомкнуть глаз. Я пробовал лежать и на одном боку, и на другом, перевертывался и так, и этак до часу пополуночи — пока не истощил всех сил и терпения. — Ах, Боже мой! — вырвалось у меня —

— Вы нарушили договор, мсье, — сказала дама, которая спала не больше моего. — Я попросил тысячу извинений — но настаивал, что слова мои были всего лишь молитвенным восклицанием — она же утверждала, что это полное нарушение договора, — а я утверждал, что это предусмотрено в оговорке к третьей статье.

Дама ни за что не желала уступить, хотя своим упорством она ослабила разделявшую нас перегородку; ибо в пылу спора я расслышал, как две или три булавки упали с полога на пол.

— Даю вам честное слово, мадам, — сказал я, протягивая руку с кровати в знак клятвенного утверждения —

— (Я собирался прибавить, что я ни за какие блага на свете не погрешил бы против самых ничтожных требований приличия) —

— Но *fille de chambre*, услышав, что между нами идет пререкание, и боясь, как бы за ним не последовало враждебных действий, тихонько выскользнула из своей каморки и под прикрытием полной темноты так близко прокралась к нашим кроватям, что попала в разделявший их узкий проход, углубилась в него и оказалась как раз между своей госпожой и мною —

Так что, когда я протянул руку, я схватил *fille de chambre* за — — ²²²».

Литератор Джон Клеланд, автор знаменитого эротического романа «Мемуары женщины для утех» (1749), более известного по имени героини — «Фанни Хилл», вспоминает, что в одном из разговоров упрекнул Стерна, сказав, что его «непристойности не порождают зрительного ощущения. Тот в ответ: “Вы придумали мне оправдание. Значит они не приносят вреда”. “Но, — возразил я, — если ваш ученик напишет п — — — на стене, разве вы не пустите в ход розги?” Стерн никогда не мог мне этого простить»²²³.

Согласиться ли с Клеландом? Вспомним еще один игривый пассаж, неожиданно вклинившийся в путешествие Тристрама, описанное в седьмом томе романа: «— — Пожалуйста, милая Дженни, расскажи за меня, как я себя вел во время одного несчастья, самого угнетающего, какое могло случиться со мной — мужчиной, гордящимся, как и подобает, своей мужской силой. — —

— Этого довольно, — сказала ты, подходя ко мне вплотную, — когда я стоял со своими подвязками в руке, размышляя о том, чего *не* произошло. — — Этого довольно, Тристрам, и я удовлетворена, — сказала ты, прошептав мне на ухо *****. — — Другой бы мужчина на моем месте сквозь землю провалился. — —»²²⁴.

Кстати и Гейне невольно полемизирует с Клеландом, когда сопоставляет Стерна с немецким сентименталистом Жан-Полем (Рихтером): «Подобно Лоренсу Стерну и Жан-Поль в своих сочинениях предоставил в наше распоряжение свою собственную личность, он тоже раскрылся нам в своей человеческой наготе, но с известной не-

ловкой застенчивостью, особенно в половом отношении. Лоренс Стерн предстает перед публикой нагишом — он совершенно раздет; у Жан-Поля, наоборот, всего-навсего дырявые штаны. Неосновательно полагают некоторые критики, что у Жан-Поля было больше истинного чувства, чем у Стерна, потому что последний, как только предмет, трактуемый им, достигает трагической вершины, внезапно перескакивает на самый шуточный, самый смеющийся тон, тогда как Жан-Поль, едва шутка стала чуть-чуть посерьезней, понемногу начинает скулить и спокойно дает своим слезным железам освободиться от влаги. Нет, чувства Стерна были, быть может, еще глубже, чем чувства Жан-Поля, ибо он поэт более великий²²⁵.

А нужны ли такие «зрительные ощущения», которые порождает роман Клееланда, читатель может судить по небольшому отрывку, описывающему потерю невинности — здесь, правда, это слово не очень уместно — героини романа: «Очаровавший меня юноша и я слились теперь тело к телу полностью, каждой складочкой, каждым возвышением, каждым углублением; не в силах сдерживать буйство вернувшихся желаний, он двинул свою армию вперед, мягко раздвинул мои ноги своими, запечатал уста мои поцелуями, сочившимися огнем, снова изготовил таран и снова пустил его в ход, толчками прокладывая путь в прорванных мягких складках, а они отзывались на новое вторжение страданиями меньшими, чем тогда, когда случился первый прорыв»²²⁶.

Однако «позвольте мне собраться с мыслями и продолжить мой путь»²²⁷.

К вечеру 14 ноября Стерн добрался до Турина.

«Преодолев все трудности, я благополучно за восемь дней пересек Савойские горы. — пишет он из Турина Исааку Паншо. — Я остановился тут дней на десять, так как вся местность отсюда и до Милана залита непрекращающимися дождями — но я очень счастлив — и уже побывал в целой дюжине домов — завтра я буду представлен королю — после церемонии у меня будут десятки приглашений — здесь только один англичанин, сэр Джеймс Макдоналд, к которому относятся с большим уважением»²²⁸.

И через две недели тому же адресату: «Я выезжаю отсюда в Милан с сэром Джеймсом Макдоналдом —

Мы провели здесь развеселые две недели, нам были оказаны всякого рода почести, и с огорчением собираемся распрощаться, ибо здоровье, в моем случае, и здравый смысл, в его случае, подсказывают, что нам следует быть в Риме»²²⁹.

18 декабря он снова пишет Паншо уже из Флоренции: «Месяц путешествовал я по равнинам Ломбардии, — останавливаясь по дороге в Милане, в Парме, в Пьяченце и в Болонье — погода была восхитительная, — как в Англии теплый апрель — потом три дня переваливал через Апеннины. — Мрачный переход! — Остановился здесь на три дня пообедать у нашего полномочного посланника с лордом Тичфильдом и Каупером, а через пять дней пойду в Ватикан и буду представлен всем святым в Пантеоне. — Всем этим церемониям я уделю только две недели, после чего удираю в Неаполь»²³⁰.

Один из вставных эпизодов «Сентиментального путешествия» описывает пребывание Йори-

ка в Милане. Но так как Уилбур Кросс, биограф писателя, полагает, что он описывает реальное событие, и раскрывает имя дамы, спрятанной за звездочками, то мы вправе вплести его в биографию Стерна. Это — известная красавица маркиза Фаньяни.

Вот этот эпизод: «Однажды вечером в Милане я отправился на концерт Мартини и уже входил в двери зала как раз в тот миг, когда оттуда выходила с некоторой поспешностью маркезина де Ф*** — она почти налетела на меня, прежде чем я ее заметил, и я отскочил в сторону, чтобы дать ей пройти. Она тоже отскочила, и в ту же сторону, вследствие чего мы столкнулись лбами; она моментально бросилась в другую сторону, чтобы выйти из дверей; я оказался столь же несчастлив, как и она, потому что прыгнул в ту же сторону и снова загородил ей проход. — Мы вместе кинулись в другую сторону, потом обратно — и так далее — потеха, да и только; мы оба страшно покраснели; наконец, я сделал то, что должен был сделать с самого начала, — стал неподвижно, и маркезина прошла без труда. Я не нашел в себе силы войти в зал, пока не дал ей удовлетворения, состоявшего в том, чтобы подождать и проводить ее глазами до конца коридора. — Она дважды оглянулась и все время шла сторонкой, точно желая пропустить кого-то, поднимавшегося навстречу ей по лестнице. — Нет, — сказал я, — это дрянной перевод: маркезина имеет право на самые пылкие извинения, какие только я могу принести ей; и свободное место оставлено ею для меня, чтобы, заняв его, я это сделал. — Вот поче-

му я подбежал к ней и попросил прощения за принесенное беспокойство, сказав, что я намеревался лишь уступить ей дорогу. Она ответила, что руководилась тем же намерением по отношению ко мне — так что мы взаимно поблагодарили друг друга. Она стояла на верхнем конце лестницы; не видя подле нее *чицисбея*, я попросил разрешения проводить ее до кареты. — Так спустились мы по лестнице, останавливаясь на каждой третьей ступеньке, чтобы поговорить о концерте и о нашем приключении. — Честное слово, мадам, — сказал я, усадив ее в карету, — я шесть раз подряд пытался выпустить вас. — А я шесть раз пыталась впустить вас, — отвечала она. — О, если бы небо внушило вам желание попытаться в седьмой раз! — сказал я. — Сделайте одолжение, — сказала она, освобождая место возле себя. — Жизнь слишком коротка, чтобы долго возиться с ее условностями — поэтому я мигом вскочил в карету, и моя соседка повезла меня к себе домой. — А что случилось с концертом, о том лучше меня знает святая Цецилия, которая, я полагаю, была на нем.

Прибавлю только, что знакомство, возникшее благодаря этому переводу, доставило мне больше удовольствия, чем все другие знакомства, которые я имел честь завязать в Италии²³¹».

Странно, но впечатлений от пребывания в Риме в письмах Стерна практически нет. Есть косвенные сведения, что он был принят, и не однажды, Папой и представлен аристократическим семействам Дориа и Санта Кроче, но и об этом ни слова. Есть упоминание в «Сентиментальном путешествии» о встрече со Смоллет-

том (Смельфунгусом) в большом портике Пантеона, но это лишь художественный вымысел: во время пребывания Стерна в Риме Смоллетт находился в Англии.

В Риме к Стерну и Макдоналду присоединился молодой джентльмен по фамилии Эррингтон, с которым они раньше уже были знакомы, и к середине января все трое уже находились в Неаполе.

Из Неаполя 5 февраля Стерн пишет Холлу-Стивенсону:

«Я здесь счастлив, как король, толстею, жирею и смотрю молодцом — прибавляясь если не в росте, то в ширину. — У нас здесь идет веселый карнавал — каждый день оперы — комедии — балы и маскарады. — Мы все (то есть nous autres) сейчас наряжаемся для маскарада, который устраивает сегодня вечером княгиня Франкавилла, — он обещает быть великолепным. — Англичане обедают у нее (исключительно) — но довольно болтать — прибавлю еще только, что видел на прошлой неделе легкую комедию, которая была сыграна так выразительно и правдиво, с таким остроумием, что едва ли мне скоро доведется увидеть что-нибудь подобное. — Буду жить здесь до страстной недели, которую проведу в Риме, где задержусь на месяц»²³².

Как и намеревался, Стерн со всей компанией в марте выехал обратно в Рим. 17 марта, через два дня по приезде, он пишет сэру Уильяму Гамильтону:

«Наше с другом путешествие у Mount Cassino не обошлось без множества происшествий, но все излечили шутки и смех. Мы обедали, ужина-

ли и ночевали в монастыре Cassino, где нас принимали по-царски, — и в 11 утра в субботу мы прибыли сюда в полном здравии, если не считать, что конь размером с верблюда налетел на меня на полном галопе и расплющил меня в лепешку, — но сейчас я вновь в прежней форме»²³³.

При повторном посещении Рима Стерн позировал известному английскому скульптору Джозефу Ноллекенсу для бюста в терракоте. Считается, что наряду с первым портретом Рейнолдса это одно из наиболее удачных изображений Стерна. Сам скульптор остался очень доволен своей работой и пожелал увековечить себя вместе с этим своим творением: на портрете кисти Дэнса Ноллекенс изображен опирающимся на терракотовый бюст Стерна²³⁴.

У нашего современника может вызвать недоумение, что скульптор изобразил Стерна без привычного парика, а с какими-то античными завитушками. Но такова была художественная мода того времени. Греко-римская скульптура, особенно после раскопок Геркуланума и Помпеи, стала для Академии мерилom прекрасного. Скульпторы Ноллекенс и Флакман настаивали на том, что изображения даже современных государственных деятелей должны быть задрапированы в тоги древних. Вспомним статую Чарлза Фокса на Блумсбери-сквер в Лондоне, или, поближе к нам, — изображение Суворова у Марсова поля в Петербурге. Так что Стерну еще повезло: отделался лишь античной шевелюрой.

Стерна соблазняли грандиозным путешествием по Европе, прежде чем вернуться в Ан-

глию. В начале февраля он пишет «кузену Энтони»: «Мой план был поехать оттуда <из Рима — К. А.> на две недели во Флоренцию, — а затем через Ливорно и Марсель, прямо домой, — но я его изменил вследствие многократных просьб сопровождать одного джентльмена, который возвращается через Венецию, Вену, Саксонию, Берлин и Спа, а оттуда через Голландию в Англию, — джентльмен этот — мистер Эррингтон»²³⁵. Однако, в конечном счете, Стерн, вероятно, вернулся к первоначальному плану, так как хотел повидаться с женой и дочерью. В конце апреля он уезжает из Рима, оставив там разболевшегося Макдоналда. Тот и в Неаполе недомогал, в Риме же его состояние ухудшилось. Лихорадка, ревматизм и дурное лечение привели к тому, что 26 июля молодой человек скончался.

К 1 мая Стерн был уже во Франции. Какое-то время ушло на поиски жены, которая сменила место жительства. «Кажется, ни один муж не гонялся так бессмысленно за женой, как я, — пишет он в конце мая Холлу-Стивенсону, — после бесплодных поисков в пяти или шести различных городах я, наконец, нашел ее во Франш-Конте. — Бедная женщина! Она встретила меня очень радушно и т. д. и просит позволения остаться здесь еще год или два — очень радуется меня моя Лидия — я нашел, что она во всем сделала большие успехи»²³⁶.

Направляясь к Дижону, Стерн заехал «в прелестный замок графини де М., где роскошествовал целую неделю в обществе ее сиятельства и десятка других очень красивых и милых дам. <...>

Какой это прелестный уголок! Погода божественная, мы целый день лежим на траве, не чувствуя никакой сырости, — так проходит время, если не считать возбуждения ума (ибо ее сиятельство не скупится на вино), вызываемого дважды в день лучшим бургундским из лоз, которые растут на горах, виднеющихся на горизонте». «Завтра, к сожалению, — пишет он в том же письме, — я должен покинуть этот приятный кружок и скакать днем и ночью на почтовых в Париж, куда приеду через два дня, чтобы только привести себя в порядок и катить дальше в Кале»²³⁷.

Во время совсем недолгого пребывания в Париже он, однако, успел познакомиться, вероятно, на обедах у Гольбаха, с аббатом Галиани, который с 1759 по 1769 год был секретарем неаполитанского посольства в Париже. Экономист, философ, остро слов, он был одним из выдающихся деятелей итальянского Просвещения. (Только подумать — какое счастливое было время: Дэвид Юм — секретарь британского посольства в Париже, аббат Галиани — неаполитанского!) Стерн, правда, ему показался скучноватым, но одна его острога аббату запомнилась. Много лет спустя он написал мадам д'Эпине: «Единственная забавная вещь, которую я услышал от этого надоедливого мсье Стерна, было утверждение, что гораздо лучше умереть в Париже, чем жить в Неаполе»²³⁸.

ПОСЛЕДНИЙ ТОМ «ТРИСТРАМА ШЕНДИ»

Июль 1766 — январь 1767

— Господи! — воскликнула мать, — что это за историю они рассказывают? — —
— Про БЕЛОГО БЫЧКА, — сказал Йорик, — — и одну из лучших в этом роде, какие мне доводилось слышать.

Л. Стерн. Тристрам Шенди

К середине лета Стерн был уже в Коксуолде: «...теперь я сижу в своем мирном уголке и пишу девятый том Тристрама — в этом году выпущу только один том, а в следующем начну новое сочинение в четырех томах и, когда его закончу, буду продолжать Тристрама со свежими силами. — Насколько иная здесь обстановка! Но если у вас есть расположение к счастью, то никакая обстановка не сделает нас несчастными. — Словом, счастье каждого человека зависит от него самого — глупец он, если им не пользуется»²³⁹.

Порадовало его, а возможно, и позабавило, письмо от совсем неожиданного поклонника его таланта. Игнатий Санчо был негритянским невольником, родившимся на корабле, курсировавшем между Африкой и испанскими владениями в Южной Америке. При крещении он получил имя Игнатий, был привезен в Англию, где сменил нескольких хозяев. Его письмо осталось

в записной книжке писателя. Есть предположение, что при переписывании Стерн слегка отредактировал текст:

Ваше преподобие,

Было бы оскорблением (или чем-то похожим на оскорбление) вашей гуманности извиняться за смелость, которую я беру на себя, обращаясь к вам — незнакомый к незнакомому. Я принадлежу к числу тех людей, которых грубая и непросвещенная чернь называет неграми. — В раннем возрасте я был довольно несчастлив, так как попал в семью, считавшую невежество лучшей порукой послушания; я научился немного читать и писать только благодаря неутомимому прилежанию. — В последние годы моей жизни мне, однако, более повезло: я их провел на приличной службе в одной из лучших фамилий нашего королевства; главным моим удовольствием были книги; филантропию я обожаю. — Как сильно я вам обязан, сэръ, за радующий душу образ вашего милого дядюшки Тоби! Уверяю, что я бы готов был пройти пешком десять миль в самые жаркие дни, чтобы только пожать руку честному капралу. — Ваши проповеди, сэръ, действуют бодряще; но тут я касаюсь пункта, послужившего причиной этого обращения к вам. В вашем десятом рассуждении — том второй, страница семьдесят восьмая — есть такое поистине трогательное место: «Поразмыслите, какую великую часть рода человеческого во все века, вплоть до нынешнего, топтали жестокие и своенравные тираны, не внемля стонам несчастных и не зная жалости к их страданиям. — Подумайте о рабстве — что это такое — какая это горькая чаша, и сколько миллионов обречено испить ее!» —

Из всех любимых моих писателей не могу припомнить ни одного, который приберег бы слезу для горестей моих несчастных черных братьев, исключая вас и подлинно гуманного автора, сэра Джорджа Эллисона. Я думаю, сэр, вы простите, и, может быть, даже одобрите усердную мою просьбу к вам — уделить полчаса внимания рабству, существующему в настоящее время в Вест-Индии; осветив этот предмет свойственным вам одному образом, вы облегчите иго многих, может быть, даже вызовете коренное преобразование на наших островах. Но если даже это принесет облегчение только одному — Боже милосердный! Какой праздник! А я твердо уверен, что Йорик — эпикуреец в делах милосердия. — Вас так усердно читают, и все вами так восхищаются — что вы не можете потерпеть неудачу. Подумайте, сэр, во мне вы видите вздетые руки миллионов моих черных братьев — Горе (согласно вашему прочувствованному замечанию) красноречиво — представьте себе их позы — внемлите их горячему обращению, — гуманность не может остаться глухой. — В каковой смиренной надежде позволяю себе подписаться, ваше преподобие, ваш нижайший и покорнейший слуга
Игнатий Санчо²⁴⁰.

А вот и ответ:

Странные бывают совпадения в маленьких событиях, как, впрочем, и в великих, на этом свете; ведь я писал трогательный рассказ о горестях бедной заброшенной девочки-негритянки, и только что ощутил в глазах жжение по этому поводу, как ко мне пришло ваше рекомендательное письмо в пользу стольких ее братьев и сестер — но почему же *ее бра-*

твев — или ваших, Санчо, скорее, чем моих? Ведь, спускаясь от самого светлого лица в аристократических кварталах Лондона до черных, как сажа, физиономий в Африке, природа пользуется тончайшими оттенками и едва уловимыми переходами; на каком же из этих оттенков, Санчо, узы крови и дружбы ослабляются? И на сколько тонов гаммы должны мы спуститься еще ниже, чтобы вместе с ними поблекло милосердие? Между тем, добрый мой Санчо, целая половина человечества не находит ничего ненормального в том, чтобы обращаться с другой его половиной, как со скотами, и всеми силами старается сделать из нее настоящих скотов.

Что касается меня лично, то я никогда не обращаю взора на запад (по крайней мере, когда на душе у меня грустно), но думаю о бремени, которое наши братья несут здесь; и если бы я мог снять хотя бы унцию с плеч у несчастных, изнемогающих под непосильной тяжестью, я бы совершил ради них паломничество в Мекку — что, к слову сказать, Санчо, превосходит вашу десятимильную прогулку с целью взглянуть на честного капрала, приблизительно в той же мере, в какой визит, продиктованный человекомлюбием, стоит выше чисто официального визита, — во всяком случае, если вы имели в виду капрала, скорее он ваш должник, чем наоборот.

Если мне удастся вплести нарисованный мной рассказ в произведение, над которым я сижу, он послужит к защите угнетенных — и делу гораздо более важному: ибо, по совести говоря, каким огромным пятном на человечестве лежит то, что столь значительная его часть томится с давних пор в цепях темноты и в цепях нищеты; я могу только выразить вам свое уважение и поздравить вас с тем, что при по-

мощи вашего похвального прилежания вы освободились от первых — и что, отдав вас в руки столь доброй и милостивой судьбы, провидение избавило вас от вторых. — Итак, добрый Санчо, до свиданья! И будьте уверены, что я не забуду вашего письма,
Л. Стерн²⁴¹.

Переписка и личное знакомство со Стерном («надеюсь, будущей зимой вы не забудете вашего обычая навещать меня на моей квартире в Лондоне», — пишет ему Стерн из Коксуолда) сделали Санчо настолько известной фигурой, что Гейнсборо написал его портрет (об этом есть пометка в записной книжке Стерна).

Это знакомство не так удивительно, если учесть общее настроение просвещенных англичан во второй половине XVIII века.

Работорговля в Англии процветала в этот просвещенный век. Она поддерживалась и осуществлялась путем своего рода круговорота: хлопчатобумажные ткани Ланкаширских мануфактур вывозились в Африку, обменивались на негров, которых корабли везли в трюмах в британские колонии Северной Америки, и возвращались в Англию, груженные сахаром, табаком и хлопком для тех же Ланкаширских мануфактур.

Таких невольничьих кораблей было много. Сохранилась статистика на 1771 год: 58 кораблей из Лондона, 23 — из Бристоля и 107 — из Ливерпуля. В общей сложности они перевезли в тот год 50 тысяч негров.

Но возмущение в обществе нарастало.

Еще всеми нами любимый Робинзон Крузо в молодости занимался работорговлей и не ви-

дел в этом ничего предосудительного. Он даже и своего товарища, мальчика Ксури, не пожалел. Однако к середине века работорговля возмущает Сэмюэла Джонсона. А Хорейс Уолпол, член парламента, как уже упоминалось, пишет в 1750 году об одном из заседаний: «Последние две недели мы заседали по поводу Африканской кампании; мы, британский сенат, этот храм свободы и оплот протестантского христианства, последние две недели обдумывали способы — как сделать более эффективной эту ужасную перевозку проданных негров! Для нас очевидно, что ежегодно 46 тысяч этих несчастных продается только на наших плантациях! Стынет кровь! Я не хотел бы, чтобы мне пришлось говорить, что я голосовал за это, действуя в интересах Америки»²⁴².

Коснулся этой темы Стерн не только в проповеди, но и в «Тристраме Шенди».

Правда, «рассказ о горестях бедной брошенной девочки-негритянки» Стерн только пообещал написать, вернее, капрал Трим в шестой главе девятого тома пообещал рассказать ее историю «как-нибудь в ненастный вечер», но, как и многие другие обещания, разбросанные по роману, оно осталось невыполненным.

Однако несколько слов на тему, как теперь мы бы выразились, расовой дискриминации все же было сказано: «— Есть у негров душа, смею спросить вашу милость? — проговорил капрал (с сомнением в голосе).

— Я не очень сведущ, капрал, в вещах этого рода, — сказал дядя Тоби, — но мне кажется, Бог не оставил бы их без души, так же как тебя и меня. — —

— — Ведь это значило бы чересчур превозносить одних над другими, — проговорил капрал.

— Разумеется, — сказал дядя Тоби.

— Почему же тогда, с позволения вашей милости, обращаться с черной девушкой хуже, чем с белой?

— Я не вижу для этого никаких оснований, — сказал дядя Тоби. — —

— Только потому, — воскликнул капрал, покачивая головой, — что за нее некому заступиться. — —

— Именно поэтому, Трим, — сказал дядя Тоби, — — мы и должны оказывать покровительство ей — и ее братьям также: *сейчас* военное счастье вручило хлыст нам — — у кого он может очутиться в будущем, Господь ведает! — но в чьих бы руках он ни был, люди храбрые, Трим, не воспользуются им бессердечно.

— — Сохрани Боже! — сказал Трим.

— Аминь, — отвечал дядя Тоби, положив руку на сердце²⁴³».

Стерн не приминул подпустить в этот, пожалуй, чересчур благостный для него разговор немного сентиментальной иронии: негритянка пучком белых перьев «отгоняла мух — не убивая их», так как, по выражению дяди Тоби, «научилась милосердию». Вспомним хрестоматийную сценку, когда сам дядя Тоби отпускает муху, жужжавшую у него под носом, со словами: «Ступай, — ступай с Богом, бедняжка, — — зачем мне тебя обижать? Свет велик, в нем найдется довольно места и для тебя, и для меня»²⁴⁴. Уилбур Кросс отмечает, что с легкой руки Стерна в светских кругах вошло в моду, проявляя «милосердие», отгонять мух, не убивая их, а лишь отмахиваясь или брызгая на них холодной водой.

Однако «милосердие» не помешало Стерну как раз в период работы над девятым томом «Тристрама» заниматься «огораживанием» общинных земель.

В начале XVIII столетия огораживание общинных выгонов, полей и пустошей еще не стало национальной политикой и происходило путем купли-продажи или договоренности между заинтересованными сторонами. Однако с 1730-х годов эта процедура стала регулироваться через частные парламентские акты, обязательные к исполнению. В царствование Георга III такие парламентские акты носили массовый характер, процесс огораживания все убыстрялся. Отнятая общинная земля возмещалась крестьянину либо деньгами, либо небольшим земельным участком, часто плохого качества и в неудобном месте. Дж. М. Тревельян отмечает: «Огораживание общинных выгонов, хотя и очень желательное с точки зрения национального производства, означало лишение бедного человека его права иметь корову и гуся, а часто и многих других прав – права заготовки топлива и т. п., пользуясь которыми он поддерживал независимое существование»²⁴⁵.

В свое время, в 1759 году, как викарий Саттона Стерн получил в собственность по такому парламентскому акту 60 акров общинных земель вместе с находившимися на них строениями.

Теперь, в 1766 году, парламентским актом была удовлетворена просьба Стивена Крофта, Стерна и нескольких мелких лендлордов об огораживании некоторых общинных полей и лугов, на-

ходившихся на землях прихода Стиллингтон. Это повлекло появление парламентских комиссаров для урегулирования всякого рода мелких организационных вопросов, общение с которыми для Стерна было крайне утомительно. «С тех пор, как мы расстались, тысячи самых ничтожных мелочей (и даже меньше, чем мелочей) постоянно выхватывают перо у меня из рук»²⁴⁶, — жалуется он в середине июля Холлу-Стивенсону.

Темы бесцеремонного обращения с земельными угодьями Стерн коснулся в девятом томе «Тристрама», когда упомянул, что дядя Тоби и Вальтер Шенди «ездили спасать красивую рощу, которую декан и капитул распорядились срубить в пользу нищих, между тем как названная роща, будучи хорошо видна из дома дяди Тоби, оказывала ему неоценимые услуги при описании битвы под Виннендалем». Этот пассаж Стерн снабдил авторским ироническим примечанием: «Мистер Шенди, должно быть, хочет сказать нищих *духом*, так как преподобные отцы поделили деньги между собой»²⁴⁷.

Но материальным благополучием Стерн не мог пренебрегать — пребывание его семьи за границей требовало все новых затрат. Миссис Стерн наняла замок неподалеку от Авиньона на юге Франции и просит внеочередной денежный перевод, о чем Стерн пишет своему парижскому банкиру: «описание замка, который наняла моя жена, поистине прелестно — на берегу источника Воклюз — семь комнат в одном этаже, убранных наполовину коврами, наполовину голубой тафтой, с разрешением удить рыбу и пользоваться дичью: столько-то куропа-

ток в неделю и т. д., и цена — угадайте! — шестнадцать гиней в год — это на вашем попечении, Паншо. К концу следующего месяца жене моей понадобится сто гиней — будьте так добры, дорогой Паншо, распорядитесь на этот счет, чтобы ее не постигло разочарование. — Она собирается провести рождественский карнавал в Марселе — сам я на Рождество буду в Лондоне и тогда покрою этот перевод миссис Стерн платежом мистеру Селвину. В Лондоне собираюсь разрешиться еще одним младенцем шендианской породы — надеюсь, вы желаете мне благополучных родов»²⁴⁸.

(Скажем в скобках, — ведь жаль было бы опустить такую деталь, — мир тесен, и в этом роскошном замке Лидия Стерн оказалась соседкой аббата де Сада, дяди пресловутого маркиза, и этот милый старичок учил ее французскому и редактировал ее переводы проповедей Стерна.

Более того, жена и дочь писателя познакомились и с самим маркизом де Садом и были гостями в его замке близ Авиньона: «Жаль, что вы не присутствуете на здешних скачках, но *les fêtes champêtres** маркиза де Сад отлично их вам заменили»²⁴⁹, — пишет Стерн дочери.)

В письме к Паншо речь идет о девятом томе «Тристрама Шенди». Завершив его, Стерн в начале января 1767 года выехал в Лондон, несмотря на дурную погоду — лошади шли по брюхо в снегу, — утверждал он в одном из писем. Тот же снегопад продолжался первые дни и в столице:

* праздники на лоне природы (*фр.*).

«Когда вчера утром мы проснулись, — пишет он 9 января в Йорк лорду Фоконбергу, — улицы были на 4 дюйма в снегу — и он сопровождается лютым морозом...»²⁵⁰.

Он снял комнаты на Бонд-стрит, дом 41, над мастерской по изготовлению париков.

Там посетил его в один из январских дней итальянский писатель Алессандро Верри, с которым Стерн познакомился во время своего итальянского путешествия. В письме брату Верри пишет о гостеприимстве Стерна: «Он угостил меня шоколадом и был очень обходителен: снял с меня пальто, промокшее от дождя, и повесил его на спинке стула, обнял меня, пожал мне руку и усадил поближе к огню». Через несколько дней они встретились вновь на какой-то публичной ассамблее и приятно беседовали, в основном о «Сентиментальном путешествии», над которым работал Стерн. Верри отметил, что Стерн был не в своем обычном черном костюме, а в сером кафтане и носил короткий парик²⁵¹.

В тот приезд Стерн проводил много времени в доме герцога Йоркского. Именно там он вскоре познакомился с коммодором Уильямом Джеймсом (коммодор — это морской чин, между капитаном и контр-адмиралом), который в свое время служил в британском флоте у берегов Индии, боролся с пиратами, которые угрожали торговым судам Ост-Индской кампании, принимал участие в военных действиях против Франции. Возвратившись в Англию в 1759 году, коммодор женился и получил пост председателя совета директоров Ост-Индской компании.

В гостеприимном доме супругов Джеймс на Джерард-стрит Стерн становится частым гостем. Редкое воскресенье обходилось без его визита на Джерард-стрит. О супругах Джеймс он восторженно пишет дочери: «Мистер Джеймс обладает всеми положительными качествами мужчины — благородство и храбрость — самые характерные его особенности, не раз ярко в нем проявлявшиеся. — Ты лучше с ним познакомишься, прочитав “Историю” Орма, которую я тебе посылаю вместе с просимыми тобой книгами, а Орм <...> это писатель изящный и правдивый; он никому не расточает похвал, жертвуя истиной. — Миссис Джеймс — мила — доброжелательна — сентиментального образа мыслей — и такого простого нрава, что, право, она слишком хороша для мира, в котором она живет. — Праведный Боже! Если бы все были похожи на нее, то-то была бы жизнь!»²⁵²

Наконец к середине месяца наступила оттепель, и все столичное светское общество, кому посчастливилось достать билеты, отправилось 15 января в Карлайл-Хаус на первую в сезоне ассамблею, устроенную Анной Терезой Корнелис.

Устроительница этих ассамблей и концертов была женщина с уникальной судьбой. Итальянка, родившаяся в театральной семье в Венеции (отца звали Джузеппе Имер), обладательница оперного сопрано, она сменила немало любовников (включая Казанову, от которого у нее была дочь, сенатора Малипьеро, маркиграфа Фредерика), и немало театральных подмостков в Вене, Париже, Амстердаме и Лондоне, выступала в 40-х годах в Хеймаркет-театр, а позднее

в труппе Глюка. Но театральная карьера складывалась не блестяще. В 1759 году она вновь появилась в Лондоне, но уже в несколько ином амплу. Арендовав великолепное здание — Карлайл-хаус в Сохо, — она стала устраивать ассамблеи, которые постепенно очаровали весь фешенебельный Лондон.

Хотя билеты на эти вечера (они устраивались примерно раз в месяц) были довольно дороги, они приобретались заранее и достать их было непросто. Сохранились две записки Стерна к Джеймсам от 3 и 4 января, в которых он просит извинения, что не смог достать им билеты на вечер мадам Корнелис. Стерн восторженно описывает это событие в письме лорду Фоконбергу: «Прошлым вечером потеплело. Зал во время концерта в Сохо был переполнен — это были (передайте дамам) лучшая ассамблея и лучший концерт, на которых мне довелось побывать. Леди Анна была так любезна, что окликнула меня, а то я бы ее не узнал, так благопристойно была она закутана»²⁵³.

Не меньший восторг после посещения этих ассамблей выражал даже мизантроп Смоллетт в «Путешествии Хамфри Клинкера»: «Ассамблеи миссис Корнелис — залы, их убранство, публика, туалеты — превосходят всякое описание». А герой теккереевского «Барри Линдона» замечает: «Все путаны высшего света и полусвета собираются там»²⁵⁴.

Несмотря на небывалую популярность вечеров миссис Корнелис, она постоянно испытывала материальные затруднения, так как на роскошные ассамблеи тратила больше, чем полу-

чала от продажи билетов. В 1772 году имущество Карлейль-хауса было продано с молотка, а хозяйка салона попала в долговую тюрьму. Ей удалось из нее выбраться и даже предпринять несколько новых попыток добиться успеха, но все они закончились неудачей, и на 74-м году жизни мадам Корнелис скончалась во Флитской тюрьме.

Две недели спустя после вечера у мадам Корнелис вышел в свет долгожданный — последний — том «Тристрама Шенди».

Критики часто задаются вопросом: закончили ли Стерн «Тристрама Шенди»?

Есть многочисленные утверждения повествователя, что он будет писать воспоминания до окончания дней своих. Есть утверждение в одном из писем Стерна, что он прерывается для написания четырех томов «Сентиментального путешествия», а потом «будет продолжать «Тристрама» со свежими силами», есть заявление Стерна от 6 января: «Я не разрешился десятым томом из-за сильнейшей лихорадки, от которой я только что оправился»²⁵⁵. Но все это надо воспринимать *cum grano salis**.

Давайте вчитаемся в текст. Неужели не увидим мы в нем, несмотря на весьма фривольную историю ухаживаний дяди Тоби, грустную, лирическую, прощальную тональность, какой не было в ранних томах?

«Время так быстротечно; каждая буква, которую я вывожу, говорит мне, с какой стремительностью Жизнь несется за моим пером; дни и часы ее, более драгоценные, милая Дженни, неже-

* критически, с осторожностью (лат.).

ли рубины на твоей шее, пролетают над нами, как легкие облака в ветренный день, чтобы никогда уже не вернуться, — — всё так торопится — — пока ты завиваешь этот локон, — — гляди! он поседел; каждый поцелуй, который я запечатлеваю на твоей руке, прощаясь с тобой, и каждая разлука, за ним следующая, являются прелюдией разлуки вечной, которая нам вскоре предстоит. — —
— — Боже, смилуйся над нею и надо мной!»²⁵⁶

Видно, что это пишет смертельно больной человек.

Но кроме того есть и тщательная «закольцованность» самого текста.

Посвящение вновь адресовано Уильяму Питту, «великому человеку», который в 1766 году снова стал премьером и получил титул графа Чатема. В наших изданиях романа небрежно проставлены звездочки (кто теперь скажет, переводчик или редактор в том повинен?): рядом с «мистером» их должно быть три, а рядом с «лордом» — пять. Кроме того, в Посвящении нашего издания опущена стихотворная цитата из первой эпистолы «Опыта о человеке» Александра Поупа.

Но как изменился тон этого Посвящения! Вместо почтительного и серьезного (*почти серьезного!*) обращения к «досточтимому мистеру Питту»: «Покорно прошу вас, сэръ, оказать этой книге честь, взяв ее (не под защиту свою, она сама за себя постоит, но) с собой в деревню, и, если мне когда-нибудь доведется услышать, что там она вызвала у вас улыбку, или можно будет предположить, что в тяжелую минуту она вас развлекала, я буду считать себя столь же счастливым, как

министр, или, может быть, даже счастливее всех министров (за одним только исключением), о которых я когда-либо читал или слышал»²⁵⁷, — в Посвящении последнего тома «Тристрама» звучат почти ёрнические нотки раскованного, уверенного в своей славе человека: «Вознамерившись *a priori** посвятить любовные похождения дяди Тоби мистеру *** — я *a posteriori*** нахожу больше оснований посвятить их лорду *****. <...>

О лорде ***** я не лучшего и не худшего мнения, чем был о мистере ***. Почести, подобно оттискам на монетах, могут придать идеальную и местную ценность куску неблагородного металла; но золото и серебро будут иметь хождение повсюду без всякой иной рекомендации, кроме собственного веса.

То же самое благорасположение, которое внушило мне мысль обеспечить получасовое развлечение мистеру ***, когда он был не у дел, — руководит мной еще сильнее в настоящее время, поскольку получасовое развлечение будет более полезным и освежающим после работы и огорчений, чем после философской трапезы»²⁵⁸.

В девятом томе вновь появилась «милая Дженни», которая почти исчезла после первых томов; вновь упомянут — пусть не сам, а его произведение «Божественная миссия Моисея», — епископ Уорбёртон. И, главное, вновь возникла тема зачатия и ежемесячного исполнения супружеского долга, с которой начинается роман.

А чем роман кончается?

* заранее (лат.).

** позже, поразмыслив (лат.).

Время зачатия Тристрама можно установить с точностью до дня, так как у его отца вошло в привычку в первое воскресенье каждого месяца заводить часы в холле, а также выполнять свой супружеский долг. Неудивительно, что манипуляции с часами стали ассоциироваться в сознании миссис Шенди с половым актом, и наоборот.

Последняя глава романа тоже приходится на первое воскресенье месяца²⁵⁹.

В девятом томе говорится о быке Вальтера Шенди, который обслуживал все приходское стадо, хоть это было ему и нелегко. (Кстати, деталь вполне жизненная — содержать быка действительно было обязанностью приходского сквайра, как самого богатого человека в приходе.) Однажды слуга мистера Шенди Обадия — тот самый злосчастный Обадия, к которому было обращено Эрнульфово отлучение, — привел к быку свою корову.

«...Случаю угодно было, чтобы это произошло в тот самый день, когда Обадия женился на горничной моего отца, — — таким образом, одно из этих событий было отправной точкой для исчисления другого. Поэтому, когда жена Обадии родила, — Обадия возблагодарил Бога.

— Теперь, — сказал Обадия, — у меня будет теленок²⁶⁰».

Как видим, роман и завершается темой зачатия и связанной с нею парадоксальной ассоциацией идей.

Вероятно, стремясь подчеркнуть эту цикличность, А. Франковский перевел выражение «the story about ... A COCK AND A BULL» в послед-

ней фразе романа (ее мы поставили эпиграфом к этой главе) как «история про БЕЛОГО БЫЧКА». Однако в английском тексте сюжетная закольцованность выражена в схожести первого и последнего эпизода романа, а вовсе не в последней (кстати, не совсем пристойной) фразе, которую, чтобы сохранить двусмысленность оригинала, следовало бы перевести – «история... про БЫКА И ЕГО КОНЕЦ».

Естественно, нашлось «несколько благожелателей», которые обратились с письмом к архиепископу Йоркскому, где неприкрыто намекалось, что автор фривольного романа должен заплатить саном за сочинения, недостойные священнослужителя. Но архиепископ Драммонд, радушно и весьма часто принимавший Стерна в своем доме, оставил письмо без внимания.

В целом, и читатели, и критики отнеслись к этому тому положительно. Даже «Критикл ревью», пожелав, правда, чтобы «том был более уместен для ушей невинности», сделало несколько комплиментов.

Особенно восхитил чувствительных читателей неожиданный вставной эпизод встречи Тристрама с Марией из Мулена, бедняжкой, потерявшей рассудок из-за несчастной любви. Почему, при всей хаотичности изложения, этот эпизод все же оказался здесь, а не в седьмом томе, где Тристрам описывает свою поездку во Францию?

Уилбур Кросс делает убедительное предположение, что эта сентиментальная сценка была задумана как анонс или реклама грядущего «Сентиментального путешествия», где будет

уже Йорик, а не Тристрам вновь встречаться с несчастной Марией²⁶¹.

Любопытно сопоставить эти два эпизода. В «Тристраме Шенди» чуть больше иронии, в «Сентиментальном путешествии» чуть больше чувствительности. Но концовки совпадают местами почти дословно.

«Тристам Шенди»:

«Мария задумчиво посмотрела на меня, потом перевела взгляд на своего козла — — потом на меня — — потом снова на козла, и так несколько раз. — —

— — Ну, Мария, — сказал я ласково. — — В чем вы находите сходство?

<...>

Прощай, Мария! — прощай, бедная незадачливая девушка! — когда-нибудь, но *не теперь*, я, может быть, услышу о твоих горестях из твоих уст. — — Но я ошибся; ибо в это мгновение она взяла свою свирель и рассказала мне на ней такую печальную повесть, что я встал и шатающейся неверной походкой тихонько побрел к своей карете.

— — — Какая превосходная гостиница в Мулен!»²⁶²

И вот наступило это «*не теперь*»:

«Сентиментальное путешествие»:

«Я сел рядом с ней, и Мария позволила мне утирать их <слезы — К. А.> моим платком, когда они падали, — потом я смочил его собствен-

ными слезами — потом слезами Марии — потом своими — потом опять утер им ее глаза — и, когда я это делал, я чувствовал в себе неописуемое волнение, которое, я уверен, невозможно объяснить никакими сочетаниями материи и движения.

Я нисколько не сомневаюсь, что у меня есть душа, и все книги, которыми материалисты наводнили мир, никогда не убедят меня в противном.

<...>

Прощай, бедная, несчастливая девушка! Пусть раны твои впитают елей и вино, проливаемые на них теперь состраданием чужеземца, который едет своей дорогой — лишь Тот, кто дважды тебя поразил, может урочевать их навек»²⁶³.

Фрагмент девятого тома, посвященный Марии из Мулена, подобно чувствительной истории Лефевра, был перепечатан многими лондонскими журналами.

Случайно ли — ибо что в нашей жизни происходит случайно, — именно в тот лондонский приезд, зимой 1767 года, Стерна ожидало, пожалуй, самое сентиментальное переживание всей его жизни? Возможно, он его ждал, возможно, психологически он был к нему готов.

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Январь — лето 1767

...Ведь все это, моя Элайза, я переживаю в своем воображении, и с такой силой, что не могу больше вынести.

Л. Стерн. Дневник для Элайзы

В гостеприимном доме супругов Джеймс на Джерард-стрит собиралось по большей части англо-индийское общество. Именно там, в январе 1767 года, Стерн встретил свою позднюю любовь Элайзу Дрейпер.

Элайза была женщиной незаурядной с необычной судьбой, о которой стоит рассказать.

Элизабет Дрейпер, урожденная Склейтер, родилась в 1744 году в Индии, где служил ее отец, который умер через два года после рождения ребенка, а еще двумя годами позднее умерла и мать. Осиротевшую девочку вместе с ее двумя сестрами отправили в Англию к дедушке, Чарльзу Уайтхиллу. Девочек отдали в школу в окрестностях Лондона, где, как позднее писала Элайза, их не учили ничему полезному, лишь «хорошим манерам, умению одеваться со вкусом, немного танцам и пению»²⁶⁴. В 1757 году Элайза вернулась в Индию: ее дед обосновался в Бом-

бее, по ее утверждениям, «в лучшем доме в городе», где по вечерам собиралось большое общество. В этом доме тринадцатилетняя девочка вскоре познакомилась с Дэниэлом Дрейпером, преуспевающим служащим Ост-Индской компании, за которого и вышла замуж. Муж был старше ее на 20 лет. Вскоре он получил пост главного бухгалтера при правительстве в Бомбее. Коллеги утверждали, что это был «мягкий и очень добродушный человек»²⁶⁵.

В 17 лет Элайза была уже матерью двоих детей: в 1759 году родился сын, через два года — дочь, ее назвали в честь матери, но сокращенно не Элайза, а Бетси. В 1765 году детей привезли в Англию, чтобы, как это было принято, они получили соответствующее воспитание и образование. Вскоре отец вернулся в Индию, а мать задержалась для поправки здоровья, подорванного ранними родами и жарким климатом Индии. Элайза очень подружилась с миссис Джеймс, стала своим человеком в их доме, в кругу лондонских и оксфордских знакомых ее называли *la belle Indienne**.

Ее привлекательность и некоторая начитанность (в письмах она довольно свободно цитировала поэтов и эссеистов начала XVIII века), а также необычность ее биографии и избранное ею амплуа страдальницы не могли не привлечь внимания влюбчивого Стерна. Вскоре после знакомства между ними началась переписка. В январе Стерн шлет ей свои книги с такой запиской:

* индийская красавица (*фр.*).

Элайза получит вместе с этим и мои книги — Проповеди вылились прямо из моего сердца — — Я хотел бы, чтоб уже одно это, как их ни называй, дало право предложить их вашему. — — Остальное вышло из головы — я более равнодушен к тому, какой прием будет этому оказан. — —

Не знаю, как это случилось — — но я наполовину в вас влюблен — — следовало бы влюбиться *полностью* — ведь я никогда так не ценил (и не находил ни в ком более хороших качеств, чтобы ценить) — и никогда столь высоко не ставил ни одну женщину, как ставлю вас. — —

Итак, прощайте,

Искренно (следовало бы, с любовью)

Л. Стерн²⁶⁶.

Книги, разумеется, послал, но все же боялся, что чувствительная Элайза осудит фривольные пассажи «Тристрама Шенди». Как отличается тон этого сдержанно-сентиментального письма от игривых писем многим другим женщинам, с которыми флиртовал Стерн! Письмо к одной из них — Мэри Макартни, в замужестве леди Литглтон, мы не процитировали в свое время — оно датируется июнем 1760 года. Так приведем хотя бы начало его здесь — жаль оставить такое письмо без внимания.

«Сосуд холодной воды в самой выжженной части бесплодной аравийской пустыни, налитый рукой ангела томимому жаждой паломнику, не мог бы быть принят с большей благодарностью, чем письмо мисс Макартни. — Скажите, сравнение это не слишком пылкое? Оно не звучит слишком по-восточному? Если так, я мог бы легко его исправить, сказав с ленивой вяло-

стью бесчувственного Джона Трота (*suivant les ordonnances**), что *“письмо ваше от восьмого текущего месяца дошло до меня в целости”*²⁶⁷.

Завязавшиеся возвышенные дружеско-любственные отношения длились недолго: из Индии пришло письмо от мужа, который настаивал на возвращении супруги. От огорчения Элайза захворала. На какое-то время это оттянуло неизбежный отъезд. Сохранилось февральская записка Стерна, судя по всему, относящаяся к периоду этой болезни:

Не могу успокоиться, Элайза, хоть знаю, что зайду к вам в половине первого, пока не узнаю, как вы себя чувствуете. — Да будет милое личико твое улыбаться, подобно солнышку, когда ты встанешь этим утром. Я был очень опечален и встревожен, узнав о вашем вчерашнем нездоровье, и огорчен тем, что меня к вам не пустили. Помни, дорогая моя, — друг имеет те же права, что и врач. В этом городе (скажете вы) так не считают. — Ну и пусть! Деликатность и благопристойность состоят не в соблюдении выхолощенных правил этикета.

Сейчас я выйду позавтракать, но к одиннадцати вернусь домой и надеюсь прочесть всего одну фразу, написанную твоей рукой — что тебе лучше и что ты будешь рада повидать своего Брамина.

9 утра²⁶⁸.

К Тристраму и Йорику — возможно, это была выдумка Элайзы — прибавилось еще одно имя — Брамин.

* следуя принятым формулировкам (*фр.*).

Помимо этих двух сохранилось еще восемь писем Брамина к его Браминке, они написаны в Лондоне в конце марта и отправлены в портовый городок Диль на берегу Ла-Манша, где Элайза дожидалась отплытия в Индию корабля «Граф Чатем» (он отправился в путь 3 апреля). Еще одно письмо, датированное 18 июня, когда Стерн уже вернулся в Коксуолд, было обнаружено в его записной книжке. Возможно, оно не было отправлено.

В конце апреля 1767 года Стерна свалила с ног странная болезнь. В письме к супругам Джеймс он назвал ее «сильнейшей лихорадкой», однако, как видно из письма графу Шелбёрну от 21 мая, диагноз заболевания так и остается неясным:

Смерть стучалась ко мне в дверь, но я не пожелал ее впустить — визит был неожиданный и неприятный — от меня осталась одна тень, — я и до сих пор еще очень слаб, но при всей моей слабости хочу рассказать вам одну историю, которая своей причудливостью превосходит все, что случалось когда-либо в этом роде в нашей семье: нос Шенди, его имя, его подъемное окно — пустяки по сравнению с ней — она вас, по крайней мере, позабавит. — Болезненное состояние, вызванное у меня месяц тому назад простудой после приема порошка Джеймса, сосредоточилось, надо вам сказать, на самом неподходящем для этого месте — на самой чувствительной и самой уязвимой части человеческого тела. Во время обострения именно этой боли я позвал опытного хирурга, а также опытного лекаря (и тот, и другой — мои приятели), чтобы они высказали свое мнение о постиг-

шем меня несчастью. — Это у вас венерическое, — воскликнули в один голос оба моих ученых приятеля. — Нет, это невозможно, — возразил я, — ведь я не имел никаких сношений с женщинами — даже с моей женой, — вот уже пятнадцать лет. — Тем не менее у вас ..., любезный друг, — сказал хирург, — или это совершенно небывалый на свете случай. — Что за дьявольщина! — сказал я, — ведь я не вступал в связь с женщиной! — Не будем спорить, — сказал лекарь, — но вам придется пройти курс лечения ртутью. — Скорее расстанусь с жизнью, — отвечал я, — и доверюсь природе, времени или, на худой конец, смерти. — Так я с возмущением положил конец консилиуму, решив лучше претерпеть все муки, которые я испытывал, и даже в десять раз горшие, только бы не подвергаться лечению в качестве грешника, когда я вел себя как святой. — Должно быть, это устроил сам отец зла, для которого нет большей радости, как опозорить праведника, — но вышло, что не успел я отпустить докторов, как боли мои разгорелись с неописуемой силой. С каждым часом они делались все более невыносимыми. — Я лег в постель, кричал и бредил всю ночь — и встал таким мертвецом, что мои друзья потребовали, чтобы я снова послал за лекарем и хирургом. — Я дал им слово человека, всегда дорожившего своей честью, что оба они ошибаются насчет моей болезни, — но, хотя рассуждения их несостоятельны, их предписания могут оказаться правильными; однако, при всей мучительности для меня моих страданий, я предпочту их бесчестью, которое будет навлечено на меня венерическим лечением моей болезни. Ученые мужи отвечали, что подобные пороки крови пребывают в скрытом состоянии лет двадцать, — но что они не станут спо-

рить со мной по вопросу, в котором я проявляю такую щепетильность, а исполняют обязанность, для которой они приглашены, — именно — положат конец моим мукам, иначе последние положат конец моей жизни. — Таким образом, я принужден был покориться — и вот, милорд, ваш бедный друг со всей его чувствительностью понес кару, которая постигает самого беспутного сластолюбца. — Разве не было это самым смешным недоразумением, которое когда-либо случалось с бедным Йориком? — Единственно только сознание моей полной невинности могло побудить меня написать об этой истории жене, и она, кстати сказать, составила бы недурной анекдот в Жизни Тристрама Шенди²⁶⁹.

Тремя днями позже Стерн пишет Холлу-Стивенсону записку из Ньюарка, по дороге из Лондона в Йорк:

Дорогой кузен, был доставлен сюда, подобно тюку кладбищенских товаров, отправленных Плутону и компании, — пролежав почти всю дорогу в глубине моей кареты на большой подушке, которую предусмотрительно купил перед отъездом. — Я вконец измучен, но хочу поспеть в Барнби-Мур к вечеру, а завтра в Йорк. — Не знаю, что со мной — но какое-то основательное расстройство угрожает моей машине — все-таки я думаю, что на этот раз она еще уцелеет²⁷⁰.

Каким несокрушимым жизнелюбием обладал этот человек! Всего через двенадцать дней, 7 июня, он пишет уже из Коксуолда своему юному другу Артуру Ли:

Я счастлив, как князь в Коксуолде — и хотел бы, чтобы вы увидели, какой княжеский образ жизни веду я. — Это страна изобилия. — Я сажусь один перед поданной мне дичью, рыбой и парой уток или кур, — а в придачу к ним творог, земляника со сливками и всякие другие простые произведения богатой долины (у подножья Гамбеттоновых холмов) — стол накрыт чистой скатертью — и по правую руку от меня стоит бутылка вина, чтобы пить за ваше здоровье. На дворе у меня сотня кур и цыплят — и стоит кому-нибудь из моих прихожан поймать зайца, кролика или форель, как он несет пойманное мне в подарок <...> — Я испытываю прилив бодрости — забота никогда не входит в мое жилище. — Каждый день я катаюсь в своей коляске, запряженной парой лошадей с неподстриженными хвостами — они оказались хорошими; сам же я, мне кажется, чувствую себя лучше от лекарств и режима, которому подвергся в Лондоне²⁷¹.

И в конце того же месяца в письме к уже знакомому нам Игнатию Санчо — более трезвое рассуждение человека, которому жизни осталось немногим более полугода:

Уехал я из Лондона совсем больной — и с мыслью, что я покидаю его навсегда, — но чистый воздух, спокойная уединенная жизнь и спокойные размышления, да дойная ослица и осел, чтобы кататься верхом (если захочется), — все это вместе делает чудеса. — Надеюсь дожить, по меньшей мере, до конца этого года, пусть только затем, чтобы, покидая мир, оставить о себе такое же хорошее впечатление, какое я оставил в вас, Санчо. Я был бы доволен, если

бы мне было даровано ровно столько здоровья и умственных сил, сколько требуется для доведения до конца работы, к которой я приступил этим летом. — Но я покорился своей участи, и принимаю здоровье и болезнь, как принимаю свет и темноту или чередование времен года — то есть так, как угодно Богу послать их — и приспосаблиюсь к их периодическим возвращениям по мере своих сил, — стараясь только, что бы ни выпало на мою долю в этом глупом мире, не терять спокойствия духа. — Это, я полагаю, друг Санчо, и есть самая правильная философия...²⁷²

Как видим, по возвращении в Коксуолд Стерн, насколько позволяют силы, берется за работу. Однако в то, последнее свое лето 1767 года он работает не только над «Сентиментальным путешествием». Любопытную страничку в его позднем творчестве представляет «Дневник для Элайзы», писавшийся в какой-то степени параллельно с «Сентиментальным путешествием по Франции и Италии». Он не был опубликован при жизни писателя, однако, создавая его, Стерн несомненно думал о публикации. Об этом говорят несколько фраз, предваряющих подневные записи: «Дневник этот написан под вымышленными именами Йорика и Дрейпер, — а иногда Брамина и Браминки — но это дневник горестных чувств человека, разлученного с дамой, по обществу которой он тосковал. — Подлинные имена — иностранные — и дальнейшее представляет перевод французской рукописи, находящейся в руках мистера S., — но написано в настоящем виде с целью предать эти имена забвению. — К настоящему дневнику существует

дополнение — отчет дамы о том, что происходило с ней каждый день — и какие чувства занимали ее в течение разлуки с ее поклонником; — дневник этот стоит прочесть — переводчик не вправе сказать то же о дневнике Йорика — почти единственным достоинством которого является, по видимому, искренность и правдивость —»²⁷³

Такого рода мистифицирующие зачины от имени издателя, редактора или переводчика найдем мы во многих произведениях XVIII века: во всех романах Дефо, в «Замке Отранто» Хорейса Уолпола, в «Опасных связях» Шодерло де Лакло и даже в «Приключениях Гулливера».

Далее следует сам текст дневника, озаглавленный «Продолжение дневника Брамина». Почему «продолжение»? Стерн объясняет это в первых же строках, но, как многому у Стерна, доверять объяснению не следует:

«Воскресенье, 13 апреля. Написал последнее прости Элайзе через мистера Уотса, отплывающего сегодня в Бомбей — приложил к нему также дневник, который вел со дня нашей разлуки до настоящего, — а отсюда я продолжаю его до времени, когда мы снова встретимся»²⁷⁴.

Не напоминает ли это обещание писать «Тристрама Шенди» до конца дней своих? И такая удобная, ни к чему не обязывающая, характерная для сентиментализма и предромантизма дневниковая форма найдена! Как странно, что многие исследователи, в том числе и Уилбур Кросс, приняли эти утверждения на веру и сокрушались о потере начала дневника и второй его части, написанной Элайзой Дрейпер. Это у Стерна-то, который делал копии с большин-

ства даже незначительных писем, чтобы что-то бесследно потерялось! А Элайза — ее обширная переписка с миссис Джеймс, с ее кузеном Томасом Склейтером (с которым ее связывала крепкая дружба, а возможно, и более нежные чувства) сохранилась. Где же дневник?

Датировка в «Дневнике», как мы еще покажем, весьма приблизительная; последняя запись, датированная 4 августа, имеет даже подпись — «Л. Стерн». Записи прерваны под предлогом приезда жены. Однако первым ноября датирована еще одна короткая запись. Миссис Стерн и Лидия переехали в Йорк и «теперь, дорогая Элайза, позволь мне поговорить с тобой. — Но что могу я сказать — о чем могу написать, — как не о сокрушениях сердца, истомленного ожиданием и желанием твоего возвращения? — Возвращайся — возвращайся, дорогая моя Элайза! Да устелет тебе небо дорогу, чтобы ты благополучно прибыла к нам и осталась здесь навеки»²⁷⁵.

Стерн оставляет за собой возможность в любое время вернуться к «Дневнику».

Совершенно очевидно, что «Продолжение дневника Брамина» представляет собой художественное произведение, где личные переживания писателя нашли отражение в сублимированной форме — вспомним историю создания «Страданий юного Вертера».

В том, что якобы уцелевшая часть «Дневника для Элайзы» содержит не подлинные подневные записи, а их художественную реконструкцию, убеждает многое. (Кстати, примеры подобных мистификаций в истории литературы

нередки. Современники принимали «Письма русского путешественника» Карамзина за подлинные — ведь писатель довольно точно воспроизвел в них свою поездку по Европе. И понадобились кропотливые исследовательские разыскания В. В. Сиповского, чтобы опровергнуть это мнение.)

Как и с Карамзиным, путает, сбивает с толку читателей и исследователей здесь то, что Стерн пользуется реальным жизненным материалом, лишь слегка изменяя и несколько произвольно располагая его.

Забавно, что Уилбур Кросс, цитируя «Дневник», снабжает его серьезными поправками: «Миссис С.— и моя милая девочка пробыли два месяца [*ошибка* — один месяц] со мною...»; «она была на пороге шестидесяти» — к этим словам сноски Кросса — «Ей было всего лишь пятьдесят три»²⁷⁶.

Временные сдвиги настолько ничтожны, что обнаружить их можно лишь при тщательном сопоставлении «Дневника» и писем Стерна того же периода. Тогда обнаруживается, что фрагменты писем почти дословно переносились в «Дневник», а датировка событий несколько смещалась в угоду композиции художественного текста. Так, один отрывок из письма от 7 июня 1767 года оказался помещенным в дневниковую запись от 2 июля, а другой отрывок из того же письма датирован в «Дневнике» 24 августа 1767 года. И добро бы дневник предшествовал описанному в письме — это еще объяснимо. Но тут, как на грех, наоборот. И приведенный пример отнюдь не единственный: 18 апреля он

пишет в «Дневнике», что купил книгу Орма об Индии, и намекает — так как хочет быть поближе к Элайзе. Но из писем мы знаем, что к 23 февраля книга эта уже была куплена и отослана Лидии. А вот временной сдвиг в другую сторону — в «Дневнике» за 5 июля сказано: «Сегодня почта доставила два письма с юга Франции, из которых я узнаю, что по какой-то роковой случайности ни одно из моих писем не дошло до них в этом месяце»²⁷⁷. Однако, согласно письмам, Стерн в реальности узнал об этом только 24 августа. Значит, обратившись уже после получения письма к работе над текстом «Дневника» как над художественным произведением, он произвольно проставил дату.

А чего стоит история с покупкой кареты! 16-м июня в «Дневнике» помечена запись, адресованная Браминке: «Моя карета такая большая — такая высокая — такая длинная — такая широкая — так похожа на карету Кроферда, что я строю особый сарай для нее. — Ужели она тебе не понравится из-за этих гигантских размеров? — Помнится, я однажды слышал от тебя, что ты терпеть не можешь маленьких карет. — Да будет тебе известно, что это и определило мой выбор — так как я надеюсь подарить ее тебе...»²⁷⁸ А 24 августа в письме дочери он пишет про ту же карету: «Пиши мне из Парижа, чтобы я мог выехать вам навстречу в моей коляске, запряженной лошадьми с неподстриженными хвостами — назовите ее своей с той минуты, как в нее ступят ваши ноги»²⁷⁹. Так для кого же была покупка? Для жены с дочерью или для возлюбленной? Теккерей, в руки которого, как

мы скоро узнаем, попал дневник, принимал его за реальный документ и упрекал Стерна в двуличии. Но все встает на свои места, как только мы понимаем, что перед нами незавершенное художественное произведение.

Ведь даже форма записей в «Дневнике» говорит об их литературной обработке автором «Тристрама Шенди». Вот, к примеру, переход от одной записи к другой:

«...Редко я уделял тебе так мало времени, милая моя девочка, — но завтрашний день будет столь же плохим —

16 июля. Потому что сегодня мистер Холл покинул свой Свихнувшийся замок и приехал со мной на несколько дней в Шенди-Холл»²⁸⁰.

Да и сам объем и характер сообщаемого предполагают подчас, что реальный адресат не Элайза Дрейпер, а неосведомленный читатель. К кому, как не к нему, обращены слова «У моей приятельницы миссис Джеймс на Джерард-стрит»²⁸¹, — ведь Элайзе прекрасно известны дружеские отношения Стерна с миссис Джеймс и ее место жительства.

Но в защиту Теккерейя надо сказать, что он оказался в неплохой компании — ведь даже один из крупнейших стерноведов, Льюис Пери Кёртис, издавая письма Стерна в 1935 году (добавим, это единственное научное, великолепно комментированное издание эпистолярного наследия писателя), ухитрился вставлять между реальными письмами куски (согласно проставленным датам) из «Дневника для Элайзы». Неужели не заметил отмеченных выше временных сдвигов? Да нет, дотошный ученый заметил боль-

ше нашего (ведь мы с календарем 1767 года не сверялись!), но дал всем нестыковкам довольно забавное объяснение в сносках: «На самом деле воскресенье падало на 12 апреля в 1767 году. Стерн начал в тот день эту часть “Дневника”, но испытывал такие страдания, физические и душевные, что сдвинул все записи той недели на один день»²⁸². В дальнейшем «страдания», видимо, стали совсем невыносимы, так как нестыковка с реальными датами иногда исчислялись не днями, а неделями.

Да и как не почувствовал Кёртис главного — сама атмосфера, общая тональность «Дневника» близка творческой манере Стерна, особенно «Сентиментальному путешествию», которое создавалось в то же время. Резкие, неожиданные переходы от патетики к прозе жизни создавали ощущение автоиронии, выделяющей книги Стерна из монотонного потока сентиментальной прозы. «Элайза! — мрачен мне весь этот мир без тебя! И убийственно медленно будет тянуться каждый час, пока не придет тот, что возвратит тебя, милая женщина, в Альбион. Обедал с Холлом и т. д. в трактире “Кабанья голова” — весь Пандемониум был в сборе — ужинал вместе у Холла — измотался телесно и душевно и сурово расплатился за все ночью»²⁸³. Не напоминает ли этот пассаж сентиментальную сцену встречи Тристрама с Марией из Мулена, завершившийся неожиданной прозаической фразой: «— — — Какая превосходная гостиница в Мулен!»

Образ Йорика-Брамина, героя «Дневника», столь же двойствен, как и образ Йорика — ге-

роя «Сентиментального путешествия». Герой глубоко погрузился в мир мечты и живет иллюзорным общением со своей возлюбленной: отделяет для нее комнаты в доме, вырывает колючие кустики на дорожке, чтобы она не поранила себе ноги, трудится над сооружением для нее хорошенькой беседки, подыскивает ей домик в Йорке и ведет с ней нескончаемые беседы ночи напролет. И все это в то время, как Элайза отделена от него тысячами миль расстояния и долгими месяцами пути. Такая игра воображения занимает столь же существенное место в жизни Брамина, как игра в войну дяди Тоби.

А Брамин тем временем мечтает о том, как Элайза «в одну прелестную лунную ночь» достигнет его «на могиле Корделии и заключит там в свои объятия»²⁸⁴. Что за Корделия? Это тоже иллюзия: монахиня, якобы похороненная в давние времена у развалин Байлендского аббатства, старинного католического монастыря неподалеку от Коксуолда, излюбленного места прогулок Лоренса Стерна. Он неоднократно упоминает Корделию, утверждает, что посещает ее могилу, хотя ему, коксуолдскому викарию, наверняка известно, что это был мужской монастырь и никаких монахинь там не было и в помине.

Однако для биографа крайне важно, что за воображаемыми занятиями и сердечными перипетиями проступают заботы и развлечения реальные — страдания, причиняемые болезнью, беспокойство и хлопоты в связи с надвигающимся приездом жены, веселые поездки

в Свихнувшийся замок, времяпрепровождение на званых обедах, модных курортах, йоркских скачках, работа над «Сентиментальным путешествием»...

Весь этот мир «поэзии и правды» слит в неразрывный клубок противоречий. В признаниях Йорика-Брамина своеобразно сочетаются равнодушие к житейскому преуспеянию и тщеславное желание покичиться своей популярностью, пренебрежение к богатству и меркантильность, равнодушие к мирским утехам и нескрываемый гедонизм.

И в «Тристраме», и в «Путешествии», и в «Дневнике», во многом разных по жанру и стилю, Стерн ставит общую художественную задачу — отразить те пласты психической и физической жизни человека, которые до него были недоступны изображению в художественной прозе.

* * *

В «Сентиментальном путешествии» рассказывается о дальнейшей судьбе скворца, которого Йорик привез в Англию из Парижа: «...Когда я рассказал его историю лорду А. — лорд А. выпросил у меня птицу — через неделю лорд А. подарил ее лорду Б. — лорд Б. преподнес ее лорду В. — а камердинер лорда В. продал ее камердинеру лорда Г. за шиллинг...»²⁸⁵

Дальнейшая судьба «Дневника» напоминает судьбу несчастной птицы.

О его существовании явно не подозревали миссис Стерн и Лидия. Вероятно, Стерн увез его в Лондон в свою поездку поздней осенью

1767 года и передал Джеймсам в последние дни болезни. Оставайся дневник в квартире на Бонд-стрит, он бы не уцелел. Позднее, вместе с некоторыми другими бумагами — двумя письмами Стерна к Джеймсам, неоконченным письмом Стерна к Дэниэлу Дрейперу, а также с длинным письмом Элайзы, адресованным миссис Джеймс, с корабля, на котором она плыла в Индию, — «Дневник» оказался в библиотеке некоего мистера Гиббса из Бата. После смерти этого джентльмена «Дневник» чуть не погиб. Вместе с другим ненужным хламом он был брошен в кладовку, откуда был извлечен его одиннадцатилетним сыном Томом. Мальчик хотел было пустить бумаги на фитили для зажигания свечей, однако имена Йорика и Элайзы привлекли его внимание, что свидетельствует и о начитанности мальчугана, и о славе их создателя. (Что-то андерсеновское сквозит в этой истории, однако все так и было.)

Томас Уошбурн Гиббс сохранил бумаги и, услышав в 1851 году, что Теккерей намеревается включить Стерна в свои лекции об английских юмористах XVIII века, переслал ему «Дневник» вместе с остальными документами, за что получил от писателя благодарственное письмо. Однако Теккерей, со своим викторианским представлением о приличии, не воспользовался попавшими ему в руки личными материалами и, вероятно, вернул их владельцу, так как в марте 1878 года Томас Гиббс сделал на основе их сообщение в Батском литературном институте. В том же месяце эти сведения были опубликованы в «Атенеуме». После смерти Гиббса в 1894 го-

ду бумаги, согласно его завещанию, были переданы в Британский музей.

«Дневник» был впервые опубликован в Нью-Йорке в 1904 году в составе двенадцатитомного собрания сочинений Лоренса Стерна.

«ВДАЛЕКЕ ОТ ПРОТОРЕННЫХ ДОРОГ...»

Осень 1767 — март 1768

Если Природа так сплела свою паутину добра,
что некоторые нити любви и некоторые нити
вождления вплетены в один и тот же кусок, следует
ли разрушать весь кусок, выдергивая эти нити?

*Л. Стерн. Сентиментальное путешествие*²⁸⁶

Несмотря на богатое воображение, Стерн не был фантазером: он не смог бы описать, как его герой спасается от дикарей, обжигает горшки на необитаемом острове или тонет в миске со сливками в стране великанов. В отличие от Дефо и Свифта, он мог описывать только *свой* мир, *свой* опыт, *свои* жизненные впечатления и чувства, правда, описывать с такой тончайшей психологической детализацией, какая тем и не снилась. Мог, разумеется, утрировать, подпускать сарказм и иронию, но всегда отталкиваясь от реальных впечатлений.

«Тристрама» он способен был писать в Саттоне и Коксуолде не только потому, что там не отвлекали светские развлечения, но и потому, что ему нужна была сама атмосфера провинциальной йоркширской жизни. В Тулузе писать ему было трудно, а в Монпелье и вовсе не написал ни строчки.

Но, судя по письмам, еще в октябре 1762 года, в Тулузе он уже задумал другое произведение: «Я полон мыслей и планов относительно других работ, — пишет он Холлу, — тут, надеюсь, все пойдет так, как мне желательно»²⁸⁷. Вероятно, он начинает делать какие-то французские зарисовки, которые пошли в ход, когда ему не удалось, готовя к печати в Коксуолде осенью 1764 года седьмой и восьмой томы «Тристрама», растянуть события в Шенди-Холле на два тома. Своими французскими впечатлениями от первой поездки он и заполнил седьмой том.

После второй поездки на континент намерение написать новую книгу растет и крепнет. Возвратившись в июле 1766 года, Стерн пишет: «В этом году я выпущу только один том, а в следующем начну свое новое сочинение в четырех томах...»²⁸⁸ Значит, общий план уже продуман — два тома на Францию и два — на Италию.

Полагаясь на письма, — а они в случае Стерна и являются основным источником биографического материала, — можно представить, как продвигалась работа над новой книгой. Уже к 20 февраля 1767 года произведение имеет название: «Я собираюсь опубликовать “Сентиментальное путешествие по Франции и Италии” — это намерение поддерживается и весьма вдохновляется всей здешней знатью, — книга набирает все больше подписчиков»²⁸⁹. Тремя днями позже он пишет дочери из Лондона, что начнет работу над «Сентиментальным путешествием», как только вернется в Коксуолд. Так он и сделал — через неделю после приезда в Коксуолд, в конце мая, он принялся за работу. Од-

нако из письма, помеченного 30 июня 1767 года, мы узнаем, что работа над новым произведением движется не так быстро, как хотелось бы — мешают мелочи быта: «Мне следовало бы работать с восхода до заката, потому что у меня есть книга, которую надо писать, — жена, которую надо принять, — имение, которое надо продать, — приход, за которым надо присматривать, — и, что хуже всего, смятенное сердце, которое надо урезонить»²⁹⁰. Еще бы! Ведь тем же летом он пишет и «Дневник для Элайзы».

Но уже 6 июля Стерн сообщает своим друзьям Джеймсам, что работа над «Сентиментальным путешествием» наконец в полном разгаре. В августе очередное кровохарканье на неделю оторвало от работы.

А в письме Т. Беккету от 3 сентября читаем: «Мое “Сентиментальное путешествие” продвигается неплохо — и некоторые северные гении утверждают, что это оригинальная вещь, которая покорит самые широкие круги читателей»²⁹¹. Эти «северные гении» — компания «бесноватых», собиравшихся у Холла-Стивенсона в Свихнувшемся замке, — несмотря на занятость и плохое самочувствие, Стерн все же успел там побывать.

27 сентября работа еще не завершена, что явствует из письма Уильяму Стенхоупу: «Вы хотите, чтобы я приехал к вам в Скарборо и дал прочесть работу, которая еще не завершена. Но дело не только в этом — у меня сейчас другие заботы <...> Как только я встречу жену и дочь и сниму для них дом в Йорке, я отправлюсь в Лондон <...> и тогда мое “Сентиментальное путешествие”, надеюсь, убедит вас, что чувства мои

исходят прямо из сердца, а сердце это не самого худшего образца, да будет благословен Бог за то, что он наградил меня чувствительностью!»²⁹²

В октябре целый месяц выпал из-за приезда жены и дочери. Сняв им комнаты в Йорке, Стерн вновь погрузился в работу.

12 ноября он пишет миссис Джеймс о «Сентиментальном путешествии» как уже о почти готовой вещи:

Мое «Сентиментальное путешествие» понравится миссис Джеймс и моей Лидии — могу поручиться за них обеих. Вещь эта оказывает благотворное действие и соответствует душевному состоянию, в котором я находился несколько времени тому назад. — Как я вам говорил, моим замыслом в ней было научить нас любить мир и наших ближних больше, чем мы любим, — таким образом, я в ней занимаюсь преимущественно теми более деликатными чувствами и душевными движениями, которые так сильно этому помогают²⁹³.

Опять либо здесь, либо там автоцитата — в тексте «Сентиментального путешествия» найдем почти дословно эти же слова.

Но, дабы портрет писателя не получился слащаво однобоким, приведем и другое письмо, написанное всего тремя днями позже, 15 ноября, и адресованное некоей Ханне, о которой биографам ничего не удалось разузнать:

Ну, будь же пай-девочкой, милая Ханна!

Передай это Фанни, — а она сама отдаст то, что принадлежит ее сестре, — а когда я тебя увижу, ты получишь от меня поцелуй — вот это тебе!

— Но у меня есть еще кое-что для тебя, и я работаю над этим с бешеной скоростью — это мое «Путешествие», над которым ты будешь так же сильно рыдать, как я смеялся, — а не то я заброшу все сентиментальные писания и буду писать лишь о телесном.

— Так-то, Ханна! Да, собственно, я и сейчас этим занимаюсь, когда пишу тебе, — но ты — прекрасное тело, а это стоит десятка жалких душонок,

поверь,

я твой

Л. Стерн²⁹⁴.

Поспешим успокоить читателей — разумеется, это всего лишь игривая шутка, ничего серьезного. Сохранилось два письма к этой Ханне — мы только что привели второе. А первое, от 12 сентября, было, похоже, ответом на ее эпистолу:

С тех пор, как моя милая Ханна написала мне, что она принадлежала мне более, чем какая-либо другая женщина, я непрестанно напрягаю память, чтобы она подсказала мне, где это с нами было. — Люди считают, что у меня их было немало — одни принадлежали мне телесно, другие — духовно, — но, раз ты принадлежала мне более, чем другие женщины, значит, Ханна, у нас это было и телесно, и духовно. — Сейчас я не могу припомнить, где это было, да, пожалуй, и когда — тоже. Это не могла быть леди на Бонд-стрит, и на Гросвенор-стрит, или на — — площади, или на Пэлл-Мэлл. Мы это выясним, Ханна, когда встретимся — жду не дождусь этого момента.

Это ничего, Ханна, что я не могу сегодня писать — напишу со следующей почтой, — потому что обед уже на столе — и если я задержусь, лорд Ф. не побла-

годарит за это — как ты поживаешь? — какая часть Тристрама тебе больше всего нравится? —

Да благословит тебя Господь,

С любовью

Твой Л. Стерн²⁹⁵.

Не будем извиняться за это отступление — вспомним, что Стерн и сам мог переставить главы и любил инверсию, а отступления считал «душой повествования».

О работе над «Сентиментальным путешествием» осталось и свидетельство литератора Р. Гриффита. Он вспоминает, что в сентябре 1767 года Стерн показывал ему и епископу Корка Дж. Брауну «рукопись, которую он собирается вскоре опубликовать. Она называется “Сентиментальное путешествие Йорика по Европе”. По юмору и мастерству она не уступает лучшим страницам “Тристрама Шенди” и совершенно свободна от грубости худших его страниц. Пока что написаны только полтома»²⁹⁶.

Не он ли после публикации седьмого и восьмого томов «Тристрама» писал в «Мансли ревью»: «Публика, если не ошибаюсь, дойдя до конца восьмого тома, считает, что с нее довольно <...> Здесь кто-то сказал, что ваша сила в изображении патетического, я с ним согласен. По-моему, коротенькая история Лефевра принесла вам больше славы, чем все остальное вами написанное за исключением проповедей. А что, если вам придумать новый план? Изображать только приятные, достойные характеры? Или, если надо оживить повествование, добавлять немного невинного юмора... рисуйте Природу в самом прекрасном

ее наряде — в ее естественной простоте... Пусть укрепление нравственности и добродетели будет вашей целью, пусть юмор, остроумие, изящество и пафос будут вашими средствами»^{297?}

Какого огромного напряжения стоила Стерну эта интенсивная работа, видно из письма графу Шелбёрну от 28 ноября: «...он <Йорик — К. А.> истощил “Сентиментальным путешествием” и духовные свои силы, и телесные. — Писатель, правда, должен живо чувствовать, иначе ничего не почувствует его читатель, — но я положительно истерзал своими чувствами весь свой хилый остов»²⁹⁸.

Последнее упоминание в письмах о работе над книгой относится к декабрю 1767 года. В письме к своему парижскому приятелю Джорджу Маккартни, который к этому времени стал уже британским послом в России, читаем: «Через три недели я поцелую вам руку, — а может быть, и раньше, если успею закончить мое “Сентиментальное путешествие”. — Черт бы побрал все сантименты! Я бы желал, чтобы на свете не осталось ни одного! — Моя жена приехала ко мне с сентиментальным визитом из самого дальнего угла Франции — из Авиньона — и *politesses**, обусловленные таким убедительным доказательством ее учтивости, похитили у меня целый месяц, не то я был бы уже нынче в Лондоне. — Собираюсь рожать; как раз под Рождество придет срок, — и если только то, что я произведу на свет, не будет *тиснуто* до смерти чертями-печатниками, я буду иметь честь преподнести вам *па-*

* любезности (*фр.*).

*фочку самых чистеньких мальчишек, какие когда-либо порождал самый целомудренный мозг — они, правда, шаловливы, — mais cela n'empêche pas**»²⁹⁹.

Новый приступ чахотки задержал Стерна еще недели на три, но все же он отправился в Лондон в компании Холла-Стивенсона, который собирался заняться изданием своего новогоopusа — «Макаронических басен». Перед отъездом он пишет Джеймсам: «...я ослабел, дорогие друзья, и телом и душой — Бог да благословит вас — я войду к вам как привидение — заранее вас предупреждаю, чтобы вы не испугались»³⁰⁰.

1 или 2 января Стерн уже был в своих привычных апартаментах на Бонд-стрит.

Погода в ту лондонскую зиму была не для чахоточного больного. 4 января газеты сообщили, что даже их королевские величества ввиду плохой погоды на богослужении в Королевской часовне отсутствовали, а ограничились домашней службой в дворцовых апартаментах.

Однако по приезде в Лондон Стерн вновь начинает суетливую столичную жизнь. «Я завтракаю у мистера Боклерка, а через час должен быть у лорда Оссори»³⁰¹, «Сейчас я связан по рукам и ногам (и связан крепко) приглашениями на каждый день этой недели <...> Я чувствую себя совсем хорошо, но измучен толпой гостей, наполняющих мою комнату каждое утро до обеда»³⁰², — эти письма писались в начале и середине февраля, еще до выхода «Сентиментального путешествия».

* но это не важно (*фр.*).

Оно вышло в свет в конце февраля 1768 года, одновременно в двух форматах. В твердом переплете, большом формате и на бумаге высшего качества оба тома стоили полгиней. Комплект более демократичного издания — в мягком переплете, маленького формата и на дешевой бумаге стоил пять шиллингов.

Лист подписчиков насчитывал всего двести восемьдесят одну фамилию, правда, многие подписались на несколько экземпляров. Имена тех, кто подписался на дорогое издание, были помечены звездочкой. Около фамилии Джорджа Маккарти стояло пять звездочек. Однако всех опередил некий юный богач, мистер Крю — рядом с его именем стояло двадцать звезд. Столько же заказал и Паншо, но это не удивительно — ведь он снабжал весь Париж.

В экземпляры, предназначенные подписчикам, было вложено предуведомление: «Автор просит позволения сообщить своим подписчикам, что они вправе рассчитывать еще на два тома, помимо тех, которые получают в настоящее время, и что лишь тяжелый недуг помешал ему подготовить их к печати. Книга будет завершена, и подписчики получат ее в начале следующей зимы»³⁰³.

Тираж был распродан быстро: всего за месяц. 29 марта вышел уже второй тираж. О своем новом успехе Стерн пишет дочери из Лондона: «Моим “Сентиментальным путешествием”, говоришь ты, все восхищаются в Йорке — с моей стороны не будет тщеславием сказать, что им не меньше восхищаются здесь...»³⁰⁴

Для своего нового произведения Стерн избирает жанр, который в XVIII веке был на пике

моды. В период национального подъема, в канун промышленного переворота британцы начинают ощущать себя, по выражению Оливера Голдсмита, «гражданами мира», а не только обитателями своего городка или своего острова. Если в предшествующем столетии путешествия предпринимали одиночки, то в XVIII веке англичане буквально одержимы жаждой передвижения. И хотя немногие, подобно мореплавателю Джеймсу Куку, отправляются в путешествия по неизведанным странам, зато все стремятся на континент, в «большое турне», о котором мы уже говорили. Во время поездок во Францию и Италию Стерн довольно много общался с такими молодыми людьми.

Но не только молодые аристократы, — путешествуют все: по торговым делам и для наблюдения заморского быта и нравов, по долгу службы и для поправки здоровья, в поисках чисто эстетических наслаждений и от пресыщенности жизнью... И почти все описывают свои впечатления.

Назовем произведения лишь самых известных авторов, и только те, что вышли в свет до появления книги Стерна: «Заметки о Северной Италии» (1705) Джозефа Аддисона, «Путешествие по всему острову Великобритании» (1724—1726) Даниэля Дефо, «Дневник путешествия в Лиссабон» (1755) Генри Филдинга, «Путевые письма леди Монтэгю» (опубл. в 1763 году, — только не спутайте Мэри Уортли Монтэгю с королевой «синих чулок» Элизабет Монтэгю, — это совсем другая дама, хотя и не менее замечательная), «Письма из Италии» (1766) Сэ-

мьюэла Шарпа (он появится в «Сентиментальном путешествии» под именем Мундунгуса), «Путешествие по Франции и Италии» (1766) Тобайаса Смоллетта.

Считается, что существенным толчком к созданию и выбору основной тональности «Сентиментального путешествия» и была публикация путевых заметок Смоллетта. Уже само название смоллетовских путешествий — «Путешествия по Франции и Италии, содержащие наблюдения над характерами, обычаями, религией, правлением, полицией, торговлей, искусствами и историческими памятниками. С особо подробным описанием городских достопримечательностей и климата Ниццы, с приложением Календаря погоды за 18 месяцев пребывания в этом городе» — говорит о том, насколько они противоречат всему духу творчества Стерна.

Смоллетт, разумеется, не оставил без ответа насмешки над мизантропом Смельфунгусом. Вскоре после выхода «Сентиментального путешествия» в «Критикл ревью» появилась язвительная рецензия: «Автор нанимает карету и отправляется путешествовать, находясь в бредовом состоянии, которое, по всей видимости, не покидает его на протяжении всей поездки — фатальный симптом близкой кончины. Состояние это оказывало, однако, и свое положительное действие: превращало страдания других в объект удовольствия для автора, делало его глухим к чувству гуманности, к соображениям вкуса и правдоподобия, лишало его способности наблюдать и умозаключать»³⁰⁵. (Рецензия, правда, анонимная, и ко времени

ее публикации Смоллетт уже не издавал журнал, хотя и продолжал в нем печататься, однако большинство исследователей приписывают ее авторство Смоллетту.)

В полемике со Смоллеттом, с его обстоятельным и желчным описанием увиденного пишет Стерн свою книгу с коротким, но емким названием «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии». Чтоб оценить, насколько важным для замысла писателя было добавленное к традиционному названию словечка «сентиментальный», позволим себе небольшой лингвистический экскурс.

Слово *sentimental* — его первое употребление зафиксировано английскими словарями в 1749 году — существовало до Стерна в двух основных значениях — «разумный», «здравомыслящий» и, несколько позднее, — «высоконравственный», «назидательный», «сентенциозный», «погруженный в высококонравственные размышления»³⁰⁶.

Однако язык — явление живое и постоянно развивающееся. В 60-е годы оттенки значений несколько сместились от превалирующего разума к превалирующему чувству. Теперь *sentimental* уже не только «назидательный», но и «способный к сочувствию» (вспомним дядю Тоби с его мухой и моду отгонять их, не убивая!).

Однако, несмотря на изменения в умах, слово *sentimental* крайне редко употреблялось в языке художественных произведений: у Филдинга и Смоллетта оно не встречается, у Ричардсона зафиксировано всего дважды, причем оба раза в первом значении.

Стерн дает прилагательному «сентиментальный» новую жизнь, превращает его в одно из самых модных словечек своего времени и даже порождает кальку с него в немецком языке — *empfindsam* — придуманную Лессингом для немецкого перевода книги Стерна, предпринятого Боде. У Стерна слово это утрачивает связь с «разумностью», «назидательностью», «здоровомыслием» и получает противоположный смысл — «чувствительный», «способный к переживанию возвышенных и тонких эмоций». Возможно, такой сдвиг возник не без влияния французского языка — вспомним приведенную в «Сентиментальном путешествии» фразу: «L'amour n'est rien sans sentiment. Et le sentiment est encore moins sans amour*»³⁰⁷.

И вот короткое название книги Стерна обретает двоякий смысл. В традиционном для того времени прочтении оно могло означать «путешествие, дающее повод к назидательным размышлениям, к извлечению морального урока из увиденного», а в свете позднейшего употребления слова «сентиментальный» оно читается как «путешествие, пробуждающее эмоции, полное эпизодов, вызывающих сострадание, сочувствие, душевное волнение».

После выхода книги Стерна словечко «сентиментальный» становится весьма популярной составной частью названий не только «чувствительных романов», но и произведений разных жанров. Появляется «Сентиментальный крас-

* Любовь ничто без чувства, но и чувство еще того меньше без любви (фр.).

нобай, или Спутник молодого актера» (1774), «Сентиментальная практическая теология» (1777). Слово фигурирует в названиях периодической прессы — «Сентиментальный журнал» (1773), «Сентиментальный масонский журнал» (1795).

«Сентиментальное путешествие» появилось через восемь лет после выхода в свет первых двух томов «Тристрама Шенди», в иную литературную эпоху. За этот, казалось бы, небольшой период времени произошли важные события в литературной жизни Англии. С 1764 по 1770 год выходит роман Генри Брука «Знатный холостяк». В 1766 году Оливер Голдсмит издает «Векфильдского священника». В конце шестидесятих годов Макензи работает над романом «Человек чувства», изданным в 1771 году.

В ряду этих произведений «Сентиментальное путешествие» уже не противоречило (как «Тристрам Шенди»), а соответствовало духу времени. Многие осуждавшие первое произведение Стерна отнесли к «Путешествию» с симпатией. Даже резко отозвавшийся о «Тристраме» Хорейс Уолпол писал Томасу Грею: «Я надеюсь, что вам понравятся Стерновы сентиментальные путешествия, они хотя местами и утомительны, однако весьма приятны и живописны»³⁰⁸. Миссис Монтэгю, часто журившая Стерна за фривольности в «Тристраме Шенди», тоже отозвалась о «Путешествии» с похвалой.

У большинства современников Стерна создалось впечатление, что «Сентиментальное путешествие» знаменовало переход от шутовства и буффонады к патетике и чувствительности

в творчестве писателя. В отличие от первого романа, трудно поддающегося переводу, «Сентиментальное путешествие» сразу же переводится на основные европейские языки. В год выхода в свет оно уже переведено на немецкий, на следующий год — на французский, затем — на итальянский, испанский, польский, несколько позднее — русский³⁰⁹.

Еще в феврале 1767 года, задолго до публикации книги Стерн пишет дочери: «Я составил план совершенно нового произведения, далекого от проторенных дорог»³¹⁰. О том же и в самой книге: «...путешествия и наблюдения мои будут совсем иного типа, чем у всех моих предшественников»³¹¹.

Стерн уходит от сухой информативности этого жанра к усилению лирического начала. Внимание Йорика обращено не на внешние впечатления от путешествия — он «не видел ни Пале-Рояля — ни Люксембурга — ни фасада Лувра — и не пытался удлинить списков картин, статуй и церквей, которыми мы располагаем»³¹², — а на анализ собственного внутреннего состояния и мотивов своего поведения.

География присутствует в этом своеобразном путешествии только в заголовках и подзаголовках главок — «Кале», «Амьен», «Париж», «Версаль»... Эти названия привязывают события к определенному пункту маршрута, напоминая обычные путевые очерки. Но выглядит это почти издевкой над читателем: ведь то, что происходит с путешественником, его встречи и наблюдения никак не зависят от маршрута. Нищенствующий монах мог встретиться Йори-

ку в Монрее, а не в Кале, дохлый осел мог валяться не близ Нанпона, а по дороге в Мулен... Ведь дорога Йорика, как заметила Вирджиния Вулф, была дорогой сознания, а главными приключениями путешественника — движения его души. «До того путешественник соблюдал определенные законы перспективы и пропорций. — пишет Вулф. — Кафедральный собор в любой книге путевых очерков высылся громадой, а человек — соответственно — казался рядом с ним малюсенькой фигуркой. Но Стерн был способен вообще забыть про собор. Девушка с зеленым атласным кошельком могла оказаться намного важнее, чем Нотр-Дам. Потому что не существует, как бы намекает он, универсальной шкалы ценностей. Девушка может быть интереснее, чем собор. Дохлый осел поучительнее, чем живой философ...»³¹³

Задолго до Вирджинии Вулф близкую мысль высказала современница Стерна мадам Суар в «Письме дамы о “Сентиментальном путешествии” Стерна» (в доме супругов Суар Стерн не раз бывал в свой первый визит во Францию): «Главки, описывающие эти незначительные происшествия, сами по себе ничего особенного не представляют; но достоинство Стерна, мне кажется, заключается именно в его умении сделать интересными те мелочи, в которых самих по себе нет ничего интересного; в его способности уловить тысячи мимолетных впечатлений, тысячи мгновенных эмоций, которые возникают в сердце или в воображении чувствительного человека, и запечатлеть их в запоминающихся фразах и образах. Он, так ска-

зять, рисуя *свои* впечатления, расширяет *нашу* сферу чувств»³¹⁴.

Будучи «сентиментальным путешественником», Йорик с максимальной подробностью описывает малейшие движения своей души, и пустячные события углубляются, благодаря той детализации, тому проникновению в их сущность, с какими они описаны. Сколько сложных чувств, мыслей, переживаний, душевной борьбы умевает вместить Стерн в один только час физической жизни своего «чувствительного» героя! За час, проведенный в Кале, Йорик успел осудить скаредность французского короля и покичиться собственной щедростью; незаслуженно обидеть монаха, а потом загладить свою вину и в знак примирения обменяться с ним табакерками; испытать сложную смену чувств по отношению к хозяину гостиницы и даже по отношению к неодушевленному предмету — старой карете, которую он собирался купить; познакомиться с дамой и испытать при этом разнообразные ощущения: очарование тайны и любопытство, влюбленность и жалость, зависть к непринужденному французскому офицеру, внутреннюю борьбу, не лишенную расчетливости, которая завершается решением предложить даме доехать в его карете до Амьена, и наконец, боль разлуки. И вот финал всех этих сердечных перипетий: «Когда я лишился дамы, время потянулось для меня томительно-медленно; вот почему, зная, что теперь каждая минута будет равняться двум, пока я сам не приду в движение, — я немедленно заказал почтовых лошадей и направился в гостиницу.

— Господи! — сказал я, услышав, как городские часы пробили четыре, и вспомнив, что нахожусь в Кале всего лишь час с небольшим —...»³¹⁵ Стерн не случайно точно указывает время: ему нужно показать, «какой толстый том приключений может выйти из этого ничтожного клочка жизни у того, в чьем сердце на все находится отклик», кто приглядывается «к каждой мелочи, которую помещают на пути его время и случай»³¹⁶.

И все же нельзя сказать, что Стерн полностью пренебрег тематикой путешествия. Она оттеснена на задний план и, как правило, не замечается за новизной авторского стиля, но она все же есть, и о ней стоит поговорить.

Через всю книгу — ненавязчиво, но последовательно — проходят наблюдения за национальным характером французов (да и могло ли быть иначе в эпоху зарождения предромантизма!). Французский офицер обладает непринужденностью в общении с дамой, какой нет у чопорного англичанина. Парижская гризетка приобрела изящество и обходительность, не свойственные лондонской лавочнице. Экспансивность галльского характера выражена «тремя степенями ругательств» — *diable, peste**, превосходную степень стыдливый Йорик даже не может произнести. Патетичность мышления и высокопарность французского языка отмечает Йорик в разговоре с парикмахером: «— Но боюсь, мой друг, — сказал я, — этот локон не будет держаться. — Можете погрузить его в океан, — возразил он, — все равно он будет держаться.

* дьявол, чума (*фр.*).

— Какие крупные масштабы прилагаются к каждому предмету в этом городе! — подумал я. При самом крайнем напряжении мыслей английский парикмахер не мог бы придумать ничего больше, чем “окунуть его в ведро с водой”. — Какая разница! Точно время рядом с вечностью»³¹⁷.

Ту же патетичность и аффектацию отмечает Стерн и в письмах: «...Здесь все так преувеличивается, — пишет он Гаррику из Парижа задолго до “Сентиментального путешествия”, — и если женщина осталась просто довольна, — она говорит: *Je suis charmée** — когда же она пленена, то вы от нее слышите, что она *ravie***, никак не меньше, — а когда она восхищена (что иногда бывает), то ей ничего больше не остается, как слетать на тот свет за метафорой и поклясться, *qu'elle était toute extasiée****, — эта манера речи, кстати сказать, здесь входит в общее употребление, и в Париже едва ли найдется женщина, понимающая, что такое *bon ton*****, которая не приходила бы сто раз на день в необузданный восторг...»³¹⁸

Обобщаются впечатления от встречи с французами в разговоре Йорика с графом де Б., где, со свойственной Стерну парадоксальностью, утверждается, что при всем своем остроумии французы слишком серьезны, а их хваленая *politesse* делает их похожими друг на друга, как монеты одинаковой чеканки.

* Я очарована (*фр.*).

** в восторге (*фр.*).

*** в полнейшем экстазе (*фр.*).

**** хороший тон (*фр.*).

Надо сказать, что, судя по письмам, Стерн не особенно жаловал французов.

«Я думаю, что источником моей еппи^{*}, — пишет он Холлу-Стивенсону из Тулузы, — является, главным образом, извечная пошлость французского характера — в нем мало разнообразия и вовсе нет оригинальности, — а не что-нибудь другое — ведь французы чрезвычайно учтивы, — но даже учтивость в этом мундире надоедает и утомляет до смерти»³¹⁹.

И все же автор «Сентиментального путешествия» приходит к примирительному, так сказать, просветительскому выводу: за внешними различиями надо уметь увидеть общечеловеческие черты. Каждая нация имеет свои «le pour et le contre»^{**}. Путешествуя, мы это понимаем и учимся «взаимной терпимости» и «взаимной любви»³²⁰.

Так вот, оказывается, в чем цель путешествия! Не в знакомстве с флорой и фауной, историей и культурой, политикой и коммерцией, и даже не в изучении национального характера как такового, — а в некоем «моральном уроке», который может извлечь путешественник (а вслед за ним и читатель) из мозаики дорожных впечатлений. Искусство путешествовать заключается в стремлении развить в себе «чувствительность», умение сопереживать людям.

Такая цель естественно ставит путешественника и его сложный внутренний мир в центр повествования.

* хандры (*фр.*).

** «за» и «против» (*фр.*).

Доведя склонность Йорика к чувствительному сопереживанию почти до абсурда, автор показывает, что его герой сочувствует даже старому дезоближану, стоящему в углу каретного двора мсье Дессена. Он советует хозяину гостиницы поскорее продать карету и избавиться от угрызений совести при виде того, как она мокнет в дождливую погоду. Однако мсье Дессен остроумным ответом обескураживает чувствительного путешественника: «Но в таком случае я только променял бы одно беспокойство на другое, и притом с убытком. Представьте себе, милостивый государь, что я дал бы вам экипаж, который рассыплется на куски, прежде чем вы сделаете половину пути до Парижа, представьте себе, как бы я мучился, оставив по себе дурное впечатление у почтенного человека»³²¹.

Но Йорик не просто «чувствительный путешественник». В этой поездке он хочет проверить справедливость своих представлений о природе человека: «Я делаю пробу человеческой природы. — Вознаграждением мне служит самый мой труд — с меня довольно»³²². (К слову сказать, — а Стерн своей манерой письма так и подталкивает своего биографа к отступлениям! — перевод Франковского приведенной выше фразы не совсем удачен — он отсекает важные смысловые ассоциации. Ведь фраза оригинала «Tis an essay upon human nature» — «Это опыт о человеческой природе» — тотчас приводит на ум такие эпохальные сочинения, как «Опыт о человеческом разумении» Джона Локка, «Опыт о человеке» Александра Поу-

па и «Трактат о человеческой природе» Дэвида Юма).

«Удовольствие, доставляемое мне этим экспериментом, — пишет Йорик, имея в виду сентиментальное путешествие, — держало в состоянии бодрого напряжения мои чувства и лучшую часть моих жизненных сил, усыпляя в то же время их более низменную часть»³²³.

Так ли это, узнаем позднее.

Композиция «Сентиментального путешествия» продумана до мельчайших деталей. Многие читатели, и даже критики, принимали утверждения Стерна «я начинаю с того, что пишу первую фразу, — а в отношении второй всецело полагаюсь на Господа Бога» за чистую монету. «Стоит только сесть за работу, — пишет критик в “Меркюр де Франс”, — писать, что придет в голову, и готова будет книга в Стерновом вкусе; расположение ее еще выгоднее, нежели содержание; не нужны ни порядок, ни стройность, ни связь в мыслях»³²⁴. Наивное представление! Стремление Стерна работать над текстом и после того, как он был сдан наборщику, даже несколько задержало выход книги. Стерн приехал в Лондон с белой рукописью, переписанной его рукой, где предусмотрительно были оставлены пустые чистые листы для правки. И онигодились: так как часть этого белого автографа сохранилась и находится в Британском музее, есть возможность увидеть ее испещренную поправками Стерна и сравнить изначальный текст с опубликованным.

Возьмем, к примеру, знаменитый эпизод обмена табакерками между Йориком и отцом Ло-

ренцо (такой обмен стал в Германии ритуалом в литературных кружках любителей и почитателей Стерна). Первоначально в белой рукописи стояло: «Монах потер свою роговую табакерку о рукав и преподнес ее мне одной рукой, а дугой — взял у меня мою; поцеловав ее, он спрятал табакерку у себя на груди — из глаз его струились целые потоки признательности — и распрощался»³²⁵. В опубликованном тексте читаем: «Во время этой паузы монах старательно тер свою роговую табакерку о рукав подрясника, и, как только на ней появился от трения легкий блеск — он низко мне поклонился и сказал, что было бы поздно разбирать, слабость или доброта душевная вовлекли нас в этот спор, — но как бы там ни было — он просит меня обменяться табакерками. Говоря это, он одной рукой поднес свою, а другой взял у меня мою; поцеловав ее, он спрятал у себя на груди — из глаз его струились целые потоки признательности — и распрощался»³²⁶.

Попробуем ухватиться за эти, быть может, самые важные из добавленных слов — «слабость или доброта душевная». Они помогут нам вернуться к основной цели сентиментального путешествия Йорика — «в поисках за Природой и теми приятными чувствами, что ею порождаются и побуждают нас любить друг друга — а также мир — больше, чем мы любим теперь»³²⁷.

Казалось бы, Йорик преследует благую цель вполне в духе просвещенного века, когда, по словам Джозефа Аддисона, «философия, не замыкаясь более в кабинетах и библиотеках,

в школах и колледжах, осеняет клубы и ассамблеи, столики для чаепития и кофейни»³²⁸, когда во всем — в философии, богословии, литературе, политической экономии — выдвигается на первый план морально-этический аспект, когда вопрос о «человеческой природе», о «разумном» и «неразумном» поведении человека становится самым животрепещущим — кажется, что именно в него упирается возможность гармонизации общества.

Этим занят Йорик — этим же занят и Стерн. Он тоже создает свой «опыт о человеческой природе». И он хочет, чтобы «эксперимент» был чистым. Не случайно он избрал своим главным героем священника Йорика, доброта и бескорыстие которого были показаны в «Тристраме Шенди», того самого Йорика, от лица которого Стерн публикует и свои проповеди. Более того, Стерн вырывает своего героя из повседневной жизни, с ее годами складывавшимися отношениями, симпатиями и антипатиями, меркантильными заботами и тщеславными устремлениями. Во время путешествия взаимоотношения героя с миром выступают как бы в очищенном виде, в значительной степени освобожденные от привычных действий и предвзятых чувств. Йорик может всецело сосредоточиться на цели своей поездки — «научиться» сочувствию и доброжелательству.

Стерн не ставит своего героя в тяжелые, тем более экстремальные ситуации. Нет не только робинзонова необитаемого острова, но перед Йориком не стоит и мучительный выбор между голодом и преступлением, как у других геро-

ев Дефо, между добродетелью и бесчестьем, как у героинь Ричардсона. Он не попадает в отчаянные, почти безвыходные ситуации, в каких оказываются персонажи Филдинга и Смоллетта. Единственная неприятность, с которой сталкивается Йорик, — отсутствие заграничного паспорта — легко и быстро устраняется. Герой погружен в тепличную атмосферу сентиментального путешествия, когда все огорчения, нередко исторгающие потоки слез у чувствительного Йорика, вызваны сочувствием к ближнему в его несчастье: хозяину сдохшего осла, карлику в театре, безумной Марии, скворцу, запертому в клетке, и даже старой карете, одиноко стоящей в углу двора.

И вот, когда этот «идеальный» герой в «идеальной» атмосфере «сентиментального» путешествия хочет разобраться в человеческой природе на примере своей собственной, оказывается, что, наряду с добрыми побуждениями, им часто движет скаредность, вожделение, самолюбие, тщеславие.

Не случайно знаменитый, полный сентиментального пафоса эпизод с мертвым ослом заканчивается перебранкой Йорика с кучером. Не случайно прекраснодушный порыв Йорика, пытавшегося освободить запертого в клетке скворца, завершается через несколько страниц рассказом о дальнейших приключениях несчастной птицы, показывающим эфемерность благородных чувств героя книги. Йорик заходит в лавку к перчаточнице, привлеченный, как ему кажется, ее любезностью и доброжелательностью, и сам же невольно обнаруживает, что

источником его симпатии было прежде всего сексуальное влечение...

Те, кто увидели в авторе «Сентиментального путешествия» (а таких было ох как много!) лишь «чувствительного Стерна», не поняли всей глубины этой книги. Ведь Стерн создает образ субъективного повествователя, чьи слова следует воспринимать с поправкой на «возмущающий эффект» рассказчика: прекраснодушные убеждения Йорика ставятся под сомнение его же поведением.

Что бы там ни заявлял Йорик, непосредственное чувство не всегда является гарантией добродетельного поступка. При встрече с монахом первым побуждением Йорика было «не дать ему ни единого су», а при встрече с Ла Флером другая крайность — взять бедного парня в услужение, независимо от того, что тот умеет делать.

Доброжелательность и душевная чуткость героя сочетается с эгоизмом. Пылкое воображение и способность к сопереживанию не делают Йорика добродетельным, они подчас дают почву для самолюбования, как при встрече с Марией из Мулена или с хозяином сдохшего осла. Стерн далек от апологии «естественного чувства», какую находим, к примеру, в «Эмиле» (1762) Ж.-Ж. Руссо, где савойский викарий утверждает: «Мне нужно только посоветоваться с самим собой о том, что я хочу делать: все, что чувствую как добро, есть добро; все, что чувствую как зло, есть зло»³²⁹.

Человеческие чувства так сложны, таково переплетение «высокого и низкого со-

знания», столько неясностей в том, что же было в конечном счете основой поступка — добрые чувства или эгоизм, что разум бессилён разобратсья в этом. Йорик, сам того не подозревая, ставит себе невыполнимую задачу.

«Если Природа так сплела свою паутину добра, что некоторые нити любви и некоторые нити вожделения вплетены в один и тот же кусок, следует ли разрушать весь кусок, выдерживая эти нити?» Стерн не отдаёт предпочтения ни «человеку разума», ни «человеку чувства»³³⁰. Как тонко отметил немецкий сентименталист Жан-Поль, «смех Стерна снисходителен, хотя и немного грустен, так как он прекрасно осознает, что и сам является частью этого несовершенного мира»³³¹.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Март 1768

— Но какая же может быть жизнь, Евгений, — возразил я, — ведь если эта шлюхина дочь проведала ко мне дорогу...

Л. Стерн. Тристафрам Шенди

«Шлюхина дочь» — так непочтительно обозвал Стерн смерть перед первой своей поездкой во Францию. Тогда ему удалось от нее улепетнуть, но шесть лет спустя она его настигла.

В начале марта Стерн подхватил инфлюэнцу. «Нездоровье уложило меня в постель <...> — пишет он дочери из Лондона (она и миссис Стерн находились в то время в Йорке), — эта дрянная инфлюэнца — не пугайся, думаю, что я поправлюсь, — и буду с вами 1 мая, но если я и выскочу, то ненадолго, дитя мое, — разве только спокойный уголок и душевный мир восстановят мои силы...»³³²

Вероятно, в том же грустном настроении он пишет очень краткие — буквально страниц пять-шесть — «Воспоминания о жизни и семействе покойного священника Лоренса Стерна», адресованные его дочери. Написано просто, сдержанно, без каких-либо слезливых эмоций. Неко-

торые факты требуют уточнения. Завершаются воспоминания словами: «Я записал эти подробности о моей семье и обо мне самом для моей Лидии на случай, если впоследствии из любопытства или более нежных побуждений она пожелает их узнать»³³³.

Слухи о нездоровье Стерна уже поползли по Лондону. В ответе на обеспокоенную записку миссис Монтэгю он уже не может их отрицать, хотя и пишет в своей всегдашней игривой манере:

Столь своевременное добросердечие записки дорогой миссис Монтэгю исторгло то, чего не могли исторгнуть ни болезнь, ни несчастья. Да, вы угадали — слезу, которую я счел за лучшее смахнуть, дабы ко мне вернулось зрение и я смог сказать ей: письмо это тронуло меня куда больше, чем если б она прислала уведомление о передаче права на владение ее имуществом, а также (что бы я оценил еще выше) — на владение ее умом и талантом... В моем положении (как и в положении любого другого) доброе слово или взгляд покоряет навечно — говорю об этом так, словно не был покорен вами прежде... Но я умею противостоять злу, — *et quand Je serai mort, on mettra mon nom dans le liste de ces Heros, qui sont Morts en plaisantant**.

То, к чему вы проявили столь пристальный интерес, дорогая мадам, я не могу ни скрыть, ни оспорить, хоть я и стремился сделать из этого несчастья

* и когда я умру, мое имя войдет в число тех героев, кто умирал с шуткой на устах. (Фр.; во французском тексте соблюдена орфография Стерна.)

великую тайну. Да, я болен, очень болен — и все же я в полной мере ощущаю свое существование, а также — нечто вроде откровения, которое говорит мне: «И буду жить», — и тем не менее «Сделай завещание для дома твоего»³³⁴.

О! Я завидую Скаррону — впрочем, это гнусная ложь, ибо, когда пришло ваше прелестное письмо, я писал одно презабавное сочинение, которое, если только не помру, обязательно в неделю закончу... Нет, вы объясните мне, как удалось Сервантесу писать свою изящную и смешную сатиру в мрачном и сыром застенке; как, преодолевая боль, творил Скаррон; и как бедный каноник сумел создать «Способ выйти в люди»³³⁵...

Последний пример имеет ко мне отношение самое непосредственное... У всех у них были, как видно, какие-то отклонения, или же во всех нас, когда мы находимся в доме рабства, начинает бить некий неведомый источник... Простите мой слабый мозг за все эти бредни и, дабы укрепить сей непрочный механизм, пришлите мне, любезная леди, немного студня... Мне тягостны все те, кто меня опекает, но с их помощью я надеюсь через 2—3 дня прочесть вам заутреню... Поверьте, мадам, ни один верующий не приблизился к вашему алтарю с более незапятнанным подношением, чем

Ваш преданный и покорный слуга

Л. Стерн³³⁶.

К середине месяца состояние писателя значительно ухудшилось, развился плеврит. Для Стерна, с его застарелой чахоткой, это было фатально.

Во вторник, 15 марта, он пишет миссис Джеймс свое последнее письмо:

Ваш бедный друг едва в силах писать — на той неделе он был у порога смерти от плеврита. — В четверг мне трижды пускали кровь, а в пятницу прикладывали пластырь. — Врач говорит, что мне лучше. — Бог ведает, ибо я чувствую себя прескверно, и, если поправлюсь, не скоро еще буду в состоянии встать с постели. — Я не дошел еще и до половины этого письма, а уже должен был раз десять остановиться, чтобы дать отдых моей хилой руке. — Мистер Джеймс был так добр, что вчера меня навестил. При виде его я почувствовал неопишное волнение, и как же он меня обрадовал тем, что много говорил о вас! — Пожалуйста, дорогая миссис Джеймс, попросите его прийти завтра или послезавтра, так как мне, может быть, осталось жить немного дней или часов. — Я хочу попросить его об одолжении, если мне станет хуже, — я буду просить о нем вас, если выйду победителем из этой схватки, — бодрость покинула меня — дурное предзнаменование, — не плачьте, дорогая моя, — слезы ваши слишком драгоценны, чтоб проливать их ради меня, — закупорьте их источник и никогда не открывайте. — Самая дорогая, самая добрая, самая милая, самая лучшая из всех женщин! Пусть здоровье, мир и счастье будут вашими прислужницами. — Если я умру, храните память обо мне и забудьте мои безрассудства, которые вы так часто осуждали и в которые вовлекло меня сердце, а не ум. Если бы дочь моя, моя Лидия, лишилась матери, могли ли я надеяться, что вы (если она останется сиротой) ее приголубите? — Вы единственная женщина на земле, на которую я могу рассчитывать в этом милосердном поступке. — Я написал ей две недели тому назад, перечислив все, что, по моему убеждению, она найдет в вас. — Мистер Джеймс будет ей отцом —

он оградит ее от всякого оскорбления, ибо он носит шпагу, которой служил своему отечеству и которую сумеет обнажить на защиту невинности. — Поручите меня его покровительству, как я поручаю вас покровительству Того, кто печется о всех добрых и отзывчивых людях на свете. — Прощайте — сердечная благодарность вам и мистеру Джеймсу. —

Ваш бедный любящий друг,

Л. Стерн³³⁷.

Это последние строки, написанные Лоренсом Стерном. Он умер в своей квартире на Бонд-стрит в 4 часа дня в пятницу 18 марта 1768 года.

Комический роман — это название в письме к миссис Монтэгю было явно навеяно Скарроном — либо вообще не был начат, либо бумаги в суматохе каким-то образом затерялись в съемной квартире, а возможно, и были уничтожены чрезмерно услужливым родственником миссис Стерн, о чем узнаем ниже.

В седьмом томе «Тристрама Шенди» есть такие пророческие строки: «Имей я возможность выговорить условия контракта со Смертью, <...> я бы, конечно, решительно возражал против того, чтобы она за мной явилась в присутствии моих друзей; вот почему, стоит мне только серьезно призадуматься о подробностях этой страшной катастрофы, которые обыкновенно угнетают и мучат меня не меньше, нежели сама катастрофа, как я неизменно опускаю занавес и молю Распорядителя всего сущего устроить так, чтобы она настигла меня не дома, — — а в какой-нибудь порядочной гостинице. — — Дома, я знаю, — — — огорчение друзей и последние зна-

ки внимания, которые пожелает оказать мне дрожащая рука бледного участия, вытирая мне лоб и поправляя подушки, так истерзают мне душу, что я умру от недуга, о котором и не догадывается мой лекарь. — В гостинице же немногие услуги, которые мне потребуются, обойдутся мне в несколько гиней и будут оказаны мне без волнения, но точно и внимательно»³³⁸.

«Распорядитель всего сущего» уважил эту просьбу. Стерн умер в фешенебельных комнатах, где во время болезни его посещали друзья, где его наблюдали врачи, где за ним ухаживала заботливая сиделка.

Тем не менее о последних днях и минутах в жизни писателя осталось немало легенд, одна причудливей другой — будто служанка с еще живого Стерна сняла золотые запонки, будто хозяйка квартиры за долги продала его труп в анатомический театр...

Пользуясь этими сомнительными сведениями и даже искажая месяц смерти, Вальтер Скотт так описал его конец: «В феврале 1768 года Лоренс Стерн, измученный долгой изнуряющей болезнью, умер в своей квартире на Бонд-стрит в Лондоне. Было что-то в его смерти, поразительно похожее на некоторые подробности, рассказанные миссис Квикли о смерти Фальстафа, собрата Йорика по неиссякаемым шуткам, но совсем не схожее с ним в прочих подробностях. Лежа в кровати совершенно измученный, он пожаловался, что ноги у него холодные, и попросил служанку растереть их. Она сделала это, и ему как будто стало легче. Он пожаловался, что холод поднимается выше; и пока служан-

ка растирала его лодыжки и голени, он умер без единого слова»³³⁹.

Было что-то в Стерне, что и при жизни, и, как видим, после смерти писателя провоцировало самые невероятные анекдоты. «Оттого, что я написал “Тристрама Шенди”, свет вообразил меня шендианцем в большей степени, чем я когда-либо был на самом деле»³⁴⁰, — жаловался Стерн в одном из писем в ноябре 1767 года.

Наиболее правдивый рассказ, хотя и написанный через годы после печального события, находим в «Путешествиях» (1790) Джона Макдоналда, в то время бывшего в услужении у Джона Кроферда, приятеля Стерна со времени поездки во Францию. Макдоналд вспоминает, что в ту пятницу у Кроферда на Клиффорд-стрит, неподалеку от квартиры Стерна, был званый обед, на котором присутствовали герцог Роксбург, граф Марч, герцог Графтон, граф Оссори, Дэвид Гаррик, Дэвид Юм и мистер Джеймс. Кабы не болезнь, Стерн тоже сидел бы с ними за столом. Заговорили о нем и, узнав от Джеймса о его плачевном состоянии, послали Макдоналда справиться о его здоровье. «Я отправился на квартиру мистера Стерна, — пишет Макдоналд. — Хозяйка открыла дверь; я спросил, как он себя чувствует. Она велела мне подняться к сиделке. Я вошел в комнату, как раз когда он умирал. Я пробыл там десять минут; но уже через пять он сказал: “Теперь она пришла”. Он поднял руку, будто защищался от удара, и в ту же минуту умер. Джентльмены очень огорчились и долго сокрушались о нем»³⁴¹.

Печальная новость быстро разнеслась по городу. Леди Мэри Коук узнала о ней в тот же ве-

чер, о чем и сделала запись в своем дневнике. Она играла в «мушку» — азартная карточная игра — у Кэролайн Хау в компании Хорейса Уолпола и лорда Эглинтон. Лорд Оссори, пришедший от Кроферда, объявил о смерти «знаменитого доктора Стерна». Казалось, он был глубоко потрясен. Лорд Эглинтон заметил, разумеется, без тени насмешки, что Стерн отправился в свое «сентиментальное путешествие»³⁴².

Стерн был похоронен во вторник 22 марта. Не осталось сведений, сколько народа пришло проводить его в последний путь, похоже, что немного. Доподлинно известно, что присутствовали его издатель Беккет и мистер Джеймс. Холла-Стивенсона не было в Лондоне, жена и дочь тоже не озаботились приехать из Йорка. Похоронную службу отслужили в приходской церкви Сент-Джорджис на Ганновер-сквер. Стерна похоронили на кладбище при этом приходе — к нему относились его апартаменты на Бонд-стрит. Кладбище, разбитое всего за четыре года до смерти писателя, находилось неподалеку от Гайд-парка, в те времена это было глухое место; у входа стояла небольшая часовенка Вознесения. Дьячок оставил запись, что было заплачено 16 шиллингов и 6 пенсов — довольно большая сумма — за свечи и погребальные молитвы.

В 1823 году неподалеку от могилы Стерна у западной стены была похоронена Анна Рэдклифф, королева «готического романа».

Но и в могиле этот шендианец не нашел упокоения. Вскоре стали утверждать, что тело было похищено и продано анатомам. Случаи таких похищений были в те времена не редкостью. Стре-

мясь защитить могилы, на Сент-Джорджском кладбище завели сторожа с огромным мастиффом. Но, несмотря на все старания, газеты сообщили, что в ноябре 1767 года на этом кладбище было украдено тело — сторож спал, а собаку забрали вместе с покойником.

Холл-Стивенсон в Предисловии к предпринятому им второму изданию «Продолжения Йорикова сентиментального путешествия» (1769) пишет, что, когда через год после смерти писателя он приехал в Лондон, ему сообщили, что «тело мистера Стерна, похороненного около церкви Марилебон, было вскоре извлечено из могилы, перевезено в Оксфорд и анатомировано известным хирургом». Правда, в третьем издании своего «Продолжения» автор уверял, что сведения эти недостоверны.

Существует и более обстоятельная версия, согласно которой тело было похищено буквально через день-два после похорон и продано доктору Чарлзу Коллиньону, почтенному профессору анатомии в Кембриджском университете. При этом ни похитители, ни профессор не знали, чей это труп, так как на могиле не было надгробной плиты. Профессор пригласил присутствовать на вскрытии двух своих приятелей, и, когда процедура была почти завершена, один из наблюдавших приподнял покров с лица покойника и, узнав в нем Стерна, с которым был шапочно знаком, лишился чувств. Профессор анатомии, поняв, над кем он потрудился своим скальпелем, бережно отнесся к останкам; преподобный Томас Грин, декан собора в Солсбери, утверждал, что несколькими годами позже

видел череп Стерна в Кембридже. Однако все попытки, предпринятые в начале XIX века, обнаружить этот череп в анатомическом музее Кембриджа окончились неудачей.

Возможно, именно неуверенностью, что тело Стерна покоится в земле, объясняется то, что родственники и друзья писателя не торопились положить плиту на его могилу, в связи с чем Гаррик и сочинил эпитафию Стерну:

Пускай лишь мрамора громада говорит,
Что титулованная глупость здесь лежит;
Не нужен мрамор, чтоб скорбели мы,
Что Гения со смертью Стерна лишены³⁴³.

Могила Стерна удостоилась надгробья где-то около 1780 года, и воздвигли его два масона, скрывшихся за инициалами, которые лично не знали его и допустили неточности в дате смерти:

Увы! Бедный Йорик.
На этом месте
покоится тело
Преподобного Лоренса Стерна, магистра,
умершего 13 сентября 1768 года
в возрасте 53 лет.

Этот могильный камень был поставлен в память об усопшем двумя братьями масонами, ибо, хоть он и не дожил до вступления в их братство, но все его несравненные произведения явственно подтверждают, что он поступал согласно Правилу и Закону: они рады, что имеют возможность увековечить его

возвышенный и безупречный образ для грядущих веков.

У. и С.³⁴⁴

И только в 1893 году один из потомков дяди Стерна Ричарда, владелец наследственного имения под Галифаксом, сделал дополнительную могильную плиту, на которой значилось:

В память
о преподобном Лоренсе Стерне, магистре,
ректоре Коксуолда в Йоркшире,
рожденном 24 ноября 1713 года
и умершем 18 марта 1768 года.
Прославленный автор
«Тристрама Шенди»
и
«Сентиментального путешествия»,
произведений, превзошедших богатством юмора
и патетичной сердечностью
все, написанное на английском языке,
что навеки сделало бессмертным
имя их автора.
«Requiescat in pace*».
Надгробие на этой могиле
было почищено и отреставрировано
владельцем имущества Стернов
в Вудхаузе под Галифаксом в графстве Йорк,
он же воздвиг эту плиту и каменный бордюр
в 1893 году³⁴⁵.

* Покойся с миром (*лат.*).

Стерн не хотел видеть рыдающих близких у своего смертного одра — при чужих проще сохранить мужество. И это его пожелание сбылось. Но лежать, полагаю, он предпочел бы либо на кладбище в Коксуолде, либо у Йоркского собора, где был похоронен его знаменитый прадед Йоркский архиепископ Ричард Стерн.

ВДОВА, ДОЧЬ, ВОЗЛЮБЛЕННАЯ

Штрихи к портретам

Клянусь Богом, это будет земля обетованная — молоко и мед!

Мед! Именно что мед!

Когда-то я им объелся...

Л. Стерн. Из частного письма

Аукцион в Шенди-Холле, объявленный в «Йоркском куранте» за 12 апреля 1768 года, состоялся двумя днями позднее. Было продано все, что можно продать — мебель, корова и воз сена для нее, карета, упряжка лошадей, прекрасный чайный сервиз и, главное, библиотека. Сервиз предварительно выставили в одном из магазинов Йорка, на лошадей можно было полюбоваться в гостинице на Лендал-стрит, карету отправили в Лондон. Библиотеку купили Дж. Тодд и Г. Сотрен, владельцы книжной лавки «Золотая Библия» в Стоунгейте. Кстати, за эту библиотеку выручили 80 фунтов, тогда как за карету и пару лошадей всего 60.

В 1930 году было предпринято факсимильное издание «Уникального каталога библиотеки Лоренса Стерна», повторяющее каталог йоркской распродажи, который насчитывал 2505 названий³⁴⁶. Однако исследователи доказали, что от-

нюдь не все упомянутые в нем книги принадлежали Стерну.

В целом распродажа имущества принесла семье 400 фунтов. Но необходимые затраты на много превышали эту сумму. Стерн оставил после себя много мелких долгов, да еще сгоревший по вине его заместителя пасторский дом в Саттоне... Разумеется, предстояла и выручка от только что опубликованного «Сентиментального путешествия», повторный его тираж был не за горами. Но повторный тираж нужно было еще распродать, а дамы хотели как можно скорее вернуться во Францию.

Холл-Стивенсон с помощью мисс Моритт из Йорка, приятельницы Элизабет Монтэгу, во время августовских йоркских скачек организовал подписку в пользу Лидии, не миссис Стерн, так как последнюю «настолько не любили и не уважали, — писала мисс Моритт миссис Монтэгу, — что ради нее никто не дал бы ни гинеи»³⁴⁷. Собрали более восьмисот гиней — цифра, по тем временам, весьма солидная. Позднее лорд Кроферд переслал 100 гиней от себя и тех, кто обедал у него в день смерти Стерна. Лорд Спенсер тоже не остался безучастным. Миссис Монтэгу пообещала Лидии выплачивать 20 фунтов ежегодно. Архиепископ Йоркский распорядился выплачивать миссис Стерн ежегодно не то шесть, не то восемь фунтов из фонда, учрежденного в помощь вдовам священнослужителей.

Так что долги Стерна были оплачены, правда, за сгоревший дом в Саттоне после долгих переговоров возмещена была лишь ничтожная сумма в 60 фунтов.

Помимо движимого имущества, с которым без сожаления расстались вдова и дочь, были еще и рукописи; к ним отнеслись бережнее в надежде получить со временем немалую сумму от их публикации. Неопубликованными остались 18 проповедей, которые Стерн забраковал при подготовке своих четырех томов, а также множество писем. О возможности посмертного издания писем Стерн писал еще в 1761 году в «памятной записке», оставленной на случай, если он умрет за границей.

Часть бумаг и вещей находилась в Лондоне, в его комнатах на Бонд-стрит. Заняться ими миссис Стерн поручила своему кузену, преподобному Джону Ботэму, у которого был приход в Илинге. Из вещей, согласно ее распоряжению, было продано все, что можно было продать — лишь золотая табакерка была подарена Холлу-Стивенсону, — а бумаги Ботэм должен был переслать вдове. Однако он поступил иначе. Он не только прочел личную переписку Стерна, но и предал огню то, что, по его разумению, не должно было попасть на глаза вдовы и дочери. Возможно, что и «комический роман», над которым работал Стерн в последние недели своей жизни, постигла та же участь. Возмущенная Лидия сразу же написала о его самоуправстве миссис Монтэю: «Он прочел все бумаги моего бедного отца и сжег то, что счел не подходящим для передачи нам. — Мама совершенно не предполагала, что кто-нибудь будет читать бумаги моего отца; она знала, что некоторые не должны быть увидены никем, даже дочерью; да я и не хотела их видеть. Мама этим

очень расстроена, потому что, хоть она и полагается на сдержанность мистера Ботэма, но даже и ему не следовало знакомиться с некоторыми историями. А сжигать что бы то ни было уж совсем не правильно. Надеюсь, он прекратит это и оставит все на усмотрение моей матери»³⁴⁸.

Вдова и дочь взялись в первую очередь за издание проповедей: их публикация не требовала хлопот с собиранием и редактированием материала. То обстоятельство, что сам Стерн не считал их достойными публикации, не было принято во внимание. Дам интересовало получение прибыли, а не упрочение посмертной славы усопшего. Так что проповедей набралось на целых три тома. Зимой 1769 года дамы энергично искали подписчиков в провинции; в Лондоне им помогали миссис Монтэгю и Джеймсы.

Весной Лидия с матерью приехали в Лондон и поселились на Джерард-стрит, неподалеку от Джеймсов, которые оказывали им всяческое покровительство. К кому только Лидия не обращалась с просьбой подписаться на проповеди! Вот ее письмо к Уилксу, только что вернувшемуся в Англию и приговоренному к двум годам тюрьмы Судом Королевской скамьи: «Миссис и мисс Стерн приветствуют мистера Уилкса. Они хотели бы нанести ему визит, если он не против; они будут очень обязаны, если он укажет час, когда он будет свободен. Они не хотят быть навязчивы, но были бы счастливы повидать человека, которого глубоко уважают и которым справедливо восхищался мистер Стерн. При встрече они будут умолять мистера Уилкса

обратиться к его друзьям с просьбой подписаться на три тома проповедей мистера Стерна, которые сейчас публикуются... Неприкрашенный рассказ о нашей ситуации, не сомневаюсь, обяжет мистера Уилкса сделать все, что в его силах»³⁴⁹.

И они преуспели: подписной лист на последние три тома проповедей превзошел все другие подписные листы при жизни Стерна — в нем значилось 729 подписчиков.

Но репутацию Стерна это издание не упрочило. В проповедях, предназначенных лишь для устного обращения к пастве, а отнюдь не для публикации, были и повторы из других проповедей Стерна, и цитаты без ссылок на источник из текстов других священников, что для прочтенной проповеди было допустимо, а для опубликованной нет.

Пятый, шестой и седьмой томы проповедей вышли в свет в июне 1769 года; на этот раз на титульном листе значилось «Проповеди покойного преподобного мистера Стерна». Комплект из трех томов стоил 7 шиллингов 6 пенсов.

Признаемся честно: с выбором супруги Стерну не повезло. В своих кратких мемуарах Стерн рассказывает дочери, при каких обстоятельствах вступил в брак, который трудно назвать счастливым: «В Йорке я познакомился с твоей матерью и два года за нею ухаживал — она признавалась, что я ей нравлюсь, но считала себя недостаточно богатой или меня слишком бедным, чтобы нам соединиться — она уехала к сестре в Стаффордшир, и я часто ей писал. — Я думаю, что она почти решила выйти за меня,

но не хотела этого сказать, — по возвращении она слегла, заболев чахоткой; и однажды вечером, когда я сидел возле нее, совсем убитый горем при виде ее болезни, она сказала: “Дорогой мой Лорри, я никогда не буду вашей, так как твердо уверена, что долго не проживу, — но я завещала вам все мое состояние до последнего шиллинга”; после этого она показала мне завещание — я был подавлен таким великодушием. — Богу угодно было, чтобы она поправилась, и в 1741 году я на ней женился»³⁵⁰. Если учесть, что Элизабет Ламли была к этому времени сиротой, то в великодушии поступка можно и усомниться.

Жена оказалась женщиной вздорной и эгоистичной, с мая 1764 года по собственному желанию практически жила с мужем отдельно, во Франции, постоянно требовала денег, которые Стерн регулярно высылал, подчас залезая в долги. Жить на два дома было весьма накладно, а главное, Стерн был лишен общения с дочерью, которую обожал. «Я живу ради моей дочери, — пишет он в декабре 1767 года, — и с этой милой легкой ношей в руках я бы мог быстро подняться по служебной лестнице, если б захотел, — но без Лидии даже митра, если бы мне ее пожаловали, сидела бы неловко на моей голове <...> Сердце мое обливается кровью, когда я думаю о разлуке с моим ребенком — она будет похожа на разлуку души с телом, — да, ее можно будет сравнить единственно только с тем, что происходит в эту страшную минуту»³⁵¹.

Стерн почти не скрывал своих многочисленных любовных увлечений, однако всегда оста-

вался не только любящим отцом, но и заботливым мужем. Это отражено в переписке.

Из письма к дочери от 15 мая 1764 года: «Если ревматизм у твоей матери не проходит и она хотела бы поехать в Баньер, — скажи, чтоб ее не останавливало отсутствие денег, так как мой кошелек будет таким же открытым, как и мое сердце»³⁵².

Письмо от 29 сентября 1764 года из Йорка его парижскому банкиру: «На этой неделе я получил от миссис Стерн письмо из Монтобана, где она пишет, что ей нужны немедленно пятьдесят фунтов. — Не будете ли вы добры послать распоряжение вашему агенту в Монтобана уплатить ей эту сумму наличными, — а я через три недели вышлю ровно столько же Беккету. — Но так как в кошельке у нее пусто, ради Бога, напишите немедленно. — Кроме того, я прошу вас сделать нечто столь же существенное — исправить ошибочное мнение вашего тамошнего агента, как будто намекнувшего ей недавно, “что она со мной развелась”. — Так как это, во-первых, неправда, а во-вторых, может дать невыгодное представление о ней людям, среди которых она живет, — то было бы жестоко допустить, чтобы она или дочь моя от этого пострадали; так будьте настолько добры — выведите из заблуждения вашего агента — ибо через год или два жена моя предполагает (и я с нетерпением этого жду) вернуться ко мне — и скажите им, я вполне ей доверяю в том, что она не будет тратить больше, чем я могу дать, а назвал я двести гиней в год только потому, что надо же было назвать какую-нибудь определенную сумму, на которую я вас просил предоставить ей кредит»³⁵³.

Письмо ему же от 15 апреля 1765 года: «Дорогой Фоли, жена мне сообщает, что она взяла под вексель сто фунтов, и отсюда следует, что он должен быть вами оплачен сию минуту — деньги находятся у Беккета; — пришлите мне, дорогой Фоли, мой счет, чтобы я мог сравнить приход с расходами и знать, сколько оставить у вас на руках»³⁵⁴.

А это другому парижскому банкиру, мистеру Паншо (от 7 октября 1765 года): «Я вручил мистеру Беккету шестьсот фунтов, чтобы у вас было чем платить по требованию миссис Стерн и моему»³⁵⁵.

А вот из письма дочери от 3 февраля 1766 года: «Попроси, пожалуйста, твою мать написать мистеру К., что я могу расплатиться со всеми долгами, и тогда, моя Лидия, пока я жив, все доходы от произведений моего пера будут ваши»³⁵⁶.

И снова Паншо (от 25 ноября 1766 года): «К концу следующего месяца жене моей понадобится 100 гиней — будьте так добры, дорогой Паншо, распорядитесь на тот счет, чтобы ее не постигло разочарование — Она собирается провести рождественский карнавал в Марселе — сам я на Рождество буду в Лондоне и тотчас покрою этот перевод миссис Стерн платежом мистеру Селвину»³⁵⁷.

Ему же (от 20 февраля 1767 года): «Вчера я заплатил (через мистера Беккета) сто гиней или фунтов, хорошо не помню, мистеру Селвину. — Но вы должны переслать миссис Стерн в Марсель сто луи до ее отъезда из этого города, который она собирается покинуть меньше чем через три недели»³⁵⁸.

А через три дня после этой просьбы пишет дочери: «Зачем ты говоришь, что твоя мать нуждается в деньгах? — Когда у меня заводится шиллинг, разве вы обе не получаете девять пенсов из него?»³⁵⁹

А вот советы в письме дочери от 24 августа того же года, предвещающем их недолгий приезд в Англию, куда дамы заторопились, как только до них дошли слухи о влюбленности Стерна в Элайзу Дрейпер: «Скажи матери, чтобы она покупала все, что может вам понадобится в Париже, — нельзя упускать такого случая»³⁶⁰.

В декабре 1767 года Стерн пишет Джеймсам: «Миссис Стерн наняла меблированный дом в Йорке, где будет жить до возвращения во Францию, и моей Лидии нельзя будет ее покинуть —»³⁶¹.

Жена и дочь не покинули свой дом в Йорке в марте 1768 года, когда в течение почти трех недель Стерн в Лондоне боролся со смертью, не покинули его и ради похорон отца и мужа. Лишь годом позже, когда понадобилось собирать подписи для издания новых томов проповедей, приехали они в Лондон.

Тогда же всех удивил Холл-Стивенсон: он привез в Лондон рукопись, названную «Сентиментальное путешествие мистера Йорика по Франции и Италии, продолженное Евгением». Холл сопроводил свою публикацию краткой биографией Стерна, содержащей множество неточностей, и предисловием, где утверждалось, что продолжение включает материал, который Стерн планировал использовать, о чем по дружбе поведал ему. Явная выдумка. «Продолжение»

состояло из перепевов уже описанного Стерном, разумеется, без его тонкости и иронии, — вновь встреча с гризеткой, посещение могилы уже умершей Марии из Мулена и тому подобное. Об Италии ни полслова. Книга тем не менее неплохо раскупалась.

Тем временем «вдова и дочь, — по выражению Уилбура Кросса, — придумывали все новые проекты, как превратить популярность Стерна в деньги»³⁶². Одну идею подкинул Уилкс. Когда дамы навестили его в тюрьме (а в те времена при наличии средств в тюрьме можно было жить почти как в гостинице), он предложил издать в их пользу биографию Стерна, которую готов был написать в соавторстве с Холлом-Стивенсоном. Окрыленные таким предложением дамы переговорили с «кузеном Энтони»; тот с легкостью согласился. Лидия стала готовить письма, которые планировалось приложить к биографии. Но далее прекраснодушных планов затея не пошла: Холл был слишком ленив, Уилкс занят собственными делами. Лидия бомбардировала обоих письмами, но безответно.

Вот одно из этих писем, адресованное Холлу, от 13 февраля 1770 года, с юга Франции, из Ангулема, куда переселились вдова и дочь:

Прошло уже не менее шести месяцев с тех пор, как я писала вам по интересующему нас предмету, а именно — напомнить о вашем любезном обещании помочь мистеру Уилксу в его намерении написать в нашу пользу «Жизнь мистера Стерна». Я писала и ему, но ни один из вас не удостоил меня ответом. Если бы вы сами знали, что значит «обманутые мечты», вы не

поставили бы нас в такое положение. От кого исходит это пренебрежение, я не знаю; но, конечно же, несколько строк от вас, дорогой сэр, не доставили бы вам больших хлопот. Не упрекайте меня за слово «пренебрежение»: так как оба вы от щедрости сердечной обещали написать «Жизнь» моего отца в пользу его жены и дочери, я считала такое обещание священным и не сомневалась, что вы так же на него смотрите. В таком случае это слово вполне уместно. Короче говоря, дорогой сэр, вот о чем я вас прошу: пришлите мне короткое письмо с сообщением, можем ли мы полагаться на обещание ваше и мистера Уилкса, или нам следует отказаться от этих радостных ожиданий. Но, дорогой сэр, учтите, что исполнение обещания положит 400 фунтов нам в карман. А отказ будет дурным поступком, после того как мы полагались и надеялись на вашу доброту. Пусть это меня извинит.

Если вы не сможете или не захотите навестить мистера Уилкса, перешлите ему мое письмо и дайте мне знать *le oui ou le non**. И все же разрешите мне умолять мистера Холла быть столь же благородным, как и его слово: если ему не безразлично наше положение, ему следует поступить согласно своему характеру; это подтвердит, что Евгений был другом Йорика, — ничто не подтвердит это лучше, чем дружеское отношение к его вдове и дочери.

Прощайте, дорогой сэр!

Обязанная вам, ваша покорная слуга

Л. Стерн³⁶³.

Летом 1770 года Лидия и миссис Стерн переехали из Ангулема в Альби, небольшой городок не-

* да или нет (*фр.*).

подалеку от Тулузы. Об их жизни там узнаем из письма Лидии ее крестной матери миссис Монтэгю: «Местность довольно мила, и дом наш приятный, но людей очень мало, да и эти немногие не располагают к общению. — И я, и моя мать предпочитаем книги пустой болтовне. А в таких маленьких провинциальных городках мужчины невежественны, а дамы еще того более, если только речь не идет о нарядах. Но в целом французы доброжелательны, и иногда мы ходим в гости, а потом с тем большим удовольствием возвращаемся к нашим книгам, — помню, как отец жаловался в Тулузе, что от постоянного общения с французами его умственные способности слабеют день ото дня»³⁶⁴.

Однако не прошло и двух лет, как в этом скучном городке она нашла себе жениха и написала крестной, что собирается выйти замуж за французско-католика и соответственно принять католичество (оправдываясь при этом тем, что жених разрешит ей в быту придерживаться обрядов ее религии). Кроме того одним из условий брака было требование, чтобы миссис Стерн покинула их дом и жила отдельно и самостоятельно. В связи с этим Лидия просила миссис Монтэгю причитающиеся ей ежегодные 20 фунтов переводить на имя матери.

Несмотря на довольно суровую отповедь миссис Монтэгю, 28 апреля 1772 года Лидия приняла католичество. В тот же день состоялось и ее венчание с Жаном Батистом Александром де Медаль. Жених принадлежал к хорошей семье таможенного чиновника в Альби и был на пять лет моложе невесты. Со свадьбой торопи-

лись, так как невеста была на шестом месяце беременности.

6 августа того же года у Лидии родился первенец, Жан-Франсуа-Лоран. Последнее имя мальчик получил в честь своего великого деда.

(В свете такого резкого поворота в судьбе дочери Стерна, — а Стерн в молодые годы был к тому же ярким антипапистом — с горькой иронией читаешь его наивные отцовские увещевания: «Надеюсь, ты не забыла моей просьбы не дружить с французскими женщинами — не потому, чтоб я дурно думал о них всех, но иногда женщины самых лучших правил являются наиболее вкрадчивыми — я же так болезненно дорожу твоей честью, что очень огорчился бы, обнаружив в тебе хотя бы крупницу кокетства»³⁶⁵ и несколько позднее: «Другое мое желание — ты не пугайся — заключается в том, чтобы перед отъездом ты бросила все свои банки с румянами в Сорг — я не желаю видеть на тебе никаких румян в Англии — и, пожалуйста, их не оплакивай <...> — но прими мудрое решение обходиться без румян»³⁶⁶.)

Миссис Стерн на венчании не присутствовала. По возвращении во Францию к ней вернулись припадки помешательства, которые мучили ее еще в Саттоне, когда она воображала себя королевой Богемии. Теперь ей мерещилось, что кто-то хочет пролезть в дом через каминную трубу, чтобы ее зарезать, поэтому все каминны снабдили массивными решетками. Были и эпилептические припадки. Свои последние дни она прожила в Альби на улице Сент-Антуан под присмотром доктора Лионьера. Она скончалась в январе 1773 года.

Осенью того же года Лидия продала всю недвижимость, остававшуюся в Англии после смерти ее отца. Молодой муж Лидии, вероятно, тоже слабого здоровья, протянул недолго — он умер в 1774 году, оставив Лидию вдовой с двумя детьми, — второй ребенок родился в декабре 1773 года.

Весной 1775 года Лидия приехала в Лондон с целью издать письма отца, подготовкой которых она уже занималась ранее в надежде приложить их к задуманной Уилксом биографии, которая так и осталась пустым прожектом. После рекламной компании, умело начатой в прессе задолго до публикации писем, они вышли в трех томах 25 октября 1775 года под длинным названием: «Письма покойного преподобного мистера Лоренса Стерна его самым близким друзьям, с “Фрагментом в манере Рабле”. К ним приложены “Мемуары его жизни и семьи, написанные им самим”. Опубликовано его дочерью миссис Медаль». На фронтисписе красовалась гравюра Колдуолла с портрета кисти Уэста, где Лидия была изображена рядом с бюстом Стерна. Далее шло посвящение Гаррику и написанная им эпитафия Стерну, после чего еще парочка элегий, перепечатанных из журналов.

Какими бы недостатками (о них скажем позднее) ни обладало это издание, оно содержало 118 писем Стерна, материал которых, включая и его краткие воспоминания, написанные для дочери на пороге смерти, содержат те сведения, на которых основываются все биографии писателя. Увы, у Стерна не было ни своего Боуэлла, ни своего Эккермана.

При подготовке текстов Лидия обнаружила полную беспомощность, а подчас и недобросовестность. Самое неприятное — неправильное расположение тех писем, на которых отсутствовала датировка. Так получилось, что письма Крофту 1760 года были написаны до публикации первых томов «Тристрама Шенди». Да и остальные письма были расположены в беспорядке; собственные имена заменены звездочками, тире или инициалами. Но самое грустное, что Лидия редактировала текст там, где речь шла о ее матери или Элайзе Дрейпер, а подчас и просто заменяла какое-нибудь нестандартное выражение банальным штампом.

После публикации писем она вернулась в Альби. О последних годах ее жизни почти ничего не известно. Ходили всякие слухи — вплоть до того, что она была гильотинирована во время Французской революции. В дальнейшем подтвердилась их необоснованность. Ее старший сын умер в 1783 году, и к моменту его смерти Лидии уже не было в живых.

Остается рассказать о дальнейшей судьбе Элайзы Дрейпер. Судя по подробным письмам ее кузену Тому и миссис Джеймс, Элайза после долгого, но скорее приятного путешествия добралась до Бомбея к началу 1768 года «поздоровевшая и окрепшая». До осени она жила с сестрой в провинции, на берегу моря, «ежедневно купалась, пила молоко и наслаждалась конными прогулками»³⁶⁷.

Потом ее мужа перевели в Телличерри. И она с удовольствием помогала ему в офисе, ког-

да тот лишился двух клерков — «это придает мне значительности, а ему доставляет удовольствие»³⁶⁸, — писала она в Англию. У них был открытый дом, где всегда толпился народ из самых разных частей света.

Одно из писем выражает печаль в связи со смертью «нашего бедного малютки»³⁶⁹: ее сын, оставшийся в Англии, умер в 1769 году. (Судьба дочери сложилась более счастливо: она вышла замуж в 1785 году за Томаса Невилла и родила сына и трех дочерей.)

Приятную жизнь хозяйки светского салона нарушило тревожное известие с берегов Альбиона: миссис Стерн и Лидия готовят к изданию переписку Стерна и планируют включить в том кое-что из ее переписки с «нежным Йориком». Слух этот специально был пущен милыми дамами, которые в своей алчности не побрезговали и шантажом.

Известие, что ее переписка с Йориком попала в руки вдовы и та готова опубликовать ее, повергло Элайзу в ужас: публичный скандал мог разрушить только что наладившуюся идиллическую жизнь в Индии. Вероятно, этим и объясняются горькие слова, сказанные ею о Стерне в письме к миссис Джеймс: «Я всецело доверяла Стерну, я верила ему! У меня были все основания считать его справедливым, щедрым и несчастным человеком, но после его смерти я убедилась, что его можно упрекнуть в несправедливости, низости и глупости»³⁷⁰. В том же письме к миссис Джеймс она просит: «Ах, мой верный друг, Бога ради, отдайте им все те деньги, что я вам оставила — и даже, если потребует-

ся, вдвое больше! Кольцо тоже можете отдать миссис Стерн...»³⁷¹

После неформальной договоренности с издателем Беккетом, что письма будут переданы миссис Джеймс, Элайза стала пересылать ему отдельными суммами деньги для миссис Стерн. Общая сумма, выплаченная ею за три года, составила 1200 рупий. Она даже послала в Англию вполне состоятельного жениха для Лидии — полковника Кэмпбелла. Но он опоздал: ко времени его приезда Лидия уже стала женой Александра Медалля.

Какие именно письма Элайзы были выкуплены и какова их дальнейшая судьба, неизвестно. Можно предположить, что это были письма, написанные Стерну с корабля во время возвращения в Индию. О двух из них упоминает Стерн в письме Джеймсам: «Я только отплачу вам за ваше доброе внимание ко мне, сообщив, что сию минуту получил еще одно письмо, написанное через восемнадцать дней после отправки предыдущего из Сант-Яго. — Если бы наш бедный друг Элайза была в состоянии написать еще одно письмо в Англию, вы бы, конечно, его получили — но, судя по тому, что она сильно спешила и чувствовала себя нездоровой, когда писала мне, я боюсь, она не успела этого сделать...»³⁷² Возможно, что выкупленные письма были уничтожены миссис Джеймс по просьбе Элайзы, ведь письма, адресованные самой миссис Джеймс, сохранились.

В 1771 году Дэниэл Дрейпер получил повышение и был направлен в Сурат. Но роскошная жизнь в Сурате, с охотой на антилоп и те-

лохранителями, длилась недолго: через год ее муж был снова отозван в Бомбей. К этому времени в семье начались ссоры. Элайзе хотелось поехать в Англию, к дочери. Муж не отпускал, однако пообещал, что двенадцатилетие их дочери в 1773 году она встретит вместе с нею в Лондоне. Но по мере приближения срока отъезда муж выдвигал все новые причины для отсрочек.

Наконец 11 января 1773 года, незадолго до отплытия корабля между супругами разгорелась ссора. Дрейпер, упрекая жену в неверности, называл имя сэра Джона Кларка из Морского ведомства, жена припомнила ему интрижку со своей камеристкой мисс Лидс. Через два дня после этого неприятного объяснения Элайза сбежала из их роскошного особняка на корабль своего поклонника, спустившись из окна по веревочной лестнице.

Мужу было оставлено длинное взволнованное письмо:

...Я пишу в единственном числе, так как не хочу упоминать имени, которое будет тебе неприятно услышать; но хоть раз поверь мне, Дрейпер, когда я торжественно утверждаю, что только ты довел меня до этой крайности. До нашего разговора в прошедший понедельник ему не на что было надеяться, а тебе — нечего опасаться. Потеряв надежду мирно и с уверенностью жить с моей дорогой девочкой, отчаявшись хоть о чем-то с тобой договориться, да еще, признаю, испытывая сильнейшую обиду на твое открытое предпочтение мне мисс Лидс, я САМА предложила идею такого неожиданного разрыва. Прости меня, Дрейпер, если он причиняет тебе боль;

но если здесь задета только гордость, умоляю, принеси ее в жертву чувству гуманности, как ты это умеешь, и будешь щедро отомщен теми угрызениями совести, которые я буду испытывать до конца дней своих, ведь мой поступок полностью опозорит меня в глазах всех, кого я люблю; и не позволяй ему укрепить ложное мнение, порожденное выдумкой Лидс, потому что, клянусь тебе, ЭТО НЕПРАВДА, хотя мой теперешний поступок может скорее рассматриваться как последствие этого. О! Пусть предубеждение не останется глухо к разумным требованиям израненного духа; О! если бы ты, Дрейпер, мог читать в моем сердце так ясно, как того хочет чувствительность и невинность!

Но это звучит как встречное обвинение, а я этого не хотела бы. Я могу лишь сказать в свое оправдание, что если ты думаешь, Дрейпер, что я горжусь своим поступком, ты сильно ошибаешься. Мое сердце обливаётся кровью при мысли о возможных твоих страданиях, хотя, если б ты любил меня, этого никогда бы не случилось. Я слишком взволнована, чтобы писать связно. Не важно. Ведь, если твой ум не подскажет снисхождения, то, что бы я ни говорила, это не будет иметь значения. Я уезжаю, сама не знаю, куда, но я никогда не введу тебя в дополнительные расходы, Дрейпер. Честное слово, уверяю тебя, и не подозревай меня в том, что я способна добавить еще это к своему бесчестию. Я не жестокое и не испорченное существо — и никогда не буду такой. Вложенные сюда счета — это всё, что мне известно, если не считать шести рупий, которые я должна Дуджи, сапожнику. Я никогда не думала о собственной выгоде тебе в ущерб, и беру лишь скромный запас белья, который позволит мне сэкономить часть собственных средств

и избежать весьма унижительных трудностей. Из жемчугов и шелковой одежды я не взяла ничего. Портрет Бетси — вот и все, что я решилась захватить.

Я не отваживаюсь рекомендовать кого-либо из домашнего окружения исполнять обязанности хозяйки дома; но заклинаю тебя поверить, что никто из домашних и ни одна живая душа ни в Мэрайн-хаузе, ни в Мазагоне не была посвящена в мои планы, ни прямо, ни косвенно, и я думаю, что ни у кого из них не было ни малейшего подозрения, если только слишком явная моя озабоченность не заставила их подумать, что волнение вызвано какой-то необычной причиной. О, Дрейпер! Одно только слово или взгляд во вторник или в среду, выражающий сочувственное сожаление, удержали бы меня от этого опасного предприятия и тех сожалений, которых хватит на всю долгую жизнь. Я вновь повторяю свою просьбу не мстить мне в дальнейшем. Предоставь меня моей судьбе, заклинаю тебя, Дрейпер, и, так поступив, ты обречешь меня на неопишуемые страдания, потому что не думай, что я довольна собой и своим будущем, хоть я и сама к нему стремлюсь.

Да благословит тебя Господь, пусть здоровье и процветание пребудут с тобою, и счастье тоже, и я не сомневаюсь, что так и будет, если ты сможешь побороть обиду с помощью здравых размышлений. Не позволяй ложным мыслям о моем триумфе подтолкнуть тебя к мести, умоляю тебя, Дрейпер, потому что ничего подобного не было и не будет, я не способна желать тебе зла или непочтительно относиться к твоему имени и воспоминаниям о тебе теперь, когда я освободилась от твоего владычества. Оставь меня в покое, и я попытаюсь прожить свою жизнь с чувством приятия, если не уважения.

Прощай! И еще раз, мистер Дрейпер, будь уверен, что я сказала тебе всю правду, как бы она ни расходилась с твоими взглядами и с мнением общества³⁷⁹.

Это, как и другие сохранившиеся ее письма, адресованные миссис Джеймс и ее кузену Томасу Склейтеру, подтверждают, что Элайза действительно обладала определенным литературным даром.

После побега, который наделал много шума, так как она была одной из известнейших светских дам Бомбея, Элайза нашла защиту и покровительство у своего дяди Джона Уайтхилла в Масулипатаме. Попытки брошенного мужа подать в суд на Джона Кларка кончились провалом, так как против Дрейпера в свою очередь были выдвинуты серьезные контробвинения.

В том же 1773 году, но уже после побега, в Лондоне были опубликованы отдельной книжечкой десять писем Стерна к миссис Дрейпер под названием «Письма Йорика к Элайзе» с посвящением лорду, сыну того самого старого вельможи лорда Бэттерста, знакомство с которым описывает Стерн в одном из писем к Элайзе: «Способ, каким он завязал со мной знакомство, был столь же своеобразен, как и любезен. — Он подошел ко мне однажды, когда я был при дворе принцессы Уэльской. “Я хочу с вами познакомиться, мистер Стерн, но и вам тоже следует знать, кто желает получить это удовольствие. Вы, верно, слышали, — продолжал он, — о старом лорде Бэттерсте, которого так воспевали и о котором столько говорили ваши Поупы и Свифты: я прожил жизнь с гениями такого рода; но я их

пережил; отчаявшись когда-нибудь найти им подобных, я вот уже несколько лет заключил свои счета и закрыл свои книги с намерением никогда их не раскрывать; но вы зажгли во мне желание раскрыть их перед смертью еще раз, что я теперь и делаю; так пойдите ко мне и вместе пообедаем”. Вельможа этот, повторяю, чудо: в восемьдесят пять лет он сохранил всю остроту ума и физическую ловкость тридцатилетнего. — Охота к удовольствиям и способность доставлять их другим развиты в нем необыкновенно; вдобавок это человек образованный, обходительный и сердечный»³⁷⁴.

В предисловии анонимного издателя писем утверждалось, что они напечатаны с любезного разрешения миссис Дрейпер с копии, сделанной неким джентльменом в Бомбее. Был ли участником этого издания «некий джентльмен» или письма были получены от миссис Джеймс, ясно одно — публикация была санкционирована Элайзой. После скандала с веревочной лестницей несколько нежных писем знаменитого автора ее уже не пугали. Письма были явно подлинны, в отличие от изданных в 1775 году «Писем Элайзы к Йорику», очевидной подделки.

В конце 1774 года Элайза вернулась в Англию и в течение года жила с дочерью в Лондоне на Куин-Энн-стрит. В доме Джеймсов она могла даже столкнуться с Лидией, которая приехала в Лондон весной 1775 года и занималась изданием писем отца, хотя это лишь маловероятное предположение: после истории с шантажом обе дамы, вероятно, избегали друг друга.

Помимо Джеймсов Элайза общалась и с Джоном Уилксом, который за ней ухаживал, и с Уильямом Кумом, который со свойственным ему бахвальством утверждал, что к нему она испытывала более нежные чувства, чем к Стерну.

Возможно, так оно и было. Но это свидетельствует не о страстной любви к Куму, а о том, что нежное чувство к Стерну, в которое тому так хотелось верить, было столь же иллюзорно, как и многие страницы «Дневника для Элайзы». Индийской красавице просто льстили ухаживания модного писателя, кумира всей столицы. После отъезда из Англии никаких мучений от разлуки с любимым Элайза не испытывала. Не осталось и ее откликов на смерть Стерна.

Что касается Кума, то позднее он вспоминал в письме к поэту Сэмюэлу Роджерсу, что встречался с Элайзой в Брайтоне и однажды «его чуть не застали в ее спальне; ему пришлось убежать через окно, и он потерял в спешке башмак. Через несколько дней он встретился с нею на набережной, где она прогуливалась с какой-то компанией, и она, проходя мимо, высунула из муфты носок его башмака»³⁷⁵. Забавно, но едва ли правдиво, — ведь мы уже знаем, что за человек был этот Уильям Кум.

Но самым верным и пламенным ее поклонником был приехавший в Лондон историк, автор обширного труда об Индии аббат Реналь, который познакомился с ней еще в Бомбее.

«Когда я увидел Элайзу, — писал аббат Реналь, — я испытал чувство, ранее мне незнакомое. Оно было слишком теплым для дружбы, оно было слишком чистым для любви. Будь это

страсть, Элайза пожалела бы меня; она старалась вразумить меня, но я совершенно потерял голову»³⁷⁶.

О жизни Элайзы после 1775 года известно немного. Вероятно, она жила в Клифтон Даунс, неподалеку от Бристоля, у родственника, возможно, брата Дэниэла Дрейпера. Она умерла 3 августа 1778 года и была похоронена в кафедральном соборе Бристоля.

ЖИЗНЬ В ВЕКАХ

Ничто в нем не является образцом, но
всё предвосхищает и пробуждает.

И. В. Гёте

Книги имеют свою судьбу. Иногда возникают из небытия. Иногда, несмотря на шумный успех при публикации, погружаются в него навеки. С произведениями Стерна не случилось ни того, ни другого.

Творчество Стерна оказало живое воздействие на писателей, придерживавшихся разных воззрений и эстетических взглядов, принадлежащих к различным литературным эпохам и направлениям. При этом, образно выражаясь, можно говорить о влиянии Тристрама и о влиянии Йорика.

Сразу же после публикации первых томов «Тристрама Шенди» Стерн становится одной из самых популярных фигур в литературных и светских кругах британской столицы. Но популярность эта отдавала дешевой сенсационностью: читатели реагировали на «непохожесть» «Тристрама» на традиционный просветитель-

ский роман. О том, что популярность книги была скорее данью моде, чем глубоким пониманием этого произведения, говорит и то, что уже 5-й и 6-й томы, не обладавшие преимуществом новизны, имели меньший успех и хуже раскупались.

К концу шестого тома Стерн устами Тристрама признается: «...Я легкомысленно пишу безобидную, бестолковую, веселую шендианскую книгу, которая будет благотворна для ваших сердец. — — —

— — — И для ваших голов тоже — лишь бы вы ее поняли»³⁷⁷.

Поняли, увы, не все и не сразу. Интересна в этом плане переписка Стерна с неким мистером Брауном из Женевы, другом Холла-Стивенсона. «Наконец-то Тристрам Шенди дошел сюда, — пишет Браун Холлу-Стивенсону после публикации первых двух томов романа. — Отродясь я ничего не читал с большим наслаждением. Какой, должно быть, забавник его автор! И я могу прибавить также: какой он знаток людей! <...> Меня сильно насмешили некоторые здешние обыватели, прочитавшие книгу. Они ломают себе головы, отыскивая в ней какой-то скрытый смысл, и хотят во что бы то ни стало, чтобы все непоследовательности — отступления — уклонения, в которые впадает автор и которые, несомненно, являются блестящими достоинствами его произведения, были составными частями некоей связной истории. Ну разве не занятно встретиться с такими мудрецами? Хотя во всей их бесцветной жизни нет ни одной черточки сколько-нибудь стройного плана и хотя все их даже пятиминутные разго-

воры оказываются без головы и без хвоста, они непременно хотят найти связность в произведении этого сорта»³⁷⁸.

Письмо этого на удивление пронизательно-го читателя Холл передал другу, и тот ответил: «Мудрые головы на континенте, вижу я, сделаны из тех же материалов и отлиты в те же формы, что и мудрые головы на нашем острове, — они философствуют о Тристраме Шенди подобно... — все они заглядывают слишком высоко — всегдашний удел низких умов»³⁷⁹.

Любопытно, что другим тонким ценителем романа (к этому времени он был опубликован полностью) вновь оказался не соотечественник, а доктор Юстес из Америки, приславший «своему любимому писателю» в подарок «шендианскую трость». «Ваша трость, — ответствовал Стерн, — — шендианская более всего потому, что у нее несколько ручек. — Единственная разница только вот в чем — пользуясь тростью, каждый будет братья за ту ручку, которая соответствует его росту. А читая “Тристрама Шенди”, каждый берет за ручку, которая соответствует его страстям, его невежеству или его чувствительности. У человеческого стада так мало истинного чувства, что мне хотелось бы убедить парламент издать акт, разрешающий читать впервые изданные книги только умным людям. Нелегкое это дело — писать книги, да еще находить головы, способные их понимать»³⁸⁰.

К сожалению, такого акта не издали. И вот результат. — Несмотря на многочисленные переиздания произведений Стерна в 70-е — 90-е годы, самым популярным был маленький томик

под названием «Красоты Стерна, включающие все его патетические рассказы и наиболее значительные наблюдения над жизнью». С 1782 по 1793 год эта книжечка выдержала двенадцать изданий. В 1801 году появилась она и на русском языке: «Красоты Стерна, или Собрание лучших его патетических повестей и отличнейших замечаний на жизнь. Для чувствительных сердец» в переводе и с предисловием И. Галиковского. В «Красотах Стерна» были собраны отрывки из «Тристрама Шенди», «Сентиментального путешествия» и проповедей. Расположенные в тематическом и алфавитном порядке — beauty, charity, compassion* и т. д., — они знакомили читателей с «красотами», заботливо очищенными от двусмысленностей и фривольных шуток. Так что читающая публика 80—90-х годов знала писателя главным образом по этому адаптированному изданию и по многочисленным подражаниям, продолжениям и подделкам, выходившим в те годы. Популярность Стерна росла, но восприятие его творчества было весьма однобоким. «Стерн становился классиком, не будучи как следует понят»³⁸¹.

Разумеется, были и краткие периоды охлаждения. К концу XVIII века мода на чувствительность сходит на нет. «Чувствительность была болезнью, которую нужно было изжить. Теперь царство Стерна уже позади», — пишет популярная тогда писательница Ханна Мор, в творчестве которой сильны религиозно-дидактические мотивы. Ей вторит евангелический

* красота, благотворительность, сострадание (англ.).

священник Р. Холл: в «Сентиментальном путешествии», — сетует он, — автор направляет разум «от реальных несчастий к воображаемым». Разумеется, о таких тонкостях, как различие между персонажем и реальным автором, никто из этих ревнителей веры и не помышлял.

Не упрочило репутации Стерна и первое посвященное ему монографическое исследование, — книга Джона Ферриара, опубликованная впервые в 1793 году. Расширенное и дополненное издание — «Плагиаты Стерна и другие эссе и стихотворения», — появилось пятью годами позже. Название, как видите, говорит само за себя, хотя в целом оценка творчества Стерна была положительной. «Я хочу пояснить Стерна, а не унижить его. Если некоторые случаи заимствований обратятся против него, они несколько не умалят его гения, а лишь уменьшат внушительное впечатление эрудиции, которую ему приписывают и которой на самом деле ему не доставало»³⁸², — писал Ферриар. Однако объяснение не помогло, и юмор Стерна газетные борзописцы объявили не оригинальным, а заимствованным у Рабле и Бёртона.

И лишь романтиками репутация Стерна была восстановлена. Об этом чуть позже, а здесь — просто потому, что это самый удобный момент, — приведем лишь мнение Вальтера Скотта, который утверждал, что «Стерн был величайшим плагиатором и одним из самобытнейших гениев, которых породила Англия»³⁸³.

По Европе прокатилась волна стернианства. Но «для иных последователей стиль Стерна

стал не принципом, а простым образцом для копирования. У таких последователей великий враг всякой литературной условности сам превратился в источник новых литературных условностей»³⁸⁴. Так что не будем останавливаться на мелких, ныне почти забытых именах. Пусть даже это Генри Макензи, автор популярного в свое время сентиментального романа «Человек чувства» (1771), который Роберт Бёрнс ставил «рядом с Библией»³⁸⁵.

Но вот перед нами начало романа «Жак-Фаталист и его хозяин»: «Как они встретились?» — Случайно, как все люди. — «Как их звали?» — Вам что за дело? — «Откуда они пришли?» — Из ближайшего места. — «Куда они направлялись?» — Хозяин не говорил ничего, а Жак говорил, что его капитан говорил, что все, что случается с нами хорошего и дурного на земле, предназначено свыше»³⁸⁶.

Автор романа, Дени Дидро, был знаком со Стерном, восхищался его талантом и использовал его стилистические находки в своем романе. Написанный в 1773 году, «Жак-фаталист» был опубликован уже после смерти автора, в 1796 году. Так что Дидро не узнал, что написала «Декад философик» 30 октября того же года: «Читали ли вы Рабле? Читали ли вы Стерна? Если нет, советую прочесть, особенно последнего. Но если вас интересует очень слабое подражание “Тристраму Шенди”, прочтите только “Жака-фаталиста”, <...> у своего образца Дидро взял лишь беспорядочность и непоследовательность»³⁸⁷. Не узнал он и мнения другого критика конца века: «Его “Жак-фаталист”, помимо сво-

ей доктрины, просто “Тристрам Шенди” Стерна, минус восхитительный гений Стерна, минус изящество его повествования, минус капрал Трим, минус дядя Тоби»³⁸⁸.

Но о какой доктрине идет речь? Центральная тема романа — тема относительности наших представлений о мире, близкая и Стерну, — находит нарочито прямолинейное выражение в романе Дидро. «И вот наши собеседники затеяли бесконечный спор о женщинах: один утверждал, что они добрые, другой — что они злые, и оба были правы; один — что они глупые, другой — что они кладезь ума, и оба были правы; один — что они лживы, другой — что они искренны, и оба были правы; один — что они скупы, другой — что они щедры...» Этот перечень продолжен еще на страницу. Стерн не дает таких утомительных перечислений, но *показывает*, насколько наши отвлеченные представления обманчивы, а сами люди противоречивы.

Не случайно Бальзак назвал «Жака-фаталиста» «жалкой копией Стерна»³⁸⁹.

Однако у Стерна во Франции был и более тонкий ценитель его таланта. Речь идет о Ксавье де Местре, авторе «Путешествия вокруг моей комнаты».

Роман де Местра даже утрирует стерновскую бессюжетность. Его герой, по неизвестным причинам не имеющий возможности покинуть свою квартиру в продолжении определенного срока, описывает «путешествие по своей комнате», то есть те мысли и чувства, которые он испытывает, оглядывая окружающие его предметы — картины, книги, ящики бюро, постель...

Самое большое злоключение, которое подстерегало героя во время его «путешествия» — падение со стула при неловком движении да ожог пальца, когда он замечтался с каминными щипцами в руке. Его общение с людьми ограничено разговорами со слугой да с постучавшим к нему нищим.

Но в то же время «путешественник» живет полной жизнью, богатой если не внешними, то внутренними впечатлениями — жизнью памяти, воображения, мечты. Он счастлив, живя этой жизнью, ему даже не хочется расставаться с ней.

«Прелестная страна воображения!.. Сего дни некоторые люди, от коих я завишу, хотят вернуть мне свободу; — как будто они у меня ее отняли! Как будто в их воле было лишить меня оной и на минуту, и не позволить мне по желанию моему пробегать обширное пространство, всегда предо мной открытое! Они запретили мне ходить по городу, но оставили мне всю вселенную; безраздельность и вечность покорны мне!»³⁹⁰ (Какую прелесть, замечу в скобках, придает цитате слегка архаичный перевод, сделанный по горячим следам в год публикации оригинала!)

Хаотичность композиции, разговоры с читателем, авторский комментарий, — все это присутствует в романе. Но важнее, что де Местр стремится показать ту сложность переходов от одного состояния к другому, ту противоречивость желаний, ту обманчивость поступков, которую Стерн впервые сделал объектом художественного изображения в литературе.

Герой Ксавье де Местра во время своего «псевдопутешествия» все время занимается самоанализом. Одна из главных тем, проходящая через всю книгу, — размышление о двойственности человеческой природы: «Мне бы невозможно было изъяснить, как и отчего я обжег себе пальцы на первом шагу, начиная мой вояж, не изъясняя читателю во всей подробности систему мою о *душе и животной части*. — Это метафизическое открытие такое имеет влияние на все мои мысли и дела, что крайне трудно будет понимать эту книгу, если не дам в самом начале ключа к оной...»³⁹¹

Де Местр все время возвращается к взаимодействию этих двух сторон человеческого сознания — возвышенной и низменной. Низменная часть, или «животная часть», «другая», как называет ее де Местр, тоже полезна человеку. Она не дает ему забыть о земном, заставляет заботиться о теле, позволяет механически совершать многие обыденные действия. Возвышенная часть без нее беспомощна, непрактична. Но если животная часть властвует над душой, это приводит человека к постыдным поступкам, как, например, в эпизоде с нищим, который является почти полным повторением встречи Йорика с отцом Лоренцо.

Все «путешествие» — это описание не жизни, а сознания героя, чего все же нельзя сказать о «Сентиментальном путешествии», где Йорик, что бы там ни говорила Вирджиния Вулф, все же проявляется не только через свои мысли и ощущения, но и через поступки. Именно сопоставляя самоанализ героя и его поступки, читатель может составить верное впечатле-

ние о личности Йорика. В этом отличие героя де Местра от героя Стерна. У де Местра — он сам себе беспристрастный и справедливый судья. При всей сложности и противоречивости своей натуры, он, в конечном счете, является абсолютным мерилом добра и зла.

Стерн более глубок в созданном им психологическом портрете. Он сумел показать субъективность, пристрастность своего повествователя: истинное лицо Йорика скрыто от него самого. Оно понятно лишь читателю (да и то, увы, далеко не всякому).

Но переберемся в другую страну, к фигуре по-масштабнее Дидро и Ксавье де Местра, а то и самого Стерна.

«Я часто вспоминаю об этом человеке, которому обязан столь многим, — пишет Гёте о Стерне в посвященной ему заметке 1827 года, — он встает передо мной и в минуты, когда заходит речь о заблуждениях и истинах, вспыхивающих порой в человеческих душах»³⁹².

А двумя годами позже он признается в одном из писем: «Влияние Голдсмита и Стерна на меня как раз в важнейший момент моего развития нельзя недооценить. Эта возвышенная, доброжелательная ирония, эта мягкость ко всему противостоящему, эта невозмутимость при любых переменах и какие бы еще родственные добродетели мы ни назвали, — все это было самым восхитительным для меня воспитанием, и конечно же, это именно те чувства, которые, в конечном счете, возвращают нас назад со всех неверных путей жизни»³⁹³.

Что касается влияния стилевой манеры Стерна, то оно незначительно, хотя некоторые страницы «Вертера» (например, описание встречи героя у источника с молодой служанкой, которой он помог поднять кувшин) напоминают «Сентиментальное путешествие». В «Кампании во Франции» Гёте сам отмечает связь «Вертера» с творчеством Стерна, утверждая, что Вертер не вызвал болезнь, а лишь перенес ее и что Йорик ответственен за подготовку той атмосферы сентиментализма, в которой возник «Вертер»³⁹⁴. Однако в свой сентиментализм Гёте вносит чуждый Стерну и предвосхищающий романтизм мотив «мировой скорби».

Именно в Германии в конце XVIII века был особенно распространен культ Стерна. Чего стоит «Орден кротости и смирения», эмблемой которого становится роговая табакерка отца Лоренцо. Обмен такими простенькими табакерками стал настолько излюбленным ритуалом, что спрос на них возрос в Гамбурге и Франкфурте. При пересылке такой табакерки сентименталист И. Г. Якоби пишет В. И. Глейму, собрату по перу, что роговая табакерка — «символ кротости, довольства миром, непобедимого терпения, прощения людям их недостатков»³⁹⁵.

Но «Орден» меркнет рядом с описанным поэтом Ф. Маттисоном искусственным кладбищем под Ганновером (хотя после искусственных рин вас, пожалуй, и искусственное кладбище не удивит), где «на надгробных крестах можно было прочесть любимые имена: патер Лоренцо, Элиза, Мария из Мулена, капрал Трим, дядя То-

би и Йорик, поэтической фантазией объединены они на этом кладбище»³⁹⁶.

Правда, такое поклонение вызывало и иронию. Анонимный критик пишет: «Доброму Йорику не снилось, что он станет основателем модной секты, но, восстань он из гроба, неизвестно, радовался бы он своей славе или стыдился бы своих подражателей»³⁹⁷.

По совету мудрого критика мы обойдем молчанием массу второстепенных, часто анонимных подражателей. Однако нельзя не упомянуть Кристофера Мартина Виланда, младшего современника Стерна, оставившего о нем такие восторженные слова: «Среди рожденных женщиной не было автора, чувства которого, юмор и образ мысли полнее совпадали бы с моими; который так наставлял бы меня; который так прекрасно выражал бы то, что чувствовал я тысячу раз, не умея или не желая выразить этого»³⁹⁸.

«Голова моя работает в тристрам-шендиеском направлении», — писал Виланд в 1767 году, еще при жизни Стерна. Плодом этой работы, помимо многих других произведений в стихах и прозе, явился роман «История абдеритов», перекликающийся, а возможно, и вдохновленный одной из главок «Сентиментального путешествия», где Стерн описывает восторженное безумие, охватившее жителей Абдеры, посмотревших постановку трагедии Еврипида «Андромеда».

Не менее восторженным поклонником Стерна в Германии был и Жан-Поль (псевдоним Иоганна Пауля Рихтера). Немецкий критик конца XVIII века сказал о нем слова, которые

в какой-то мере могли бы относиться и к Стерну, хотя персонажи «Тристрама Шенди» незабываемы: «Жан-Поль возбуждает интерес не столько к своим персонажам и их истории, сколько к себе, своему интеллекту и своим переживаниям в той мере, в какой они проявляются в ходе повествования. Вместо того, чтобы забыть автора ради его героев, мы, напротив, забываем персонажей и всю историю ради автора»³⁹⁹.

«Каждый находил у Стерна то, что ему было нужно для подражания»⁴⁰⁰, — писал Жан-Поль в «Избранных бумагах Черта». И вот что нашел Жан-Поль: в отличие от практически всех подражателей Стерна, он ввел субъективного героя-повествователя, чья позиция отлична от позиции автора произведения. И еще (но здесь он не оригинален) — для него характерен резкий переход, как он сам выражается, — «прыжок из паровой бани чувствительности в охлаждающую ванну самой студеной сатиры»⁴⁰¹.

Творчество Стерна оставило свой след не только в литературе Западной Европы. Стерн быстро становится популярен и в России, где его читают и в подлиннике, и во французских и немецких переводах; в 80—90-х годах XVIII века появляются переводы Стерна и на русский язык⁴⁰².

Одним из первых русских писателей, на которого Стерн и особенно «Сентиментальное путешествие» оказали несомненное влияние, был Радищев. Об этом говорит и сам автор «Путешествия из Петербурга в Москву»: «А как случилось мне читать перевод немецкий Йорико-

ва путешествия, то и мне на мысль пришло ему последовать»⁴⁰³.

У Радищева вслед за Стерном путешествие становится лишь канвой для выражения мыслей и чувств повествователя, поэтому в композиции книг найдем мы много общего. Однако созданный Стерном жанр свободного путевого очерка русский писатель использует для постановки совсем иных проблем. По своим взглядам эти писатели далеки друг от друга. Даже когда они обращаются к излюбленным своим понятиям «сочувствия», «сострадания», «взаимной любви», они вкладывают в них совершенно различный смысл.

Стерн говорит о непонимании и нетерпимости, которые существуют между людьми вне зависимости от социальных связей, показывает сложность человеческой души как таковой — как неразрывно переплетены в ней хорошее и дурное, «нити вожделения» и «нити любви». Призывая людей к «взаимной терпимости и взаимной любви», он в то же время смотрит со снисходительным скептицизмом на человеческие слабости, видя источник их в самой природе человека.

Радищев, рассматривая людские пороки как результат социального зла, гневно обличает и сами пороки, и их источники. Проявление сострадания к ближнему мыслит он в борьбе с этим злом, в истреблении его.

В период работы Радищева над «Путешествием из Петербурга в Москву» Карамзин путешествует по Европе. Результатом этой поездки были «Письма русского путешественника», опублико-

ванные в 1791—1792 годах в «Московском журнале». Оба писателя находятся под влиянием европейского сентиментализма, оба создают близкие по жанру книги, и, однако, «оба путешествия стоят на противоположных полюсах общественной и художественной мысли конца века»⁴⁰⁴.

Не удивительно, что и влияние Стерна проявилось в них по-разному.

У Радищева больше непосредственного подражания стилю, тогда как дух Стерна чужд его мировосприятию. Карамзин более глубоко и органично усвоил уроки английского романиста: у Стерна он учится психологической глубине в передаче лирического мира героя. Однако он не ищет (и, судя по всему, не видит) того, что выводит писателя за рамки сентиментализма, не приемлет его иронии и скептицизма. Для него автор «Сентиментального путешествия» — лишь «оригинальный живописец чувствительности», «нежный Стерн», «человек, который говорил просто и трогал сердце — мое и ваше».

Особенно разительный пример восприятия Карамзиным «нежного Стерна» — его пересказ отрывка из седьмого тома «Тристрама Шенди». Пример настолько забавный, что не жаль потратить на сопоставление несколько минут чтения.

Стерн:

«О, есть сладостная пора в жизни человека, когда (оттого, что мозг его нежен, волокнист и больше похож на кашлицу, нежели на что-нибудь другое) — полагается читать историю двух страстных любовников, разлученных жестокими родителями и еще более жестокой судьбой —

Он — Амандус

Она — Аманда — —

Оба не ведающие, кто в какую сторону пошел.

Он — — на восток

Она — — на запад.

Амандус взят в плен турками и отвезен ко дворцу марокканского императора, где влюбившаяся в него марокканская принцесса томит его двадцать лет в тюрьме за любовь к Аманде! — —

Она (Аманда) — все это время странствует боясь, с распущенными косами по горам и утесам, разыскивая Амандуса. — — Амандус! Амандус! — оглашает она холмы и горы его именем — — —

Амандус! Амандус! Присаживаясь (несчастливая) у ворот каждого города и местечка. — — Не встречал ли кто Амандуса? — не входил ли сюда мой Амандус? — пока, наконец, после долгих, долгих, долгих скитаний по свету — — однажды ночью неожиданный случай не привел обоих в одно и то же время — — хотя и разными дорогами — — к воротам Лиона, их родного города. Громко воскликнув хорошо знакомыми друг другу голосами:

Амандус, жив	} ли ты еще?
Моя Аманда, жива	

Они бросаются друг к другу в объятия и оба падают мертвыми от радости»⁴⁰⁵.

Карамзин:

«Вы читали “Тристрама” и помните историю нежных любовников, помните Амандуса, который, будучи разлучен со своею Амандою, странствовал по свету, попался в плен к морским разбойникам и двадцать лет просидел в подземной

темнице для того, что он не хотел изменить своей Аманде и не отвечал любовью на любовь марокканской принцессы; помните Аманду, которая исходила всю Европу, Азию, Африку, босая, с распущенными волосами, спрашивая во всяком городе, у всяких ворот о своем Амандусе и заставляя эхо мрачных лесов, эхо гор кремнистых твердить имя его — «Амандус! Амандус!» — помните, как сии любовники сошлись, наконец, в Лионе, отечественном их городе, увидели друг друга, обнялись и — упали мертвые... Души их на крыльях радости улетели на небо»⁴⁰⁶.

Иронический рассказ Стерна, в котором он пародирует рыцарские романы и который пригоден лишь для юных мозгов, «больше похожих на кашицу», в воспроизведении Карамзина превращается в сентиментальную картину, призванную вызвать умиление читателя. Не случайно и самого Карамзина называли «Чувствительный, нежный, любезный и привлекательный наш Стерн»⁴⁰⁷.

Но вот приходит эпоха романтизма, и оказывается, что творчество Стерна, опередившего свое время, нашло более глубокое понимание в этом поколении, причем интерес к «Тристраму Шенди» превышает восхищение «Сентиментальным путешествием».

Многие, наверное, помнят баллады Саути в хрестоматийных переводах Жуковского — «Королеву Ураку», или «Суд Божий над епископом», или, на худой конец, «Балладу о старушке, которая ехала на черном коне вдвоем», и даже знают, «кто сидел впереди». А кое-кто, может, знаком и с презрительными строками Байро-

на — «Боб Саути, поэт-лауреат...». Но могу поручиться — никто, кроме узких специалистов-филологов, не знает, что Саути много лет работал над стернианским романом «Доктор и т. д.» (в 1834 году вышли два первых тома, еще три появились в 1835, 1837 и 1838 годах, шестой и седьмой томы вышли уже посмертно).

Книга не имеет сюжета и представляет собой бесконечную цепь отступлений, переставленные главы, игру шрифтов, рисунки, монограммы: «Даже сам типографский шрифт восстал против меня, — пишет автор, — как бы в наказание за ту работу, которую я в продолжение многих лет навязывал ему. Заглавные и прописные буквы, цитеро и корпус, петит и боргес, миттель и нонпарель, миньон и перл, романский и италик, готический и цветной, — мелькали перед моим внутренним взором. Восклицательные знаки — !!! — стояли, выпрямившись передо мной, когда я лежал на боку, а когда я поворачивался на другую сторону, чтобы отделаться от них, вопросительные знаки поднимали свои горбатые спины — ???»⁴⁰⁸.

Помимо обыгрывания «фактуры» типографского текста, Саути, как и Стерн, обыгрывает саму «фактуру» слова, иногда его звуковую сторону, иногда — семантическую: «Подумай, хоть минуту, умоляю тебя, читатель, что такое порядок? Не просто слово, которое так часто провозглашается в Докторс Коммонс или произносится спикером *ore rotundo**, но порядок в действительности, во всей своей сущности, сам по

* во весь голос (*лат.*).

себе и со своими производными. Призвать к порядку и распорядок дня, выражения такие обиходные в беспорядочные дни Французского Национального Конвента, подумай, благородный читатель, о порядке посвящения в рыцари, о божественном миропорядке, о порядке в архитектуре, о линейном порядке, о полисмене, наводящем порядок, о порядковых числительных, о порядках в Ньюгетской тюрьме, о порядочных людях, гуляющих в воскресные послеобеденные часы в парке и читающих порядком наскучившего им «Добропорядочного»⁴⁰⁹.

Однако если у Стерна траурная страница, окрашенная в черный, и, особенно, мраморная страница — «пестрая эмблема моего произведения»⁴¹⁰, — пишет Стерн (в наших, да и дешевых английских изданиях ее не дают в цвете, как было задумано автором) — содержат глубинный смысл, символизируя человеческое сознание, то у Саути все это лишь остроумная, но легковесная забава.

Саути не отрицал влияния Стерна. Еще в период работы над романом он пишет: «В нем так много от “Тристрама Шенди”, что, я думаю, вполне уместно поставить имя Стивена Йориксона на титульном листе»⁴¹¹. Байрон никогда не признал бы его влияния, а ведь оно ощутимо в величайшем его творении, в «Дон Жуане».

Начать поэму мне пора давно —
Задача, как ни странно, нелегка;
Двенадцать песен написал я, но
Все это лишь прелюдия пока.
До сути мне добраться мудрено;
Я только струны пробовал слегка,

Настраивая лиру золотую, —
Теперь же к увертюре перейду я ⁴¹².

Оба писателя бравируют хаотичностью композиции, когда внутренним стержнем повествования оказывается сознание повествователя (у Стерна) или лирического героя (у Байрона). Наконец, для обоих характерен юмор, проистекающий из сочетания возвышенного и низкого, тонких чувств и прозы жизни.

Не напоминают ли мучения Тристрама из-за морской болезни состояние Дон Жуана, страдающего на корабле и от качки, и от разлуки с любимой?

«О Юлия! (А тошнота сильнее)
Предмет моей любви, моей тоски!..
Эй, дайте мне напиток поскорее!
Баттисто! Педро! Где вы, дураки?
Прекрасная! О Боже! Я слабею!
О Юлия!.. Проклятые толчки!..
К тебе взываю именем Эрота!»
Но тут его слова прервала... рвота⁴¹³.

А теперь сделаем ненадолго еще один заезд в наше отечество — ведь к Стерну, пусть иногда через посредство Байрона, обращался и Пушкин. Вот пятьдесят пятая строфа седьмой главы «Евгения Онегина»:

Но здесь с победою поздравим
Татьяну милую мою,
И в сторону свой путь направим,
Чтоб не забыть, о ком пою...

Да кстати, здесь о том два слова:
Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкривь.
 Довольно. С плеч долой обуза!
 Я классицизму отдал честь:
 Хоть поздно, а вступленье есть.

Пушкин читал оба произведения Стерна (до 1821 г. по-французски, позднее — и в подлиннике)⁴¹⁴. Не только читал, но и ценил. Уговаривал А. О. Россет-Смирнову перевести «Сентиментальное путешествие», а в письме П. А. Вяземскому от 2 января 1822 года с раздражением говорил о Жуковском, переведшем романтическую поэму Томаса Мура: «Жуковский меня бесит — что ему понравилось в этом Муре? чопорном подражателе безобразному восточному воображению? Вся *Лалла-фук* не стоит десяти строчек Тристрама Шенди»⁴¹⁵.

Наконец, как подметил Виктор Шкловский, слова одного из хрестоматийных стихотворений Пушкина тоже навеяны Стерном:

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
 Восторгом чувственным, безумством,
исступленьем,
 Стенаньем, криками вакханки молодой,
 Когда, вивась в моих объятиях змеей,
 Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
 Она торопит миг последних содроганий!..⁴¹⁶

Вспомним уже приводившиеся выше слова Пушкина о «несносном наблюдателе», заметившем, «что живейшее из наших наслаждений кончится содроганием почти болезненным»⁴¹⁷.

Те, кто читал «Тристрама Шенди», помнят Историю о короле Богемском и семи его замках, рассказывая которую в восьмом томе романа, капрал Трим не продвинулся дальше первых двух фраз, хотя пять раз начинал свой рассказ. Шарль Нодье, французский романтик, известный в нашей стране как автор «Жана Сбогара», которым увлекалась еще пушкинская Татьяна, был удачливей капрала Трима — он продвинулся дальше: издал в 1830 году целый роман с названием, взятым у Стерна. И не только названием. Любопытно, что роман «История короля Богемского и его семи замков» писался одновременно с «Доктором» Саути (ведь тот много лет работал над своим объемным произведением) и лишь в публикации немного опередил его. У француза мы найдем ту же неумную игру шрифтов, что и у англичанина, и еще кое-что поинтереснее: необычный образ повествователя, который выступает сразу в трех ипостасях, воплощающих чувствительность, память и язвительный насмешливый ум.

И вновь в Германию, страну истинного романтизма, — Стерну и в эту эпоху повезло больше на континенте, чем у себя на родине.

Эпатаж читателя с его заостренным представлением о «правильно» написанной книге — романе, поэме или пьесе, все едино — сближа-

ют комедии Людвиг Тика с романом Стерна. Если Стерн свободно совмещал время действия и время написания романа, то и Тик в «Коте в сапогах» совмещает два плана — изображение на сцене сказки Перро и реакции актеров и зрительного зала на это представление. А в пьесе «Принц Цербино» главный герой, недовольный результатом своего путешествия, распоряжается и вовсе прокрутить пьесу к началу, — и перед зрителями вновь возникают виденные ими эпизоды путешествия принца, но уже в обратном порядке. Такое обнажение условности дает возможность столкнуть жизнь обывателя с волшебной сказкой, противопоставить бюргерскому требованию правдоподобия право поэта на вымысел и эксперимент.

А вслед за Тиком и Гофманом Иммерман начинает своего «Мюнхгаузена» прямо с одиннадцатой главы, а позднее, между пятнадцатой и первой главой, помещает объяснение переплетчика, в котором тот оправдывает самовольную перестановку тем, что современный роман должен начинаться прямо с действия, а не так, как писал Сервантес.

«Житейские воззрения Кота Мурра» Гофмана, с их чередованием рассказа о Крейслере, произвольно обрывающемся, оставляя лакуны в самых интригующих местах, макулатурными листами, напоминают стерновскую задорную игру с читателем. Любопытно (и, похоже, никем не замечалось!), что линия Крейсlera начинается с вольного пересказа отрывка из «Сентиментального путешествия»: имеется в виду неоконченная история нотариуса, которую Йорик

начал читать на обрывке старофранцузского текста.

И еще — обоим свойственно внимание к вещам, окружающим человека; вещи у немецкого романтика становятся (как у Стерна шапка монтера и трость Трима, парик рамильи и трубка дяди Тоби, ночная рубашка вдовы Водмен или зеленый шелковый капот, о котором мечтает Сузанна) полноправными персонажами романа. Роль вещей в жизни людей — у Гофмана они подчас даже оживают — сближает обоих писателей.

Если Тик и Гофман обращали взоры прежде всего на Стерна, автора «Тристрама Шенди», то «Сентиментальное путешествие» стало образцом (если уместно про романтика говорить об образцах!) для «Путевых картин» Генриха Гейне, хотя и седьмой том «Тристрама Шенди» тоже не был забыт.

Об образцах, разумеется, это мы зря. Гейне пишет: «Легко вам, madame, напоминать мне Горациево “*nonum premature in annum**”. Правило это, как и другие, ему подобные, может быть хорошо в теории, но на практике никуда не годится»⁴¹⁸. Как не вспомнить Стерна: «Гораций, я знаю, не рекомендует этого приема: — но почтеннейший этот муж говорит только об эпической поэме или трагедии (забыл, о чем именно), — а если это помимо всего прочего и не так, прошу у мистера Горация извинения, — ибо в книге, к которой я приступил, я не намерен стеснять себя никакими правилами, будь то даже правила Горация»⁴¹⁹.

* пусть рукопись пролежит у тебя лет девять (*лат.*).

«На Луккских водах, — пишет Гейне Эдуарду Шенку 1 октября 1828 года, — где я больше всего задержался и божественно провел время, я уже наполовину написал одну книгу, своего рода “сентиментальное путешествие”»⁴²⁰.

Действительно, в «Путевых картинах» все напоминает Стерна, — и хаотичность рассказа, следующего не за реальными перемещениями в пространстве, а за прихотливым полетом мысли путешественника, и пререкания с читателем о композиции повествования...

Не удержимся и приведем пример.

Стерн:

«Каким образом удар камнем мог оказать такое действие? О, это длинная и любопытная история, мадам, — но если бы я вздумал вам ее излагать, то весь рассказ начал бы спотыкаться на все четыре ноги. — Я ее сохраню в качестве эпизода на будущее, и каждое относящееся до нее обстоятельство будет в надлежащем месте добросовестно вам изложено»⁴²¹.

Гейне.

«Madame, вам угодно, чтобы я описал маленькую Веронику. Но я не хочу. Вы, madame, не обязаны читать дальше, если не хотите, а я, со своей стороны, вправе писать только то, что хочу. Теперь я опишу прекрасную руку, которую я целовал в предыдущей главе»⁴²².

У романтика, как положено, тон пожестче, чем у сентименталиста, но все равно они очень близки.

Даже нарочито оборванный конец «Путешествия из Мюнхена до Генуи» повторяет всем памятный финал «Сентиментального путешествия»: «И мужчина в черном плаще очень хорошо написан, очень похожи кроваво-сентиментальные губы, похожи, точно они говорят, точно они собираются рассказать историю, историю рыцаря, который поцелуем хотел вырвать свою возлюбленную у смерти, и когда погас свет...»⁴²³

В «Романтической школе» Гейне пишет: «Автор “Тристрама Шенди”, впадая в самые грубые тривиальности <...>, умеет вдруг возвышенными переходами напомнить о своем царственном достоинстве, о своем равенстве по рождению с Шекспиром»⁴²⁴. Резкие переходы от прозаического к возвышенному, от комического к элегическому и обратно характерны и для «Путевых картин», создавая огромный хаотичный мир, где общественно-политические проблемы переплелись с личными переживаниями, где фантазия и сказка соседствуют с меткими наблюдениями над действительностью, а лирика — с язвительной сатирой. И именно личность повествователя, как и у Стерна, придает этой пестрой картине единую общую тональность.

Но есть и отличие. Стерн отстраняется от своего повествователя, очень тонко показывает его субъективность, в то время как Гейне полностью сливается с ним. «В сущности, — пишет он Шенку, — людям нашего склада и не нужно много писать друг другу. Наши книги — это большие письма, чаще всего адресованные людям нашего склада»⁴²⁵.

Когда мы говорили о волне стернианства, разумеется, мы понимали, что она не докатится до середины девятнадцатого, тем более до двадцатого столетия. Теперь это уже не поветрие, как в эпоху сентиментализма и романтизма, а связь с отдельными творческими личностями. Англичане викторианской эпохи были к Стерну холодны, а кое-кто и враждебен. К нему, а впрочем, и к эпохе в целом.

Теккерей, со свойственной ему добропорядочностью, с омерзением пишет о георгианской Англии: «Я со страхом гляжу на это общество — на этого короля, на этот двор, на этих политиков и этих епископов, — на эти неприкрытые пороки и легкомыслие»; и, несколько позднее: «Я хотел бы посмотреть на это Безумие, — а это было роскошное, шитое золотом, украшенное рюшами, с табакерками и красными каблуками, нахальное Безумие, — и понять, как можно при этом заставить себя уважать»⁴²⁶.

Не мог понять он и Лоренса Стерна с его тончайшей иронией, а потому с несокрушимой самоуверенностью отождествлял автора с его персонажем: «Возьмите хотя бы “Сентиментальное путешествие”, и вы увидите в авторе нарочитое стремление делать стойку и срывать аплодисменты. Он приезжает в гостиницу Дессена, ему нужна карета, чтобы добраться до Парижа, он идет во двор гостиницы и сразу начинает, как говорят актеры, “работать”. Вот эта небольшая коляска — дезоближан <...> Le tour est fait!* Паец перекувырнулся через дезоближан, не задев

* Трюк исполнен! (Фр.)

за верх, и раскланивается перед почтеннейшей публикой. Можно ли поверить, что это настоящее чувство? Что эта великолепная щедрость, эта отважная поддержка в горе, обращенная к старой коляске, неподдельны?»⁴²⁷

Ему в принципе претит психологизм Стерна: викторианский джентльмен должен быть сдержанным. «Да, опасная профессия у того, кто должен выставлять на продажу свои слезы и смех, свои тайные огорчения и радости, свои сокровенные мысли и чувства, изливать их на бумаге и продавать за деньги. Разве он не превеличивает свое горе, чтобы читатель посочувствовал его неискренним страданиям? Не возмущается приторно, чтобы утвердить добродетель своего героя? Не изощряется в остроумии, чтобы сойти за остролова? <...> Публика верит ему, но может ли он сам поверить себе? Где у него преднамеренный расчет и обман, где ложная чувствительность и где подлинное чувство? Где начинается ложь, и знает ли он это сам? И где кончается правда в искусстве и в замысле этого гения, этого актера, этого шарлатана?»⁴²⁸

И, завершая свой разговор о Стерне в «Английских юмористах XVIII века», Теккерей утверждает: «В сочинениях Стерна нет ни одной страницы, в которой не было бы чего-нибудь такого, чему лучше вовсе не быть, скрытой мерзости — намек на какую-то грязь»⁴²⁹.

А все же образ Кукольника во Вступлении к «Ярмарке Тщеславия», уподобление героев романа марионеткам явно идет от Стерна!

Диккенс, более тонкий ценитель юмора и литературной условности, с юных лет числил

Стерна, наряду с Филдингом и Смоллеттом, среди своих любимцев. И по мере взросления он сам признавал, что постепенно дорос до более глубокого понимания этих писателей⁴³⁰. Отправляясь в поездку по Европе, Диккенс взял с собою томик Стерна. В одном из писем он вспоминает, что, когда задумал начать работу над «Домби и сыном», он открыл наудачу Стерна на словах: «Что за книга у нас получится! Давайте начнем!»⁴³¹. След жизнерадостного юмора Стерна можно найти и на страницах «Пиквикского клуба».

Как видим, влияние Стерна на реализм второй половины XIX века невелико, англичанам в этот период ближе Филдинг и Смоллетт.

А вот про творчество Льва Толстого этого не скажешь. Работе над ранними редакциями «Детства» предшествовал предпринятый Толстым, хотя и не доведенный до конца, перевод «Сентиментального путешествия». Стоит вдуматься в это обстоятельство. Едва ли целью Толстого было превзойти уже существующие переводы. Тут другое: переводя, он с особым вниманием вчитывался в оригинал, проникался его духом. Хотя и задача обучения английскому тоже присутствовала.

В 1891 году в письме к М. М. Ледерле Толстой признавался, что в молодости ставил Стерна на второе место — между Нагорной проповедью и «Исповедью» Руссо. В дневниковых записях Толстого (особенно в 1851—1852 и в 1909 годах) остались многочисленные упоминания Стерна: Толстой не только с восхищением читает Стерна, но и выписывает поразившие его ме-

ста, иногда — в подлиннике, иногда — во французском переводе.

Особенно близким ему оказался пассаж из главки «Победа» в «Сентиментальном путешествии», его и вынесли мы эпиграфом к соответствующей главе. Толстой тоже его использовал как эпиграф — к главе «Девичья» во второй редакции «Отрочества». В своем переводе (кстати, более удачном, чем у Франковского) он записал его в дневник от 13 апреля 1852 года, а затем дважды использовал метафору «паутина любви» — в дневниковой записи от 12 мая 1856 года («Да, лучшее средство к истинному счастью в жизни — это: пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда всё, что попало: и старушку и ребенка, и женщину и квартального») и в «Казаках» («Для того, чтоб быть счастливым, надо одно — любить, и любить с самоотвержением, любить всех и всё, раскидывать на все стороны паутину любви: кто попадетя, того и брать».)⁴³².

Под непосредственным влиянием Стерна написаны ранние, неоконченные вещи Толстого — «История вчерашнего дня», «Четыре эпохи развития». Следы этого влияния видны и в окончательной редакции «Детства», меньше — в «Отрочестве» и «Юности».

Точно передает связь этих писателей одно воспоминание Софьи Андреевны: «Прочитав “Voyage sentimentale” par Sterne, он, взволнованный и увлеченный этим чтением, сидел раз у окна и смотрел на все происходящее на улице. “Вот ходит булочник: кто он такой, какова его жизнь?.. А вот карета проехала: кто там и куда

едет, и о чем думает, и кто живет в этом доме, какая внутренняя жизнь его... Как интересно было бы все это описать, какую можно было бы из этого сочинить интересную книгу»⁴³³.

У Стерна находит Толстой то внимание к мелочам, через которые проявляется чувство, те мгновенные переходы от одного психического состояния к другому, ту кажущуюся несовместимость и внутреннюю органичность сочетания противоположных чувств в душе человеческой. У Стерна же Толстой мог почерпнуть представление о том, что взглядом, улыбкой, выражением глаз, движением плеч можно передать гораздо больше, чем словами...

Постепенно Толстой уходит из-под непосредственного влияния английского романиста. Это очевидно при сопоставлении четырех редакций «Детства». Он освобождается от многочисленных отступлений, обращений к читателю, наукообразных классификаций, утяжеляющих стиль «Четырех эпох развития». В его дневнике можно найти запись: «Несмотря на огромный талант рассказывать и умно болтать моего любимого писателя Стерна, отступления тяжелы даже у него»⁴³⁴.

Более того, в своих зрелых вещах Толстой придет к таким художественным принципам, многие из которых в чем-то даже противоположны стерновским. Зыбкая, изменчивая картина мира у Стерна превращается в кристально четкую, поражающую своей полнотой и объективностью у Толстого; субъективного, беспомощного или чувствительного повествователя у Стерна сменит вездесущий и всеведущий бог

Саваоф в романах Толстого, всеобъемлющая ироническая (в том числе и автоироническая) позиция автора «Тристрама Шенди» и «Сентиментального путешествия» сменится абсолютностью и непогрешимостью авторского знания в «Войне и мире» и «Анне Карениной».

И, однако, некоторыми своими сторонами Стерн вошел как частица в сложную творческую систему зрелого Толстого. Мы ощущаем это и в «Севастополе в мае» (описание смерти Праскухина), и в «Войне и мире» (портретные характеристики героев), и в «Анне Карениной» (последние минуты Анны перед самоубийством). И если от многих внешних приемов стерновского письма Толстой со временем отказался, то сами принципы обрисовки характера персонажа — и его внешности, и внутреннего мира — органически усвоенные Толстым и составляющие важную часть его писательского мастерства, связывают его творчество с творчеством Стерна.

Стерн, сокрушая общепринятые романские каноны, опередил не только своих современников, но и многих писателей XIX века: в двадцатом столетии его имя связывают, и справедливо, с романом «потока сознания»⁴³⁵. И Вирджиния Вулф, и Джеймс Джойс ссылались на Стерна как своего предтечу.

Традиционный роман, как правило, охватывая значительную часть жизни героя, идет вширь, у Стерна, как мы видели, роман идет вглубь, подобно «Улиссу» Джойса или «Миссис Дэллоуэй» Вирджинии Вулф, охватывая

ничтожный отрезок физической жизни героя. Здесь линейное заменяется объемным. Ежеминутно отклоняясь от линейной последовательности повествования, забегая вперед, возвращаясь назад, роман, как снежный ком, обрастает множеством ассоциаций, компенсирующих скудость линейного продвижения во времени.

А кстати, и время — романное время — обретает новое качество. Отчасти уже говорилось, что в «Тристраме Шенди» возникают две разные временные оси с двумя точками отсчета — от момента рождения Тристрама и от начала писания романа. («В текущем месяце я стал на целый год старше, чем был в это же время 12 месяцев назад; а так как, вы видите, я добрался уже до середины моего четвертого тома — и все еще не могу выбраться из первого дня моей жизни, — то отсюда очевидно, что сейчас мне предстоит описать на 364 дня жизни больше, чем в то время, когда я впервые взял перо в руки»⁴³⁶).

Такое двойное время сближает «Тристрама Шенди» с многотомным романом Марселя Пруста. Но есть и различие. Стерн, в противоположность Прусту, никогда не использует «настоящее», чтобы заново оценить «прошлое». У английского романиста нет динамики восприятия — скорее данность, где настоящее и прошедшее сосуществуют в сознании героя. В сознании, но не в романе. И если у Пруста повседневность реальных событий растворяется почти полностью в одновременных наплывах разновременных воспоминаний, которые сливаются в нерасчленимый поток «утраченного» и «вновь обретенного» времени, то у Стерна

объективное время не ускользает от читателя, и при внимательном чтении можно заметить, что все детали повествования о семействе Шенди укладываются в четкую и непротиворечивую временную схему. Несмотря на внешнюю хаотичность повествования, в тексте разбросно множество дат и косвенных указаний, позволяющих довольно точно установить время почти любого события⁴³⁷.

Перенос центра тяжести с изображения внешнего на внутреннее требует и иного способа характеристики персонажа. У Стерна каждая деталь имеет самодовлеющий смысл и ценность, преследует единственную цель — глубже раскрыть психологию человека. Персонаж характеризуется не через поступки, а через способ совершения этих поступков, а поступки сами по себе могут быть совершенно незначительными. Характер складывается из мелочей, показанных крупным планом. Выражение глаза вдовы Водмен (описывается именно один глаз!), поза капрала Трима, читающего проповедь, занимают по целой главе. По детализации их можно сравнить с описанием поцелуя Марсея и Альбертины в романе «Узница» Марсея Пруста.

В первом томе «Тристрама Шенди» повествователь мечтает о несбыточном — чтобы в грудь человека было вставлено стеклышко, заглянув в которое, писатель мог бы увидеть «в полной наготе человеческую душу, — понаблюдать за всеми ее движениями, — всеми ее тайными замыслами, — проследить все ее причуды от самого их зарождения и до полного созревания, —

подстеречь, как она на свободе скачет и резвится; после чего, уделив немного внимания более чинному ее поведению, естественно сменяющему такие порывы, — взять перо и чернила и запечатлеть на бумаге»⁴³⁸ увиденное. Эту мечту Стерн стремится осуществить и в «Тристраме Шенди», и в «Сентиментальном путешествии».

«В этом предпочтении извилов собственно-го сознания путеводителю с его изъезженными большими дорогами Стерн удивительно близок нашему веку. В этом внимании к молчанию, а не к речи Стерн — предшественник современных писателей. Поэтому-то он и гораздо ближе нам сегодня, чем его великие современники ричардсоны и филдинги»⁴³⁹.

Однако Стерн рисует тончайшие движения человеческой души на уровне научной мысли *своего* времени, на уровне психологии Локка, а не открытий Уильяма Джеймса, Бергсона, Фрейда, Юнга, на которые опирался роман «потока сознания». Стерн пишет о сознании, а не о подсознательном. В «Тристраме Шенди» изображено состояние писателя в момент творческого акта, то есть вполне осознанные муки художника.

(Кстати сказать, сама тема этих творческих мук как одной из сторон духовной деятельности человека — тема, столь важная для литературы XX века, — пожалуй, впервые в европейском романе поставлена в «Тристраме Шенди».)

Достаточно сравнить ассоциативный ход у Стерна и Джойса, чтобы понять, как велика разделяющая их дистанция. Стерн шаг за шагом поясняет движение мысли Йорика: «Сказанное

старым французским офицером о путешествиях привело мне на память совет Полония сыну на тот же предмет — совет Полония напомнил мне “Гамлета”, а “Гамлет” — остальные пьесы Шекспира, так что по дороге домой я остановился на набережной Конти купить все собрание сочинений этого писателя»⁴⁴⁰.

Клубок мыслей распутан самим автором. А при чтении «Улисса» читателю одному приходится распутывать этот клубок. Не будем обращаться к сложнейшему монологу Мэрион, завершающему роман, возьмем легчайшие для Джойса ассоциативные ходы — два фрагмента, передающие работу сознания Леопольда Блума, когда он идет по улицам Дублина. «Апельсины в папиросной бумаге, уложенные в ящики. Цитрусы тоже. Интересно, жив ли бедняга Цитрон в Сент-Кевин-Перэд? А Мастянский, со своей старой цитрой?» Или другой пример — Блум наблюдает за ритуалом причастия: «Потом следующая: маленькая старушка. Священник нагнулся, чтобы положить ей в рот, все время что-то бормоча. Латынь. Следующая. Закрой глаза и открой ротик. Что? *Corpus*. Тело. Труп. Хорошо придумано — латынь. Сразу не оглушает. Прибежище для умирающих. Они, кажется, и не жуют его: прямо глотают. Здорово придумано: есть куски тела, каннибалы, те прямо в восторге»⁴⁴¹.

Эти ассоциации очень наглядны: в первом случае чисто звуковые (цитрусы — Цитрон — цитра). Во втором несколько сложнее: помимо звуковых — *corpus* (тело) — в оригинале *corpse* (труп) — они связывают наивность верующих

с поведением детей (закрой глаза и открой ротик) и дикарей. И все же от читателя требуется восстановить эти связи, проделав мысленно тот же путь, что и сознание литературного персонажа.

Однако сам Джойс, говоря о своем последнем, самом сложном романе «Поминки по Финнегану», чтение которого без «ключа» непосильно даже для хорошо подготовленного читателя, сближал свой метод с методом Стерна: «Я мог бы написать эту историю в традиционной манере... Но я хочу рассказать историю этой странной семьи на новый лад. Элементы у меня точно такие же, как и у любого другого романиста: мужчина и женщина, рождение, детство, ночь, сон, брак, молитва, смерть. Во всем этом нет ничего парадоксального, только я стараюсь построить много планов повествования, объединенных одной эстетической задачей. Вы читали когда-нибудь Лоренса Стерна?»⁴⁴²

* * *

Стерн намного опередил свою эпоху, его открытия были не сразу и не в полной мере оценены современниками. Его творчество принимали постепенно, «по кусочкам», осваивая то одни его стороны, то другие — в соответствии со вкусами и модами времени. Сентименталисты обожествляли «чувствительного Йорика», романтики оценили в полной мере иронию и юмор «Тристрама Шенди», Толстой увидел Стерна-психолога, а Джойс и Виржиния Вулф признали в нем предтечу романа «потока сознания».

Однако опыт Стерна, претворенный в новом историко-литературном контексте, настолько прочно вписался в наше сегодняшнее представление о романе и путешествии, что воспринимается как особенность, естественно присущая этим жанрам, и не ассоциируется с именем первооткрывателя. Вот почему хочется повторить сказанные о Стерне слова Гёте (с его имени мы начали, им и закончим):

«Обыкновенно, при быстром ходе литературного и общественного развития, мы забываем о том, кому мы обязаны первыми впечатлениями, кто впервые влиял на нас. Все происходящее, проистекающее в настоящем, нам кажется вполне естественным и неизбежным; однако мы попадаем на перепутье, и именно потому, что теряем из виду тех, кто нас направил на верный путь. Вот почему я хочу обратить ваше внимание на человека, который во второй половине прошлого века положил начало и способствовал дальнейшему развитию великой эпохи более чистого понимания человеческой души, эпохи благородной терпимости и нежной любви»⁴⁴³.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Лоренс Стерн

ПРОПОВЕДИ МИСТЕРА ЙОРИКА, ТОМ I

ПРОПОВЕДЬ II

ОПИСАНИЕ ДОМА ПЛАЧА И ДОМА ВЕСЕЛЬЯ*

Лучше ходить в дом плача, нежели в дом пира.

Экклезиаст. VII. 2, 3

Это я отрицаю (но давайте послушаем, как мудрец подтверждает это: «ибо таков конец всякого человека, и живой приложит *это* к своему сердцу: печаль лучше смеха»), ибо, я полагаю, это подходит для ордена полоумных картезианских монахов, но не для мирян. Ведь для чего, как вы думаете, Господь сотворил нас? Для сладости благодатных долин, куда Он нас поместил, или для засушливой и мрачной пустыни Сьерра-Морены? Неужто грустных событий в нашей жизни и безрадостных часов, которые постоянно настигают нас, недостаточно, чтобы мы еще кидались за ними в погоню и, противореча собственному сердцу, говорили, как требует этот текст, что они лучше, чем часы радости? Неужто Всевышний ради того направил

* Проповедь «House of Mourning and House of Feasting Described» вошла в первый том «Проповедей м-ра Йорика» (1760), и даже спустя много лет, в письме дочери 1767 г., Стерн назвал ее «одной из лучших своих работ».

нас в этот мир, — чтобы мы шли рыдая, чтобы огорчались и сокращали жизнь, и без того короткую и полную огорчений? Не думаете же вы, мой добрый проповедник, что Тот, кто бесконечно счастлив, может завидовать нашим радостям? Или Тот, кто бесконечно добр, пожалеет для удрученного путника краткого отдыха и подкрепления, необходимых для дальнейшего продвижения на его тяжком жизненном пути? Или что Он призовет его к суровой расплате за то, что тот спешил уловить какие-то ничтожные мимолетные радости, чтобы хоть немного подсластить нелегкую жизнь и примириться с неровной дорогой и теми ухабами, которые наверняка встретятся ему на пути? Подумайте, прошу вас, какое вспомоществование уготовил нам Создатель, дабы мы не продвигались в печали по жизненному пути — сколько караван-сараев для отдохновения — какие силы и способности даровал Он нам для наслаждения ими — какие точно подобранные предметы расположил Он на нашем пути ради нашего развлечения; некоторые из них Он сделал столь прекрасными, столь подходящими для этих целей, что они обладали силой на какое-то время отвлечь нас от чувства боли, подбодрить сердце, сокрушенное нищетой либо немощью, заставить его биться, не вспоминая о своих бедах.

Сейчас я не буду вступать в единоборство с собственной риторикой; я предпочту на какое-то время продолжить аллегорию и сказать, что мы путешественники в самом умильном смысле этого слова, и, как путешественникам, хотя и по делам ближе всего касающимся нас самих, нам, разумеется, должно быть дозволено насладиться природными и рукотворными красотами той страны, по которой мы идем, не упрекая себя в том, что мы забыли главное задание, ради которого сюда посланы; а если мы будем так держать путь, что не

уклонимся с него, дабы взглянуть на разнообразие пейзажей, зданий и руин, которые подстрекают нас к тому, то это будет бессмысленное святое странствие с закрытыми глазами.

Но давайте не потеряем нить рассуждений, увлекшись сравнением.

Давайте помнить, — сколь бы разными ни были наши пути, — мы все же обращаем лица свои к Иерусалиму, — у нас имеется место отдохновения и счастья, к которому мы поспешаем, и путь туда заключается не в увеселении сердца, а в том, чтоб наставить его в добродетели; а увеселение и пиршество обычно не способствуют этому, — тогда как скорбь в какой-то мере есть время благочестия, — и не потому, что страдания напоминают нам о наших грехах, — но, благодаря тому, что на пути нашем возникает задержка, страдания эти дают нам то, чего в спешке и мирской суете не можем мы получить — недолгое время для размышлений, которое требуется большинству из нас, чтобы стать мудрее и лучше; — иногда столь необходимо человеку погрузиться в себя, что ради того, чтобы достичь этого, ему следует пожертвовать своим сиюминутным счастьем. Ему лучше, как сказал мудрец, идти в Дом Плача, где он встретит нечто, что поможет усмирить его страсти, чем в Дом Пира, где радость и веселье, скорее всего, возбудят эти страсти. Ведь в то время, как развлечения и ласки одного места отворяют сердце для искушений, — печали другого защищают его и естественно отвращают от оных. Какое же странное и непредсказуемое существо человек! Он создан таким, что только и стремится к счастью, — и тем не менее, хоть это иногда и делает его несчастным, как склонен он ошибаться в выборе того пути, который один только и может привести к достижению его желаний!

Таково заявление мудреца во всей его силе. Но чтобы в полной мере отдать справедливость его словам, я попытаюсь еще ближе рассмотреть эту тему. Для этого необходимо остановиться и бросить беглый взгляд на эти два места — на Дом Плача и Дом Веселья. Разрешите мне, прошу вас, воскресить на какой-то момент оба эти места в вашем воображении, дабы оттуда я мог взывать к сердцам вашим, и правдиво показать устойчивое влияние и естественное воздействие каждого из этих мест на наше сознание, о чем лишь вскользь упомянуто в тексте.

Сначала давайте взглянем на Дом Веселья.

И здесь, дабы, насколько возможно, не быть несправедливыми и предубежденными при его описании, мы возьмем отнюдь не худшие образцы этих домов, а лишь такие, которые открыты только для того, чтобы продавать добродетель, и для этой цели рассчитаны, и замаскированы так, что безопасно не только заключить договор на покупку, но и осуществить ее.

Это будет не кофейня — и не такой дом, давайте представим себе, где царят невоздержанность и излишества, как это часто бывает в домах веселья; нет, давайте возьмем один из таких домов, где не будет ничего чрезмерного, — где нет (или кажется, что нет) ничего преступного — но где все, на первый взгляд, остается в границах скромности и трезвости.

Тогда представьте себе такой Дом Веселья, где по договоренности или по приглашению собрались мужчины и женщины с одной лишь целью повеселиться и развлечь друг друга такими способами, кои обычаи и религия вовсе не запрещают.

Но прежде, чем войти, — давайте изучим, каковы должны быть чувства каждого еще до прихода, и мы обнаружим, что, как бы эти люди ни отличались друг

от друга своими взглядами и нравом, все они сходятся в том, что раз человек идет в дом радости и веселья, ему следует отвлечься ото всего, противоречащего этому намерению или несовместимого с ним. А для этого он должен оставить позади свои заботы — свои серьезные мысли — свои нравственные размышления и уйти из дома в таком расположении духа, с такой сердечной легкостью, какие соответствуют ситуации и премоножают ожидающее его в том Доме веселье. С этим невольным состоянием ума, о котором он может и не предполагать, так как в нем не более как желание стать приятным гостем, — давайте вообразим, как он входит в Дом Веселья с сердцем, свободным от строгих запретов и открытым к приятию удовольствий. Совсем не обязательно, я думаю, допускать невоздержанность в такой сцене, или такое излишество в удовлетворении appetитов, которое разжигает кровь и воспаляет желания. Давайте тогда допускать лишь то легкое возбуждение, которое естественно возникает при таком доброжелательном общении. В этом состоянии духа, созданном заранее и еще усиленном благодаря такому общению, — заметьте: как произвольно поднимается настроение, как быстро и незаметно оно переходит границы, которые соблюдаются в более спокойные часы.

Когда веселые, радужные стороны жизни оставляют проход к сердцу человека столь бездумно незащищенным — когда добрые и ласковые взгляды всего внешне-го, что может льстить нашим чувствам, вступили в сговор с врагом внутри нас, чтобы человек сдался и снял свою оборону, — когда и музыка предложила свою помощь и всей своей мощью обрушилась на его страсти, — когда голоса поющих мужчин и женщин и звуки скрипки и лютни ворвались в его душу и своими неж-

ными нотами прикоснулись к тайным струнам восторга, — в такие моменты давайте вскроем его сердце и заглянем в него. — Посмотрите, какое оно тщеславное! Какое слабое! Какое пустое! Взгляните на те несколько ниш, те чистые обители для приятия невинности и добродетели, — грустное зрелище! Узрите, что теперь эти прекрасные чувства лишены пристанища — изгнаны из своих священных обителей, дабы освободить место — чему? — в лучшем случае легкомыслию и неосмотрительности — возможно, глупости — а может статься, и более скверным гостям, которые при таком брожении ума и чувств могут незаметно проникнуть туда в это время.

В описанной выше сцене и положении — может ли самый осмотрительный человек сказать — вот до сих пор простираются мои желания, но ни шагу дальше? Или может ли самый хладнокровный и бдительный человек сказать, когда удовольствия полностью завладели его сердцем, что нет ни единой мысли или стремления, которые он должен был бы скрывать? — В такие свободные, незащищенные моменты воображение не всегда под контролем — невзирая на разум и размышления, оно насильно унесет человека туда, куда он вовсе и не собирался — подобно тому, как дух немой в грустном рассказе отца о своем ребенке многократно бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить, рвал его и не хотел отпускать⁴⁴⁴.

Но почему, вы скажете, нужно брать наихудшее описание того, как может пострадать разум?

Почему бы не сделать нам более благоприятное предположение? — Что многие предающиеся таким развлечениям и привыкшие к ним постепенно научились презирать и побеждать их; — что многие умы вовсе не так подвержены влиянию разгоряченных

чувств или не так плохо защищены от них, чтобы удовольствия могли легко развратить или обезоружить их; — ведь можно предположить, что из великого множества людей, которые ежедневно теснятся в Доме Веселья, многие выходят в том же состоянии невинности, в каком туда зашли; — и что, ежели мы включаем в наши подсчеты людей обоего пола, какие *прекрасные* перед нами примеры чистоты и целомудрия образа мыслей, ежели Дом Веселия, со всеми его прелестями и соблазнами, не в силах породить мысли или возбудить намерения, от коих могла бы покраснеть добродетель — или которые не поддержала бы самая щепетильная совесть. Упаси Боже, чтобы мы это отрицали. Несомненно, многие люди любых возрастов ускользали невредимыми и выбирались на сушу из этого опасного моря, не потерпев крушения. И все же не следует ли их причислить к более удачливым искателям приключений; и даже если кто-либо категорически запретит любую попытку такого рода или будет столь бесстыден, что заклеит любого, кто попытается предпринять ее, так как, полагаю, найдется много таких, кто обязательно так и поступит, и чье состояние и общественное положение неизбежно подталкивают к этому, — однако нам все же должно быть дозволено описать этот прекрасный и столь прельстительный спуск — мы можем указать на его скрытые опасности и предупредить неосмотрительного путника, где они поджидают его. Мы можем предостеречь его юность и неопытность от возможных угроз, показать, сколь малого он достигнет, пойдя на риск, и насколько мудрее и лучше было бы, как сказано в тексте, искать случая умножить свои немногие добродетели, нежели необдуманно доверять их изменчивому случаю, при котором лучшее, на что можно надеять-

ся, это вернуться, с теми сокровищами, которые человек принес, — но где, вполне возможно, ежели не повезет, он может все растерять, в том числе и себя самого, и погибнуть навеки.

Но хватит о Доме Веселья, который, между прочим, хотя обычно и открыт повсеместно в любое время года, сейчас в христианских странах везде накрепко закрыт*. И, по правде сказать, я был более строг в своих предостережениях против него, не столько потому, что предмет того требует, сколько из уважения ко времени года, когда наша церковь предписывает большее послушание и самоотречение и тем самым усугубляет ограничения в отношении удовольствий и развлечений, которые уже упоминались.

Так давайте же отвернемся от сей веселой сцены; разрешите подвести вас ненадолго к сцене, гораздо более располагающей к размышлениям. Давайте пойдём в Дом Плача, ставший таковым ввиду тех страданий, которые возникли просто из-за досадных происшествий и бедствий, с коими мы сталкиваемся в жизни, — туда, где, быть может, престарелые родители сидят в неизбывном горе, до глубины души уязвленные глупостью и неосмотрительностью своего неблагодарного ребенка — ребенка, о котором они неустанно молились, на котором сосредоточились все их надежды и ожидания. Возможна и более впечатляющая сцена — добродетельное семейство в крайней нужде, ибо несчастный глава семьи, долго сражавшийся со многими бедами и храбро противостоявший им, — сейчас, увы, в конце концов, сломлен — сокрушен жестоким ударом, который никакие предусмотрительность и бережливость не могли предотвратить. О Боже! Взгляните на

* Проповедь читалась во время поста. (*Прим. Стерна.*)

его страдания — узрите, как он окружен своими чадами и подопечными, — обуреваемый печалью, — не имеющий даже куска хлеба, чтобы их накормить, — неспособный забыть лучшие дни, — сгорающий от стыда.

Когда мы входим в такой Дом Плача, — невозможно обидеть несчастного даже неподобающим взглядом. В каком бы состоянии душевного легкомыслия и разгула мы ни увидели подобную сцену — она обязательно бросилась бы нам в глаза — она также привлекла бы и наше внимание — собрала вместе и отрезвила разрозненные мысли и укрепила их разумом. Мимолетная картина горя, какую мы здесь набросали, — как быстро даст она пищу для работы мысли? Обязательно ли заставит она задуматься над бедами и несчастьями, опасностями и невзгодами, коим подвержена жизнь человеческая? Когда человек держит перед собой такое зеркало, оно заставляет его размышлять о тщете всего сущего — о неизбежной кончине и недолговечности владения всем, что есть в этом мире. От серьезных размышлений такого рода не унесутся ли наши мысли незаметно для нас еще дальше? И понимание, кто мы есть — в каком мире мы живем и какие несчастья могут выпасть на нашу долю, — разве не естественно, что оно заставит нас взглянуть в будущее, на то, что, вероятнее всего, нас ожидает — на тот мир, что нам будет уготован — на те несчастья, которые ждут нас в нем — на то, какие шаги нам следует предпринять, дабы избежать их, пока еще есть время и возможность?

Если подразумевается, что уроки эти неотделимы от Дома Плача, — мы обречем еще более поучительную школу разума, когда взглянем на этот дом в том трогательном до слез свете, какой и вкладывает мудрец, ограничивший в своем тексте дом плача, как я полагаю, сценой печали, стенаний и оплакивания усопшего.

Повернитесь сюда, умоляю вас, хоть ненадолго. Взгляните на усопшего, готового к погребению; он единственный сын у матери, а она вдова. Но вот еще более впечатляющее зрелище — любящий, заботливый отец большого семейства лежит бездыханный; он умер в расцвете сил — оторванный в недобрый час от детей своих и от безутешной супруги.

Взгляните на толпу горожан, собравшихся, чтобы присоединить и свои слезы, мрачно бредущих к Дому Плача с глубокой скорбью на лицах отдать последний долг, который, когда долг природе уже уплачен, мы должны уплатить друг другу.

Если эти печальные обстоятельства, приведшие человека сюда, не возымели еще своего действия, обратите внимание, к какому серьезному и благочестивому состоянию ума придет любой, вошедший в эти врата страдания. Деятельный, мятущийся дух, который в Доме Веселья обычно гнал человека от одного развлечения к другому, — взгляните, как он сник! как он успокоился! В этом мрачном доме, полном теней и безутешного уныния, способных обуять душу, — взгляните: легкомысленное сердце, которое никогда раньше не размышляло всерьез, — как задумчиво оно сейчас, как смягчилось, как восприимчиво, как полно религиозного чувства, как глубоко потрясено пониманием и любовью к добродетели. Можем ли мы в этот переломный момент, пока господствует империя благомыслия и религии, пока сердце подобным образом наставлено разумом и занято размышлениями о божественном — ведь мы видим сердце это во всей его наготе, очищенным от страстей, незапятнанным миром и равнодушным к его удовольствиям, — можем ли мы с уверенностью основать наши доводы на этом единственном свидетельстве и спросить самых больших любите-

лей плотских радостей, правильный ли выбор сделал здесь Соломон в пользу Дома Плача? — не ради самого дома как такового, но ввиду того, что дом этот полезен для добродетели и приносит столько блага.

А если не учитывать эту цель, то печали, я повторяю, лишь укорачивают жизнь человеческую — а также и серьезность, со всей ее деланной торжественностью лица и осанки, не более как способ сделать одну половину света веселой, взвалив все на другую.

Подумайте о том, что было сказано, и да пребудет с вами Божье благословение. Аминь.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

1713

24 ноября. Родился в Клонмеле на юге Ирландии.

1714

Зима. Переезд в Элвингтон близ Йорка.

Осень. Переезд семьи в Дублин.

1715—1723

Скитания по Ирландии и Англии вслед за перемещениями полка отца.

1723

Переезд к родственникам в Йоркшир. Школа в Хипперхольме близ Галифакса.

1731

Март. Смерть отца в Порт-Антонио.

Осень. Окончание школы.

1733

6 июля. Зачислен в колледж Иисуса в Кембридже.

1734

30 июля. Получил стипендию.

1737

Январь. Окончил колледж Иисуса со степенью бакалавра.

Март. Принят в дьяконы, назначен помощником священника в приходе Сент-Айвз близ Хантингдона.

1738

Февраль. Дядя Джекс помог перевестись помощником священника в приход Кэттон близ Йорка.

20 августа. Получил сан священника. Назначен викарием в приход Саттон-он-де-Форест.

1739

Знакомство в Йорке с будущей женой Элизабет Ламли.

1740

Январь. Получил пребенду в Йоркском соборе и стал членом капитула. Получил степень магистра искусств.

1741

30 марта. Женился на Э. Ламли.

Весна – осень. Участие в выборах кандидата в парламент. Журналистская деятельность.

1742

Первые ссоры с дядей Джексом.

1744

Март. Получил приход в Стиллингтоне.

1745

1 октября. Родилась дочь Лидия. Умерла на следующий день.

1747

1 декабря. Рождение второго ребёнка, девочку тоже назвали Лидией. Окончательный разрыв с дядей Джексом.

1750

29 июля. Прочитал проповедь в Йоркском соборе о заблуждениях совести.

Осень. Дядя Джекс запрещает читать дополнительные проповеди в Йоркском соборе. Мать попадает в долговую тюрьму.

1751

Помогает Джону Фаунтейну получить докторскую степень.

Осень. Обед, на котором произошла стычка Фаунтейна и Топама, описанная в «Политическом романе».

1759

Публикация и уничтожение тиража «Политического романа».

5 мая. Смерть матери.

Май–декабрь. Работа над 1–2 томами «Тристрама Шенди». Переговоры с Робертом Додсли.

Конец декабря. Публикация в Йорке 1 и 2 тома «Жизни и мнений Тристрама Шенди, джентльмена».

1760

Январь. «Тристрам Шенди» появился в Лондоне, в лавке Додсли.

Март–май. Поездка в Лондон.

Май. Вышли первые два тома «Проповедей мистера Йорика». Получает приход в Коксуолде.

Июнь–ноябрь. Работает над 3–4 томами «Тристрама Шенди».

Декабрь. Едет в Лондон для их издания.

1761

28 января. Вышли в свет 3–4 тома «Тристрама Шенди».

3 мая. Проповедь в Лондоне, в Воспитательном доме для подкидышей.

Июнь. Возвращается в Коксуолд. Работает над 5–6 томами «Тристрама Шенди».

Осень. Разрыв с Додсли.

Декабрь. Вышли 5–6 тома «Тристрама». Сильные легочные кровотечения.

1762

Январь. Уезжает во Францию.

Январь–июнь. Живет в Париже.

8 июля. В Париж приезжают жена и дочь.

19 июля. Отъезд с семейством в Тулузу.

1763

Середина июня – сентябрь. Живет в Баньере.

Конец сентября. Переезд в Монпелье.

1764

Середина января. Новый приступ болезни.

Начало марта. Покидает Монпелье и по дороге в Англию вновь посещает Париж.

Май. Выехал из Парижа в Лондон.

Июнь. Приехал в Йорк.

Лето–осень. Живет в Коксуолде, работает над 7–8 томами «Тристрама Шенди».

Декабрь. Приезжает в Лондон.

1765

Январь. Вышли в свет 7–8 тома «Тристрама Шенди».

Август. Сгорел дом викария в Саттоне.

Лето – начало осени. Живет в Коксуолде и работает, над 3–4 томами проповедей.

Начало октября. Уезжает из Лондона на континент.

Конец октября. Покидает Париж и направляется в Италию.

14 ноября. Стерн в Турине. Далее он посетил Милан, Венецию, Флоренцию, Рим.

1766

21 января. Вышли в свет 3—4 тома проповедей.

Февраль – начало марта. Стерн в Неаполе.

Май. Стерн вновь во Франции.

Июль. После краткого заезда в Лондон вернулся в Коксуолд и приступил к работе над последним томом «Тристрама Шенди».

1767

Начало января. Приезжает в Лондон.

Середина января. Встреча с Элизабет Дрейпер.

Конец января. Вышел в свет девятый том «Тристрама Шенди».

Апрель. Э. Дрейпер по настоянию мужа уезжает в Индию.

Май. Возвращение в Коксуолд. Работа над «Дневником для Элайзы» и «Сентиментальным путешествием по Франции и Италии».

Осень. В Коксуолд приезжают из Франции жена и дочь.

1768

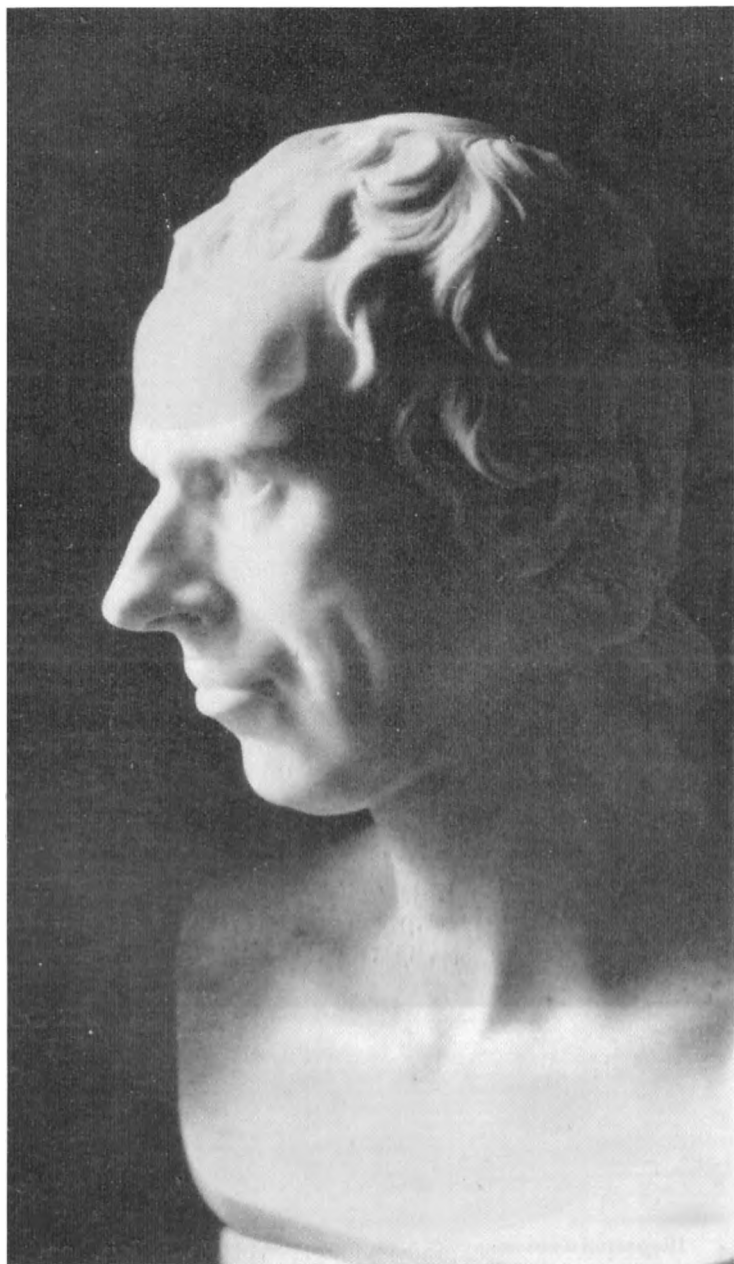
1–2 января. Приезжает в Лондон для публикации «Сентиментального путешествия».

Конец февраля. Вышло в свет «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии».

Начало марта. Новый виток болезни, к середине месяца развился плеврит.

18 марта. Смерть.

22 марта. Похороны.



Лоренс Стерн. Мраморная копия с терракоты Дж. Ноллекенса. 1766



Лоренс Стерн и его жена. С пастели Фрэнсиса Коутса. 1750—1758(?)



Шарлатан и его подручный. (Томас Бриджес и Лоренс Стерн.)
Гравюра Дж. Смита (ок. 1838) с утраченной картины
маслом, написанной не позднее 1759 г.



Стивен Крофт. С портрета
Дж. Рейнолдса. 1760



Лоренс Стерн. Миниатюра
из коллекции С. Дж. Пегга.
1750-е годы



«Свихнувшийся замок». Фронтиспис
к «Свихнувшимся рассказам» Холла-Стивенсона. 1762



Зал ассамблей в Йорке. Гравюра У. Линдси. 1759

THE
L I F E
AND
O P I N I O N S
O F
TRISTRAM SHANDY,
GENTLEMAN.

Τραγουή τῆς Ἀνδρείτικῆς ἢ τῆς Προσφύμας,
ἀλλὰ τὰ περὶ τῆς Προσφύμας, Δουμάκια.

VOL. I.

1760.

*Facsimile of Title Page to the First Edition of
"Tristram Shandy"*

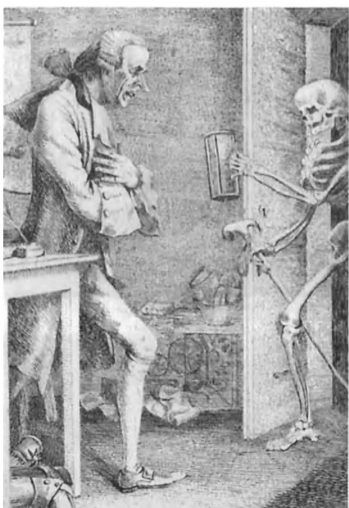


Дэвид Гаррик. Портрет
Т. Гейнсборо. 1770

Титульный лист первого
тома первого издания
«Тристрама Шенди»



Дом Стерна в Коксуолде. С фотографии 1906 г.



Стерн и Смерть. Гравюра
Томаса Пэтча с его же
карикатуры маслом. Ок. 1766



Карикатура на Л. Стерна,
автора «Проповедей мистера
Йорика». 1760–1766(?)



Фронтиспис Хогарта к первому тому второго тиража «Тристрама Шенди». Март, 1760



Фронтиспис Хогарта к третьему тому «Тристрама Шенди».
Январь, 1761



Элизабет Монгэгю. Портрет Т. Гейнсборо. Ок. 1767



Джошуа Рейнолдс. Автопортрет. 1753–1758

Dec: 23. 1761 Memorandum left with Mr. Mon-
-tague, In Case I should die abroad. L. Home

my sermons in a Trunk at my friend
Mr. Halls St. John Street. — 2 Vols, to be picked
out of them — N.B. There are enough for 3
Vols. —

My Letters in my Bureau at Coxwold
+ a Bundle in the Trunk with my sermons —
note. The large piles of Letters in the Garrets
at York, to be sifted over, in search for some
either of Wit, or Humor — or what is better
than both — of Humanity & good nature — these
will make a couple of Vols. more — and as not one
of 'em was ever worth, like Popes or Voltaire's
to be printed, they are more likely to be
read — if there wants ought to serve the
Completion of 3 Volumes — the Political Romance
I wrote w^{ch} was never published — may be
added to the far end of the Vols. . . . The
I have 2 Reasons why I wish it may not
be wanted — first, an undeserved Compli-
ment to one, whom I have since found to
be a very corrupt man. — I ~~never~~ knew
him weak & ignorant — but thought him ho-
-nest. The other reason is



Лоренс Стерн.
С акварели Луи Кармонтея. 1762



Усадьба Уолпола Строберри-Хилл



Осада Намюра. Иллюстрация Г. У. Банбери к «Тристраму Шенди». 1773



Сэмюэл Джонсон. Портрет
Дж. Рейнолдса. 1775



Джон Уилкс.
С картины Р. Хьюстона. 1769



Джон Холл-Стивенсон.
С портрета Филиппа
Мерсье. 1740



Хорейс Уолпол на фоне усадьбы
Строберри-Хилл. 1754



Дэвид Юм.
Портрет А. Рэмзи. 1766



Джеймс Босуэлл.
С портрета Дж. Рейнолдса. 1785



Дени Дидро.
Портрет Л.-М. ван Лоо. 1767



Поль Анри Гольбах.
Портрет А. Рослина. 1785



Тобайас Смоллетт. С портрета
Н. Данс Холланда. Ок. 1764



Лоренс Стерн. Портрет работы
Т. Гейнсборо. Апрель, 1765(?)



Джозеф Ноллекенс, опираю-
щийся на бюст Стерна. Пор-
трет работы Н. Дэнса. 1772



Игнатий Санчо. Гравюра
с портрета Т. Гейнсборо.
1760-е годы



Элайза Дрейпер.
Портрет Р. Косуэя. 1767



Лидия Стерн (Медаль) с бюстом
отца. Фронтиспис к «Письмам
Лоренса Стерна». 1775



Посмертная маска Л. Стерна

ПРИМЕЧАНИЯ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Стерн 1940 – Стерн Л. Сентиментальное путешествие. Воспоминания. Письма. Дневник. М.: ГИХЛ, 1940. Все цитаты из этого издания публикуются в переводе А. Франковского.

Стерн 2004 – Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии. Письма. М.: АСТ, 2004. Серия «Золотой фонд мировой классики». Все цитаты из романа «Тристрам Шенди» публикуются по этому изданию в переводе А. Франковского. Цитаты из писем по этому изданию даются в переводе А. Ливерганта.

Тревельян – Тревельян Дж. М.: Социальная история Англии. Обзор шести столетий от Чосера до королевы Виктории. М., Издательство иностранной литературы. 1959. Перевод А. А. Крушинской и К. Н. Татариновой.

Letters – Letters of Laurence Sterne. Ed. by Lewis Perry Curtis. Oxford, 1935. Все цитаты из этого, а также и из других англоязычных источников (в том числе из нижеуказанных книг: Cross, Cash, Howes), если не указано иначе, даются в переводе К. Атаровой.

Cross – Wilbur L. Cross. The Life and Times of Laurence Sterne. Third edition with alterations and additions. New Haven, 1929.

Cash – Arthur P. Cash. Laurence Sterne. The Early and Middle Years. London. 1975.

Howes – Alan B. Howes. Yorick and the Criticks. Sterne's Reputation in England, 1760–1768. New Haven, 1958.

ТРИСТРАМ – ЙОРИК – СТЕРН

Вместо предисловия

1. Стерн 1940. С. 194.
2. См. Leavis F. R. *The Great Tradition*. Lnd., 1948. P. 2.
3. Vaughan C. E. *Sterne and the Novel of his Time* // *The Cambridge History of English Literature*. NY, 1909–1949. V. 10. P. 48.
4. Гейне Г. Собр. соч. в 6 т. М.: 1982. С. 422.
5. Стерн 2004. С. 21.

СЕМЬЯ И ДЕТСТВО

6. Стерн 1940. С. 141.
7. Там же. С. 141.
8. Там же. С. 142.
9. Там же. С. 142–144.
10. Там же. С. 143.

ШКОЛА И УНИВЕРСИТЕТ

11. Стерн 1940. С. 144.
12. Там же. С. 144.
13. См.: Cash. P. 24–27.
14. См.: Letters. P. 39–40.
15. Fitzgerald P. *Life of Sterne*. 2 vols. 1864. V. I. P. 69.
16. Стерн 1940. С. 144–145.
17. Там же. С. 144.
18. Fitzgerald P. *Op. cit.* P. 79.
19. Стерн 1940. С. 144.
20. Там же. С. 141–142.
21. Letters. P. 34.
22. Тревельян. С. 380.

САТТОН-ОН-ДЕ-ФОРЕСТ

23. Смоллетт Т. Путешествие Хамфри Клинкера (перевод А. В. Кривцовой). М.: 1972. С. 202–203.
24. Там же. С. 203.
25. Стерн 1940. С. 148–149.
26. Cross. P. 58.
27. Тревельян. С. 374.
28. Cross. P. 67–68.
29. Стерн 1940. С. 145.
30. Cash. P. 196. Стихотворные переводы, если не указано иначе, принадлежат К. Атаровой.
31. Стерн 2004. С. 389.
32. Там же. С. 347.
33. Cross. P. 116–117.
34. Стерн 2004. С. 128.
35. Стерн 1940. С. 6–7.
36. Стерн 2004. С. 561.

«СВИХНУВШИЙСЯ ЗАМОК»

37. Стерн 1940. С. 145.
38. См. письмо Стерна Уорбёртону от 19 июня 1760 г. (Letters. P. 115–116).
39. Цит. по: О'Брайн Э. Влюбленный Байрон (перевод К. Атаровой). М.: 2011. С. 41–42.
40. Cash. P. 187.
41. Letters. P. 139.

ПРОБА ПЕРА

42. Стерн 1940. С. 161.
43. Cross. P. 196.
44. Cash. P. 84.

45. Letters. P. 21.
46. Ibid. P. 64—65.
47. Стерн 1940. С. 145.
48. Там же. С. 153—162.
49. Байрон Дж. Г. Дневники. Письма. М.: 1963. С. 68.
50. Letters. P. 84.

УСПЕХ

51. Стерн 2004. С. 729—730; в письме упомянут Джон Хинксмен, книготорговец из Йорка, который раньше работал у Додсли. «Эссе об искусстве изобретательно-го мучительства» (1753) принадлежит перу Джейн Колльер, Эндрю Миллар был лишь издателем этого сочинения.

52. Cash. P. 286—287.
53. Стерн 2004. С. 763.
54. Там же. С. 63.
55. Там же. С. 760.
56. Letters. P. 81—82.
57. Ibid. P. 82—83.
58. Ibid. P. 83.
59. Стерн 2004. С. 732—733; Стерн предложил формат «Расселаса» (1/8 листа), так как Додсли незадолго до этого, в апреле 1759 года, издал этот роман Сэмюэла Джонсона.
60. Минц Н. Дэвид Гаррик и театр его времени. М.: 1977. С. 69.
61. Там же. С. 77.
62. Там же. С. 59.
63. Там же. С. 70.
64. Стерн 1940. С. 212—213.
65. Letters. P. 85—86.
66. Ibid. P. 86—87.

ЛОНДОН

67. Стерн 1940. С. 176.
68. Стерн 2004. С. 739.
69. Стерн 1940. С. 176–177.
70. Cross. P. 216–217.
71. Стерн 1940. С. 179.
72. Там же. С. 177–178.

КОЕ-ЧТО О РОМАНЕ

73. Цитата из «Поэтической эпистолы доктору Стерну, пастору Йорику и Тристраму Шенди» Джеймса Босуэлла.

74. Howes. P. 4.
75. Тревельян. С. 426.
76. Boswell, J. *Life of Samuel Johnson in 6 v.* Oxford, 1934–1950. V. II. P. 449.
77. Стерн 2004. С. 23.
78. Cross. P. 233.
79. *Complete Works of Coleridge in 7 vols.* NY, 1853. V. IV. P. 275. Курсив Кольриджа.
80. Шкловский В. «Тристрам Шенди» Стерна и теория романа. Опояз, 1921.
81. Cross. P. 190.
82. Стерн 2004. С. 475–476.

КОКСУОЛД И СНОВА ЛОНДОН

83. Cross. P. 253.
84. Cross. P. 301–302, а также: J. Gara. *Memoires Historiques sur la Vie de M. Suard*, V. II. P. 147–152 (Paris, 1820).
85. Стерн 2004. С. 95.
86. Там же. С. 336–337.

87. Локк Дж. Сочинения в 3 томах, М.: 1985, т. 2, XI, 17; пер. А. Н. Савина. См. также: Хитров А. В. Лоренс Стерн и британский ассоцианизм XVIII века. // Вопросы философии, 2008, № 1. С. 132–140.

88. Стерн 2004. С. 192.

89. Там же. С. 95.

90. Бёртон Р. Анатомия Меланхолии (перевод А. Г. Ингера). М.: 2005. С. 26.

91. Там же. С. 234–235.

92. Стерн 1940. С. 192.

93. Стерн 2004. С. 177.

94. Шекспир. Король Лир, акт I, сцена 4. Перевод Б. Пастернака.

95. Минц Н. Дэвид Гаррик и театр его времени. М.: 1977. С. 106–107.

96. Cross. P. 229.

97. Ibid. P. 269.

98. Ibid. P. 269.

99. Howes. P. 13.

100. Cross. P. 270.

101. Стерн 1940. С. 194.

102. Цит. по: Howes. P. 32 и Cross. P. 235–236.

103. Cross. P. 269.

104. Стерн 1940. С. 172–174.

105. Там же. С. 179–180.

106. Там же. С. 182.

107. Стерн 2004. С. 740–741.

108. Cross. P. 286.

109. Стерн 1940. С. 193.

110. Там же.

111. Moritz C. P. Travels, chiefly on Foot, through Several Parts of England. 1924. P. 53.

112. Стерн 1940. С. 196–197.

113. Тревельян. С. 361–362.

- 114. Cross. P. 237.
- 115. Ibid. P. 239.
- 116. Ibid.
- 117. Ibid. P. 240.
- 118. Ibid.
- 119. Ibid. P. 249.
- 120. Стерн 1940. С. 208.
- 121. Там же. С. 197–198.

«ИСТОРИЯ ЛЕФЕВРА»

- 122. Стерн 1940. С. 201.
- 123. Там же. С. 203.
- 124. Cross. P. 276.
- 125. Стерн 1940. С. 199.
- 126. Там же. С. 202.
- 127. Стерн 2004. С. 338–339.
- 128. Минц Н. Дэвид Гаррик и театр его времени. М.: 1977. С. 74.
- 129. Стерн 2004. С. 378–379.
- 130. Howes. P. 17.
- 131. Johnson's England, vol. I. P. 318.
- 132. Стерн 2004. С. 394.
- 133. История Ле-Февра (из «Тристрама Шенди»), пер. К. // Московский журнал, 1792, ч. V, февр.
- 134. Cross. P. 283–284.
- 135. Минц Н. Дэвид Гаррик и театр его времени. М.: 1977. С. 59.
- 136. Cross. P. 234.

ПАРИЖ

- 137. Стерн 1940. С. 203–205.
- 138. Стерн 2004. С. 441.

139. Cross. P. 289.
140. Ibid. P. 290.
141. Стерн 1940. С. 205—206.
142. Там же. С. 92—98.
143. Там же. С. 206—207.
144. Там же. С. 212.
145. Там же. С. 206.
146. Там же. С. 124.
147. Цит. по: Елистратова А. Английский роман эпохи Просвещения. М.: 1966. С. 328.
148. Стерн 1940. С. 212.
149. Там же. С. 213.
150. Там же. С. 210—211.
151. Cash. P. 207.
152. Тревельян. С. 418.
153. Стерн, 1940. С. 213.
154. Cross. P. 311—312.
155. Стерн, 1940. С. 213.
156. Там же. С. 214.
157. Letters. P. 176.
158. Тревельян. С. 400.
159. Там же. С. 401.
160. Стерн 1940. С. 189.
161. Там же. С. 217.

ТУЛУЗА И МОНПЕЛЬЕ

162. Стерн 1940. С. 219.
163. Там же. С. 220.
164. Там же. С. 217.
165. Там же. С. 223.
166. Там же. С. 224.
167. Там же. С. 225.
168. Letters. P. 196—197.

169. Стерн 1940. С. 225–226.

170. Цит. по: Теккерей У.-М. Собр. соч. в 12 томах, М.: 1977, т. 7. С. 700.

171. Цит. по: Отечество карикатуры и пародии. Английская сатирическая проза XVIII века (перевод А. Ливерганта). М.: 2009. С. 461.

172. Стерн 1940. С. 32.

173. Цит. по: Отечество карикатуры и пародии. Английская сатирическая проза XVIII века (перевод А. Ливерганта). М.: 2009. С. 460.

174. Стерн 1940. С. 227.

175. Там же. С. 228–229.

176. Там же.

177. Там же, 1940. С. 231.

178. Там же, 1940. С. 230.

179. Там же, 1940. С. 34.

180. Цит. по: Ann Radcliffe. *The Romance of the Forest*. Jane Austen. *Northanger Abbey*. Moscow, 1983. С. 457.

181. Стерн 1940. С. 229.

182. Стерн 2004. С. 755.

СНОВА В АНГЛИИ

183. Стерн 1940. С. 235.

184. Минц Н. Дэвид Гаррикс и театр его времени. М.: 1977. С. 82.

185. Стерн 1940. С. 232.

186. Там же. С. 240.

187. Стерн 2004. С. 757.

188. Cross. P. 356.

189. Стерн 2004. С. 443–444.

190. Letters. P. 231.

191. Смоллетт Т. Путешествие по Франции и Италии. // Цит. по: Отечество карикатуры и пародии.

Английская сатирическая проза XVIII века (перевод А. Ливерганта). М.: 2009. С. 421—422.

192. Стерн 2004. С. 444—445.

193. Гейне Г. Собр. соч. в 6 томах. М.: 1982, т. 3. С. 19.

194. Эта цитата из «Тристрама Шенди» (с. 442—443) помещена в переводе К. Атаровой, так как Франковский (а может быть, и его редактор) несколько смягчили ситуацию с тошнотой и рвотой.

195. Стерн 1940. С. 234.

196. Там же. С. 236. Жаль, что прекрасный переводчик А. Франковский несколько скомкал последнюю фразу письма, заменив «пишу» на «ищу». Точный перевод звучит так: «Но я пишу не для того, чтоб прокорчиться, а чтобы прославиться».

197. Смоллетт Т. Путешествие Хамфри Клинкера (перевод А. Кривцовой). М.: 1972. С. 68.

198. Cross. P. 359.

199. Стерн 2004. С. 758—759.

200. Cross. P. 523.

ПРОПОВЕДИ МИСТЕРА ЙОРИКА

201. Стерн 1940. С. 238.

202. Там же. С. 238—239.

203. Там же. С. 237.

204. Cross. P. 369—370.

205. Ibid. P. 372.

206. Howes. P. 20.

207. Correspondence of William Cowper. Lnd. 1904. P. 64—65.

208. H. Burton. Life and Correspondence of David Hume. Edingburgh, 1846. V. II. P. 72.

209. Это последняя (26-я) проповедь четвертого тома. Цитируется она в переводе В. Хинкиса по изда-

нию: Теккерей У.-М. Собр. соч. в 12 томах. М.: 1977, т. 7. С. 701. Сличая перевод с оригиналом, мы позволили себе добавить характерные для Стерна тире, опущенные, возможно, не переводчиком, а редактором или корректором.

210. *Sermons by mr. Yorick, Altenburgh, 1777, vol. III. P. 28.*

211. *Ibid. P. 29.*

212. Стерн 1940. С. 64.

213. Тревельян. С. 373.

214. Там же. С. 372.

215. Цит. по: Атарова К. Англия, моя Англия. М.: 2008. С. 110.

216. *Cross. P. 378.*

ВТОРАЯ ПОЕЗДКА НА КОНТИНЕНТ

217. Стерн, 1940. С. 353.

218. Карамзин Н. М. Избранные сочинения. М.: 1964, т. 1. С. 510–511.

219. *Cross. P. 232–233.*

220. Цит. по: Уолпол. Казот. Бегфорд. Фантастические повести. Л., 1967. С. 234.

221. Стерн 2004. С. 414.

222. Стерн 1940. С. 136–138.

223. *Howes. P. 32.*

224. Стерн 2004. С. 477.

225. Гейне Г. Собр. соч в 6 т. М.: 1982, т. 4. С. 422.

226. Клеланд Дж. Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех. М.: Эксмо, 2009. С. 60.

227. Стерн 2004. С. 476.

228. *Letters. P. 263.*

229. *Ibid. P. 265.*

230. Стерн 1940. С. 242.

231. Там же. С. 65–66.
232. Там же. С. 242–243.
233. Letters. P. 273.
234. См. подробнее: J. T. Smith. Nollekens and his Time. Lnd. 1895.
235. Стерн 1940. С. 244.
236. Там же. С. 245.
237. Там же.
238. Cross. P. 407.

ПОСЛЕДНИЙ ТОМ «ТРИСТРАМА ШЕНДИ»

239. Стерн, 1940. С. 246.
240. Там же. С. 247–248.
241. Там же. С. 248–249.
242. Тревельян. С. 402.
243. Стерн 2004. С. 563–564.
244. Там же. С. 164.
245. Тревельян. С. 394.
246. Стерн 2004. С. 761.
247. Там же. С. 539.
248. Стерн, 1940. С. 250.
249. Там же. С. 260.
250. Letters. P. 295.
251. Ibid. P. 426. См. также: Giovanni Rabizzani. Sterne in Italia, Roma, 1920, P. 34–35.
252. Стерн 1940. С. 252.
253. Cross. P. 422.
254. Ibid. P. 421.
255. Ibid. P. 422.
256. Стерн 2004. С. 567.
257. Там же. С. 21.
258. Там же. С. 554.
259. См. там же: том IX, глава XI.

260. Стерн 2004. С. 602.
261. См. Cross. P. 425.
262. Стерн 2004. С. 588.
263. Стерн 1940. С. 127–130.

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ

264. Cross. P. 429.
265. См. David Price. *Memoirs of the Field Officer in the Indian Army. Lnd., 1831.*
266. Letters. P. 298.
267. Стерн 1940. С. 184.
268. Letters. P. 299.
269. Стерн 1940. С. 254–255.
270. Там же. С. 256.
271. Там же. С. 256–257.
272. Там же. С. 257–258.
273. Там же. С. 295.
274. Там же. С. 295.
275. Там же. С. 350.
276. Cross. P. 457–458.
277. Стерн 1940. С. 338.
278. Там же. С. 327.
279. Там же. С. 261.
280. Там же. С. 345.
281. Там же. С. 297.
282. Letters. P. 327.
283. Стерн 1940. С. 296.
284. Там же. С. 348.
285. Ibid. С. 84.

ВДАЛЕКЕ ОТ ПРОТОРЕННЫХ ДОРОГ

286. Цитата приведена в переводе Льва Толстого.
287. Стерн 1940. С. 223.
288. Там же. С. 246.
289. Letters. P. 300.
290. Ibid. P. 369.
291. Ibid. P. 392–393.
292. Ibid. P. 395–396.
293. Стерн 1940. С. 262–265.
294. Letters. P. 401.
295. Ibid. P. 393.
296. Cross. P. 452.
297. Letters. P. 285.
298. Стерн 1940. С. 263.
299. Там же. С. 264–265.
300. Там же. С. 268.
301. Там же. С. 271.
302. Там же. С. 272.
303. Cross. P. 477–478.
304. Стерн 1940. С. 272.
305. Cross. P. 479.
306. См. подробнее: E. Erämetsä. A Study of the Word «Sentimental» and of other Linguistic Characteristics of Eighteenth Century Sentimentalism in England. Helsinki, 1951.
307. Стерн 1940. С. 53.
308. Correspondence with Thomas Gray. New Haven, 1948, V. 2. P. 183.
309. Первый перевод 1783 года уже упоминался выше; за ним последовали два других перевода — «Чувственное путешествие Стерна во Францию», М.: 1803 и «Путешествие Йорика по Франции», М.: 1806.
310. Letters. P. 301.

311. Стерн 1940. С. 13–14.
312. Там же. С. 94.
313. В. Вулф. Сентиментальное путешествие. // К. Атарова. Англия, моя Англия. М.: 2008. С. 106.
314. Cross. P. 481–482.
315. Стерн 1940. С. 30.
316. Там же.
317. Там же. С. 56.
318. Там же. С. 211–212.
319. Там же. С. 223.
320. Там же. С. 71.
321. Там же. С. 40.
322. Там же. С. 37.
323. Там же. С. 31.
324. Рецензия была перепечатана в России в «Северном вестнике» за 1803 год; цит. по: Роботи Т. Литература путешествий // Русская проза. Л., 1926. С. 49.
325. Cross. P. 93.
326. Стерн 1940. С. 23.
327. Стерн 1940. С. 94–95.
328. Spectator, № 10 (12 March, 1711) // Eighteenth century, Lnd., 1978. P. 123.
329. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании. СПб., 1913. С. 280.
330. Перевод Л. Толстого, запись от 13 февраля, 1852 г.
331. Jean Paul. Samtiche Werke. Weimar, 1935. Bd. 11. P. 93–119.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

332. Стерн, 1940. С. 272.
333. Там же. С. 146.
334. В этом месте А. Ливергант в своем прекрасном переводе этого письма допустил досадную неточность,

так как в оригинале сказано «— *но любой другой сделал бы завещание для дома своего*»).

335. Имеется в виду Франсуа Берод де Вервиль (1558—1612), автор книги *Le Moyen de Parvenir*, издание которой 1739 года было в библиотеке Стерна с пометой «Л. Стерн, в Париже, 8 ливров».

336. Стерн 2004. С. 768—769.

337. Стерн 1940. С. 273—274.

338. Стерн 2004. С. 452—453.

339. Цит. по: Теккерей У.-М. Английские юмористы XVIII века. // Собр. соч. в 12 томах. М.: 1977. Т. 7. С. 707.

340. Стерн 1940. С. 263.

341. Cross. P. 489.

342. *Letters and Journals of Lady Mary Coke*. 1889, II. P. 215—216.

343. Cross. P. 493.

344. *Ibid.* P. 494.

345. *Ibid.* P. 495—496.

ВДОВА — ДОЧЬ — ВОЗЛЮБЛЕННАЯ

346. *A Facsimile Reproduction of a Unique Catalogue of Laurence Sterne's Library*, New York, 1930.

347. Cross. P. 500.

348. *Ibid.* P. 502.

349. *Ibid.* P. 503.

350. Стерн 1940. С. 145.

351. Там же. С. 266.

352. Там же. С. 229.

353. Там же. С. 232—233.

354. Там же. С. 236.

355. Там же. С. 241.

356. Там же. С. 243.

357. Там же. С. 250.

358. Там же.
359. Там же. С. 251.
360. Там же. С. 261.
361. Там же. С. 268.
362. Cross. P. 508.
363. Ibid. P. 511–512.
364. Ibid. P. 517.
365. Стерн 1940. С. 229.
366. Там же. С. 261.
367. Cross. P. 513.
368. Ibid. P. 513.
369. Ibid. P. 514.
370. Ibid. P. 527.
371. Ibid. P. 515–516.
372. Стерн 1940. С. 258.
373. Письмо было опубликовано в «Таймс оф Индия» за 24 февраля 1894 года, см. также: Cross. С. 531–533.
374. Стерн 1940. С. 276–277.
375. Цит. по: Hartley L. Laurence Sterne in the Twentieth Century. Chapel Hill, 1968. P. 287.
376. Ibid. P. 287–288.

ЖИЗНЬ В ВЕКАХ

377. Стерн 2004. С. 405.
378. Стерн 1940. С. 187.
379. Там же. С. 189.
380. Cross. P. 411.
381. Howes. P. 60.
382. Jh. Ferriar. Illustrations of Sterne and other Essays and Verses. Lnd., 1798.
383. Journals of Sir Walter Scott. Edinburgh and London, 1950. P. 249.
384. Пумпянский Л. В. Сентиментализм. // История русской литературы. М-Л., 1947. Т. 4, часть 2. С. 142.

385. Thompson H. W. *A Scottish Man of Feeling*. Lnd., 1931. P. 125.

386. Дидро. Собр. соч. в 10 томах. М.—Л., 1937, т. 4. С. 200.

387. M. L. Charles. *The Growth of Diderot's Fame in France from 1784 to 1875*. Thesis Bryn Maur. Pa, 1938—1939. P. 20—21.

388. Barley d'Aureville. *Goethe et Diderot*. Paris, 1880. P. 166.

389. См. Бальзак об искусстве. М.: 1941. С. 143.

390. Местр К. де. Путешествие по моей комнате (перевод В. Кряжева). М.: 1802. С. 177—178.

391. Там же. С. 21.

392. «Лоренс Стерн». Заметка, опубликованная в журнале «Об искусстве и древности» в 1827 г. // Гёте И. В. Собр. соч. в 10 томах. М.: 1980, т. 10. С. 402.

393. Цит. по: H. W. Thayer. *Laurence Sterne in Germany*. N-Y., 1905. P. 198.

394. Там же. С. 100.

395. Цит по: Тронская М. Л. *Немецкий сентиментально-юмористический роман эпохи Просвещения*. Л., 1965. С. 53.

396. Там же.

397. Там же. С. 72.

398. Виланд К. М. *История абдеритов*. М.: 1978. С. 225.

399. Тронская М. Л. Там же. С. 141.

400. Там же. С. 46.

401. Там же. С. 146.

402. Стерново путешествие по Франции и Италии под именем Йорика (перевод А. Колмакова). СПб., 1783; Письма Йорика к Елизе и Елизы к Йорику. С приобщением Похвального слова Елизе (перевод Г. А. Апухтина). М.: 1789. Эту подделку перепечатали и в 1795 году. Отрывки из «Сентиментального путеше-

ствия» и «Тристрама Шенди» опубликованы в «Московском журнале» в 1791 году (перевод К. — вероятно, Карамзина); «История Ле-Флера» — там же, в 1792 году.

403. Радищев А. Н. Полн. собр. соч. СПб., 1907—1909, т. 2. С. 338.

404. Пумпянский Л. В. Там же. С. 142.

405. Стерн 2004. С. 479—480.

406. Карамзин Н. М. Избранные сочинения в двух томах, М.—Л., 1964, т. 1. С. 357.

407. См. Сиповский В. В. Н. М. Карамзин — автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899. С. 118.

408. R. Southey. Doctor etc. Lnd. 1847. P. 11.

409. Ibid. P. 12.

410. Стерн 2004. С. 222.

411. Цит. по: Robert Southey. The Critical Heritage. London-Boston, 1972. P. 393.

412. Байрон Дж. Г. Сочинения в трех томах. М.: 1974, т. 3. С. 397. Перевод Т. Гнедич.

413. Там же. С. 73.

414. В библиотеке Пушкина было двуязычное издание «Сентиментального путешествия» (на английском и французском яз.; Paris, 1799) и шеститомное полное собрание сочинений Стерна во французском переводе (Paris, 1818).

415. А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. М.: 1937, т. 13. С. 34.

416. Там же. Т. 11. С. 52; см. также В. Шкловский. Художественная проза. Размышления и разборы. М.: 1961. С. 306.

417. Там же. С. 73.

418. Гейне Г. Собр. соч. в 6 т. М.: 1982, т. 3. С. 143.

419. Стерн 2004. С. 25.

420. Гейне Г. Собр. соч. в 10 т. М.: 1959, т. 9. С. 476.

421. Стерн 2004. С. 80.

422. Гейне Г. Собр. соч. в 6 т., т. 3. С. 156.
423. Там же. Т. 3. С. 233.
424. Там же. Т. 4. С. 422.
425. Гейне Г. Собр. соч. в 10 т., т. 9. С. 471.
426. Цит. по: Cross. P. 543.
427. У.-М. Теккерей. Собр. соч., М.: 1977. С. 708–709.
428. Там же. С. 707.
429. Там же. С. 712.
430. См. Howes. P. 139.
431. Letters, 3 vols. 1938, v. 1. P. 139–140.
432. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., М.: 1934, т. 46. С. 385.
433. Цит. по: Гусев Н. Толстой в молодости. М.: 1927, т. 1. С. 180.
434. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., М.: 1934, т. 46. С. 82.
435. См., в частности: Cash A. The Lockean Psychology of Tristram Shandy, E. L. H. 1955, v. 22. P. 125–135; Watkins W. Perilous Balance. Princeton, 1939. P. 99–156.
436. Стерн 2004. С. 279.
437. Такая попытка сделана, см.: Th. Baird. The Time-scheme of «Tristram Shandy» // PMLA, 1936, v. 51. P. 803–820.
438. Стерн 2004. С. 85.
439. Вулф В. Сентиментальное путешествие. // К. Атарова. Англия, моя Англия. М.: 2008. С. 107.
440. Стерн 1940. С. 73.
441. Дж. Джойс. Улисс // Джеймс Джойс. М.: 2000. Серия «Мастера современной прозы». С. 349.
442. Jolas E. My Friend James Joyce. // James Joyce. Two Decades of Criticism. New York, 1948. P. 11–12.
443. Гёте И. В. Собр. соч. в 10 томах, М.: 1980, т. 10. С. 402.
444. Евангельская аллюзия (Марк, 9:22).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аддисон Дж. 272, 285
Альбикастро Э. 35
Анна Стюарт 14, 61
Антоний — см. Холл-Стивенсон
Апулей 8
Апухтин Г. А. 402
Атарова К. Н. 385, 387, 394, 395,
399, 404
- Байрон Дж. Г. 7, 45, 58, 342–345,
387, 388, 403
Бальзак О. де 40, 332, 402
Бейль П. 98
Беккет Т. 129, 138, 162, 178, 196,
205, 265, 297, 308, 309, 318
Бекфорд, герцог 112
Бекфорд У. 395
Белинский В. Г. 7
Бенсон С. 58
Бергсон А. 360
Беренджер Р. 76, 81
Беренджер де Фурмантель Ж. 67
Бёрк Э. 119
- Беркли Дж. 41
Беркли, лорд 154
Бёрнс Р. 331
Берод де Вервиль Ф. 400
Берридж Дж. Н. 202
Бёртон Дж., доктор 50, 51, 66
Бёртон Р. 43, 92, 94, 98–100,
330, 390
Бетси, дочь Э. Дрейпер 245,
317, 319, 321, 323
Бисси Клод де Тиар, граф 142,
143, 207
Блейк Дж., друг Стерна 53
Блонд, мадам 211
Блэкбёрн Л., архиепископ
Йоркский 52
Боде Ж. Ж. К. 275
Боклерк, мистер 270
Босуэлл Дж. 34, 75, 117, 120,
130, 133, 134, 203, 315, 389
Ботэм Дж., преподобный 304, 305
Браун, мистер (из Женевы)
157, 327

- Браун Дж., епископ 268
 Бриджес Т. 37
 Брук Г. 276
 Буаси Луи де 146
 Бэкон Ф. 147
 Бэрд Дж. 80
 Бэттерст, лорд 322
- Варрон 92
 Вези Э. 9, 118–120, 135, 188
 Вейгель Е. М. 178
 Вергилий Марон Публий 20
 Верри А. 234
 Вивальди А. 35
 Виктория, королева 385
 Виланд К. М. 337, 402
 Вильгельм III Оранский 61
 Вименс, муж Мэри Стерн 23
 Винчелси, граф 78
 Воллан С. 150
 Вольтер 147, 150, 196, 199
 Воуэн К. И. 8
 Вуатюр В. 137
 Вудфорд Дж. 32, 157
 Вудхаус Дж. 193, 194
 Вулф В. 203, 278, 334, 357, 362,
 399, 404
 Вяземский П. А. 346
- Галиани, аббат 223
 Галиковский И. 329
 Гамильтон У. 220
 Гаррикс Д. 9, 71–73, 77, 81, 103,
 104, 107, 109, 110, 118, 119,
 127, 135, 138, 142, 145–147,
 151–153, 155, 175, 178–180,
 186, 281, 296, 299, 315, 388,
 390, 391, 393
 Гей Дж. 35, 115, 203
 Гейне Г. 7, 9, 10, 185, 215, 349,
 350, 351, 386, 394, 395, 403,
 404
- Гейнсборо Т. 191, 228
 Гельвеций К. А. 148
 Гендель Г. Ф. 114
 Генрих VII 29
 Георг III 124, 153, 157, 196, 231
 Герцог Орлеанский, Филипп
 143, 155
 Гесиод 20
 Гёте И.В. 5, 18, 133, 335, 336,
 363, 402, 404
 Гиббон Э. 25
 Гиббс, мистер 261
 Гиббс Т. У. 261
 Гилберт Дж., архиепископ 60
 Глейм В. И. 336
 Глюк К. В. 236
 Гнедич Т. 403
 Гоббс Т. 147
 Гоголь Н. В. 22
 Годдард Г. 74
 Голдсмит О. 65, 88, 135, 272,
 276, 335
 Гольбах, барон (д'Ольбах) 142,
 147, 148, 150, 160, 196, 207, 223
 Гомер 20
 Гор 188
 Гораций Флакк 20, 349
 Готшалльн 185
 Гофман Э. Т. А. 348, 349
 Графтон, герцог 296
 Грей Т. 44, 65, 79, 117, 276
 Грин Т. 298
 Гринвуд, слуга Стерна 50
 Гриффит Р. 18, 268
 Гриффит Э. 150
 Гусев Н. 404
- Даламбер Ж. Л. 148
 Деонт П. А. 129
 Дессен, мсье 205–207, 283, 352
 Дефо Д. 87, 90, 133, 253, 263,
 272, 287

- Джеймс Анна, миссис 9, 37, 235, 236, 244, 245, 248, 254, 257, 261, 265, 266, 270, 292, 293, 305, 310, 316–318, 322–324
- Джеймс У., коммодор 9, 234–236, 244, 248, 261, 265, 270, 293, 294, 296, 297, 305, 310, 318, 323, 324
- Джеймс Уильям 360
- Джекс Мери, по мужу Стерн, бабка писателя 15
- Джойс Дж. 357, 360–362, 404
- Джонсон Б. 127
- Джонсон С. 65, 71, 77, 85, 116, 119, 130, 132–135, 153, 229, 388
- Дидро Д. 148, 150, 196, 203, 207, 331, 332, 335, 402
- Диккенс Ч. 174, 353, 354
- Дилтэри Дж. 65
- Додсли Дж. 65, 66, 75–77, 127, 129, 381, 388
- Додсли Р. 63, 65, 69, 70, 75, 381
- Драммонд Р. Х., архиепископ Йоркский 163, 241
- Дрейпер Д. 245, 247, 261, 318–322, 325, 383
- Дрейпер Э. 9, 31, 170, 244–248, 252–254, 256–259, 261, 265, 310, 316–319, 322–325, 383
- Дэлримпл Д. 209
- Дэнс Н. 221
- Дэшвуд Ф. 112, 169
- Дюдеффан, мадам 119, 208
- Дюмениль М. Ф., мадемуазель 146
- Дютен Л. 153, 154
- Елизавета Йоркская 29
- Елистратова А. А. 392
- Жан-Поль (И. П. Рихтер) 215, 216, 289, 337, 338
- Жан-Франсуа-Лоран, внук Стерна 314
- Жид А. 88
- Жуковский В. А. 79, 342, 346
- Имер Дж. 235
- Иммерман К. Л. 348
- Ингер А. Г. 390
- Ирвайн Э. 44
- Казанова Дж. Дж. 235
- Казот 395
- Калло Ж. 200
- Каннингхем, лорд 188
- Карамзин Н. М. 6, 132, 205, 206, 255, 339, 340–342, 395, 403
- Карл I 14
- Карл II 145, 157
- Кармонтель Л. 155
- Каупер 202, 217
- Каупер, леди 117
- Кёртис Л. П. 171, 257, 258
- Кларк, доктор 35, 203
- Кларк Дж., из Морского ведомства 319, 322
- Клеланд Дж. 215, 216, 395
- Клеман, священник 117
- Клерон К.-Ж. 117, 146
- Колдуолл 315
- Коллиньон Ч. 298
- Колльер Дж. 388
- Колмаков А. 402
- Колмен Дж. 175
- Кольридж С. Т. 88, 389
- Корнелис А. Т. 235–237
- Корэм, капитан 114
- Коук М., леди 296
- Кребийон-сын П. Ж. 151, 196
- Кривцова А. В. 387, 394
- Кромвель О. 148
- Кросс У. 58, 94, 218, 230, 241, 253, 255, 311

- Кроферд Дж. 207, 208, 211, 256, 296, 297, 303
 Крофт Дж. 33, 37, 52, 65, 70, 83
 Крофт С. 33, 48, 70, 74, 101, 105, 110, 111, 231, 316
 Крушинская А. А. 385
 Крю 271
 Кряжев В. 402
 Кук Дж. 272
 Кум У. 170, 172–174, 324
 Купер У. 197
 Кэмпбелл, полковник 318
 Кэш А. 19
- Лакло Шодерло де 253
 Ламли Э. — см. Стерн Элизабет, жена писателя
 Ласселльс Р. 44
 Лафонтен Ж. де 44
 Лег 112
 Ледерле М. М. 354
 Лесаж А.-Р. 173
 Леспинас де, мадемуазель 119
 Лессинг Э. 6, 275
 Лефевр 18
 Ли А. 250
 Ли У. Ф. 70
 Ливергант А. Я. 385, 393, 394, 399
 Ливис Ф. Р. 8
 Лидс, мисс, камеристка Э. Дрейпер 319, 320
 Лимбур де, граф 142
 Лионьер, доктор 314
 Литльгон У. Г., лорд 78
 Локк Дж. 92, 95–99, 126, 147, 150, 283, 360, 390
 Лукиан 92
- Макарти М., (в замужестве леди Литтлтон) 246
 Макдоналд Дж. 217, 220, 222, 296
- Маккарти, аббат 159
 Маккарти Дж. 271
 Маккартни Дж. 141, 142, 269
 Макензи Г. 276, 331
 Малипьеро, сенатор 235
 Мартини Дж. Б. 35, 218
 Марч, граф 296
 Масгрейв Р. 26, 48
 Маттисон Ф. 336
 Медаль А. де 313, 318
 Медоуз, миссис 193
 Мейнард У. 195
 Местр Ксавье де 332–335, 402
 Метастазιο П. 175
 Мид Р., доктор 67
 Миддлтон К. 116
 Миллар Э. 64, 388
 Мильгон Дж. 85
 Минц Н. 388, 390, 391, 393
 Монтень М. де 43, 99
 Монтэгю М. У. 272
 Монтэгю Э. 32, 52, 118, 119, 136, 138, 155, 182, 272, 276, 291, 294, 303–305, 313
 Мор Х. 6, 329
 Морелле А., аббат 150
 Моритт А. 303
 Мориц 84
 Мур, вдова 188
 Мур Т. 346
 Мэтью, слуга Стерна 68
 Мэтьюз Ч. С. 45
- Найт Ф., леди 133
 Наттл, отчим Агнесс Херберт 15
 Невилл Т. 317
 Нодье Ш. 347
 Ноллекенс Дж. 221
 Норт, лорд 112
 Нун, издатель 65
 Ньюстед Дж. 28
 Ньютон 25

- О'Брайн Э. 387
Озелл Дж. 94
Орм Р. 235, 256
Оссори, граф 208, 270, 296, 297
- Палладио А. 30
Паншо И. 217, 233, 271, 309
Пастернак Б. 390
Пеллетьер Э. М. (прав. Пеллетье де СенФарже) 142, 143
Перро Ш. 348
Пиготт У. 26
Питт У. Младший 157
Питт У. Старший, граф Чатем 10, 82, 112, 135, 238
Плиний Младший 182
Поуп А. 43, 65, 81, 107, 115, 137, 150, 170, 198, 238, 283—284, 322
Прайор М. 115
Превиль П. Л. 146
Пруст М. 88, 358, 359
Пумпянский Л. В. 401, 403
Пушкин А. С. 7, 345—347, 403
- Рабле Ф. 43, 46, 66, 84, 89, 92, 94, 99, 105, 150, 154, 183, 315, 330, 331
Радищев А. Н. 338—340, 403
Рафаэль Санти 104
Рей, банкир Стерна в Монпелье 162
Рейнолдс, мисс 134
Рейнолдс Дж. 80, 115, 119, 134, 180, 207, 221
Рейнолдс Ф. 205
Рембрандт Х. 200
Реналь Ж. Т. Ф., аббат 324
Рени (Гвидо Рени) 39
Ричардсон С. 83, 87, 106, 274, 287
Роболи Т. 399
- Роджерс С. 324
Рокингем, маркиз 78
Роксбург, герцог 296
Россет-Смирнова А. О. 346
Роуландсон Т. 174
Руссо Ж.-Ж. 148, 288, 354, 399
Рэдклиф А. 209, 297
Рэнил, лорд 67
- Савин А. Н. 390
Сад, аббат де 233
Сад Д. А. Ф., маркиз де 233
Санчо И. 224, 226—228, 251, 252
Саути Р. 342—344, 347
Свифт Дж. 43, 66, 81, 89, 150, 263, 322
Селвин Чарлз, банкир в Лондоне 233, 309
Сервантес Сааведра М. де 43, 84, 105, 292, 348
Сиббер К. 41, 150
Сиповский В. В. 255, 403
Скаррон П. 292, 294
Склейтер Т. 254, 316, 322
Скотт В. 210, 295, 330
Слиньяк, мсье 91
Смит Ч. 203
Смоллетт Т. 29, 30, 87, 105, 164—166, 184, 187, 219—220, 236, 273, 274, 287, 354, 387, 393, 394
Соттрэн Г. 302
Спенсер Дж., граф 133, 135, 303
Станислав, король 117
Стенхоуп У. 265
Стерн Девишер, брат писателя 16
Стерн Джекс, дядя писателя 14, 23, 24, 26, 48, 51, 54, 57—59, 66, 102, 379, 380
Стерн Джорам, брат писателя 16

- Стерн Кэтрин, сестра писателя
23, 54, 56, 57, 138
- Стерн Лидия, дочь писателя,
в замужестве Медаль 9, 30,
51, 59, 65, 66, 70, 124, 137,
138, 155–158, 164, 168, 170,
175, 176, 198, 222, 233, 235,
254–256, 260, 264–266, 271,
277, 290, 291, 293, 297, 303–
318, 323, 380, 382, 383
- Стерн Мэри, сестра писателя
23, 24
- Стерн Ричард, архиепископ,
прадед писателя 14, 301
- Стерн Ричард, дядя писателя
14, 15, 19, 23, 24, 300
- Стерн Ричард, кузен писателя
24–26
- Стерн Роджер, отец писателя
14–19, 22, 23, 54, 378
- Стерн Саймон, дед писателя 14,
19, 24
- Стерн Сусанна, сестра писате-
ля 16
- Стерн Элизабет, жена писате-
ля 9, 30–32, 50–52, 55–57,
59, 65, 74, 124, 136, 137, 145,
155–158, 160, 162, 164, 165,
168, 170, 175, 191, 194, 222,
232, 233, 249, 250, 254–256,
259, 260, 265, 266, 269, 290,
293, 294, 297, 303–314, 316–
318, 379, 382, 383
- Стиллингфлит Б. 119, 120
- Суар, мадам 278
- Суар Ж.Б. 95
- Суворов А. В. 221
- Сэндуич, граф 169
- Татарина К. Н. 385
- Тейвисток Ф. Р., маркиз 153, 154
- Тейлор Дж., друг Стерна 53, 68
- Тейт 103
- Теккерей У. М. 7, 205, 256, 257,
261, 352, 353, 393, 395, 400, 404
- Тёрнер 49
- Тик Л. 6, 348, 349
- Тиллотсон Дж., архиепископ
Кентрберийский 150, 203
- Титон, мсье 142
- Тичфильд, лорд 217
- Тодд Дж. 302
- Толло М. 164, 168, 178, 180
- Толстая С. А. 355
- Толстой Л. 7, 354–357, 362, 398,
399, 404
- Томпсон Э. 53
- Томсон Дж. 115
- Толам Ф., доктор 60, 66, 381
- Торнхилл Т. 168, 171, 178
- Тофам Ф., доктор 137
- Тревелиян Дж. 114, 202, 231,
385–387, 389, 390, 392, 395,
396
- Тронская М. Л. 402
- Троттер Л. 170
- Уайтхилл Дж., дядя Э. Дрейпер
244, 322
- Уилкинсон, дьячок, помощник
Стерна 28
- Уилкинсон М. 28
- Уилкс Дж. 168–170, 208, 305,
306, 311, 312, 315, 324
- Уолпол Р. 48, 52, 208
- Уолпол Х. 5, 44, 106, 208–210,
229, 253, 276, 297, 395
- Уорбёртон У., епископ 44, 79,
107, 109–111, 239, 387
- Уорд С. 49, 50, 53, 54, 63, 70
- Уорд Э. 70
- Уортон Т. 117
- Уотертон 22
- Уотли Дж. 113

- Уотс 253
Уэст В. 315
- Фанни (сестра Ханны) 266
Фаньяни, маркиза де 218
Фаунтейн Дж., декан Йоркского собора 59, 60, 70, 137, 139, 380, 381
Фелпс Р. 152
Фенелон Ф. 44
Фергюсон, миссис 168
Ферриар Дж. 330
Физе А. 164
Филдинг Г. 83, 87, 132, 133, 272, 274, 287, 354
Филипс, капитан 22
Фицджералд П. 20, 22
Флаксман Дж. 221
Фоконберг Т., лорд 78, 93, 124, 155, 234, 236
Фокс Дж. 53
Фокс С. 141, 146, 170
Фокс Ч. 221
Фоли, банкир Стерна в Париже 159, 160, 162, 167, 181, 183, 186, 309
Франкавила, княгиня 220
Франклин Б. 148
Франковский А. 76, 240, 283, 355, 385, 394
Фредерик, макграф 235
Фрейд З. 360
Фурмантель (Формэнтл) К. 37, 67–69, 71, 72, 78–80
Фут С. 208
- Ханна 9, 266, 267
Хантер У. 52
Харланд Ф. 48, 196
Хау К. 297
Херберт Агнесс, по мужу Стерн, мать писателя 14–16, 23, 54–58, 380, 381
- Хёрд, Р. 107, 111
Херринг, архиепископ 33
Хертфорд, граф 170–172
Хесселридж Т. 195
Хилл Д. 197
Хильдесли М., епископ острова Мэн 106
Хинкис В. 394
Хинксмен Дж. 63, 64, 70, 388
Хитров А. В. 390
Хогарт У. 81, 82, 102, 114
Холл (Холл-Стивенсон) Дж. 9, 42–44, 46, 47, 99, 123, 125, 136, 158–161, 164, 176, 180, 191, 220, 222, 232, 250, 257, 258, 264, 265, 270, 282, 297, 298, 303, 304, 310–312, 327, 328
Холл Джозеф, епископ Норичский 203
Холл Р., евангелический священник 330
Холланд Г. Ф., барон 141
Хьюит, миссис 156
Хьюит, мистер 164, 180
- Цицерон 20
- Чамберс Э. 98
Чапмен Р. 124
Чатем, граф – см. Питт У. Старший
Честерфилд Ф., лорд 119, 153
Чосер Дж. 44, 150, 385
- Шарп Н. 19, 24
Шарп С. 272–273
Шекспир У. 10, 72, 107, 116, 134, 143, 144, 361, 390
Шелбёрн, граф 248, 269
Шенк Э. 350, 351
Шкловский В. Б. 88, 346, 389, 403

- Шуазель, граф де (впоследствии герцог) 142, 143, 155, 207
- Эгертон Г. 152
- Эглинтон, граф 297
- Эджком Р., барон 78
- Эккерман 133, 315
- Эллисон Дж. 226
- Эндрюс, контрабандист 157
- Энтони — см. Холл-Стивенсон
- Эпине де, мадам 223
- Эразм Роттердамский 43, 92, 99
- Эррингтон, мистер 220, 222
- Юм Д. 6, 65, 148, 171–173, 186, .
198, 207, 223, 284, 296
- Юм Дж. 173
- Юнг А. 157
- Юнг К. Г. 360
- Юнг Э. 65, 203
- Юнг Э., декан 203
- Юстес, доктор из Америки 328
- Якоби И. Г. 336

СОДЕРЖАНИЕ

ТРИСТРАМ, ЙОРИК, СТЕРН.

Вместо предисловия

5

СЕМЬЯ И ДЕТСТВО

1713–1722

13

ШКОЛА И УНИВЕРСИТЕТ

1723–1737

18

САТТОН-ОН-ДЕ-ФОРЕСТ

Сентябрь 1738 – февраль 1760

27

«СВИХНУВШИЙСЯ ЗАМОК»

42

ПРОБА ПЕРА

1741–1759

48

УСПЕХ

Май 1759 – февраль 1760

63

ЛОНДОН

Март–июнь 1760

75

КОЕ-ЧТО О РОМАНЕ

83

КОКСУОЛД И СНОВА ЛОНДОН

Июль 1760 – июнь 1761

93

«ИСТОРИЯ ЛЕФЕВРА»

Июль – ноябрь 1761

123

ПАРИЖ

Декабрь 1761 – июнь 1762

136

ТУЛУЗА И МОНПЕЛЬЕ

Июль 1762 – май 1764

159

СНОВА В АНГЛИИ

Июнь 1764 – октябрь 1765

178

ПРОПОВЕДИ МИСТЕРА ЙОРИКА

193

ВТОРАЯ ПОЕЗДКА НА КОНТИНЕНТ

Октябрь 1765 – июнь 1766

205

ПОСЛЕДНИЙ ТОМ «ТРИСТРАМА ШЕНДИ»

Июль 1766 – январь 1767

224

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Январь – лето 1767

244

«ВДАЛЕКЕ ОТ ПРОТОРЕННЫХ ДОРОГ...»

Осень 1767 – март 1768

263

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Март 1768

290

ВДОВА, ДОЧЬ, ВОЗЛЮБЛЕННАЯ.

Штрихи к портретам

302

ЖИЗНЬ В ВЕКАХ

326

ПРИЛОЖЕНИЯ

Лоренс Стерн

Проповеди мистера Йорика, том I . Проповедь II.

Описание Дома Плача и Дома Веселья

367

Основные даты жизни и творчества

378

Примечания

385

Указатель имен

405

Атарова Ксения Николаевна
ЛОРЕНС СТЕРН. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

Выпускающий редактор О. Старикова
Компьютерная верстка: С. Валишин

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Б.С.Г.-ПРЕСС»
109028, Москва, Покровский бульвар, д. 14/6.
Факс/тел.: +7 (495) 626-24-70; e-mail: bsgpress@mail.ru

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА Б.С.Г.-ПРЕСС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

В РОЗНИЦУ В МОСКВЕ

- Книжный магазин «Москва», м. «Пушкинская», «Тверская», ул. Тверская, д. 8.
Тел.: (495) 629-64-83, 797-87-17.
- ТД «Библио-Глобус», м. «Лубянка», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.
Тел.: (495) 781-27-37.
- Московский дом книги, м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, д. 8.
Тел.: (495) 789-35-91.
- Дом книги «Молодая Гвардия», м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28.
Тел.: (495) 238-50-01.
- Книжный магазин «Фаланстер», м. «Пушкинская», «Тверская»,
Малый Гнездииковский пер., д. 12/27. Тел.: (495) 629-88-21.
- Сеть магазинов «Республика». Тел.: (495) 251-65-27.

В РОЗНИЦУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

- Санкт-Петербургский Дом книги, м. «Невский проспект»,
«Гостинный двор»,
Невский проспект, д. 28. Тел.: (812) 448-23-55.
- Сеть магазинов «Буквоед». Тел.: (812) 601-0-601.
- Книжный магазин «Все свободны», наб. Мойки, 28.
Тел.: +7 (911) 977-40-47.

ОПТОМ

- КД «Б.С.Г.-Пресс», Москва, Покровский бульвар, д. 14/6.
Тел. (495) 626-24-72; +7 (915) 110-36-50.
- «А. Симпозиум», Санкт-Петербург, 20-я линия В. О., д. 5/7.
Тел. (812) 325-66-61.

Подписано в печать 22.09.13. Гарнитура Нью-Баскервиль.
Формат 84×108¹/₃₂. Объём 13 печ. л. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 3000 экз. Заказ № ВЗК-07165-13.

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати – ВЯТКА» в полном соответствии с качеством
предоставленных материалов.

610033, г. Киров, ул. Московская, 122. Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36
<http://www.gipp.kirov.ru>; e-mail: order@gipp.kirov.ru

LAURENCE STERNE

Книга англиста Ксении Атаровой посвящена жизни и творчеству всемирно известного английского писателя Лоренса Стерна (1713–1768), отца европейского сентиментализма, оказавшего заметное влияние на всю европейскую литературу XVIII–XX вв., в том числе и на русскую (Н. М. Карамзин, Л. Н. Толстой, Андрей Белый и др.). Несмотря на популярность произведений Стерна в нашей стране, его жизни и творчеству до сих пор не посвящено ни одной работы. Книга К. Атаровой восполняет этот пробел. Жизнь Стерна рассматривается в ней в широком контексте – на фоне Англии и Франции его времени.

*Я отдал бы десять лет собственной жизни, если б мог этим
продлить жизнь Стерна на год.*

Готхольд Эфраим Лессинг

*Я часто вспоминаю об этом человеке, которому обязан столь многим;
он встает передо мной и в минуты, когда заходит речь о заблуждениях
и истинах, вспыхивающих порой в человеческих душах.*

Иоганн Вольфганг Гёте

*Стерн говорит, что живейшее из наших наслаждений кончится
содроганием, почти болезненным. Несносный наблюдатель!*

Александр Сергеевич Пушкин

Читал Стерна. Восхитительно.

Лев Толстой

*В этом предпочтении извивов собственного сознания путеводителю
с его изъезженными большими дорогами Стерн удивительно
близок нашему веку. В этом внимании к молчанию, а не к речи
Стерн – предшественник современных писателей.*

Вирджиния Вулф